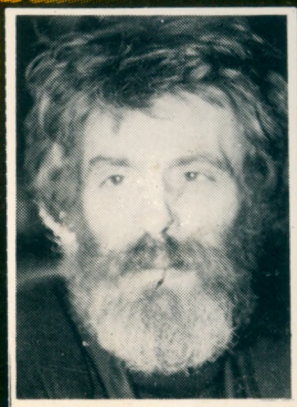
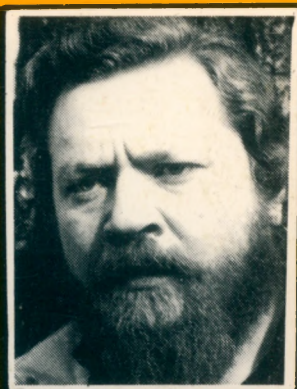


№2 (62)

1989 г.

СТРЕЛЕЦ

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ



«СТРЕЛЕЦ»

№2(62) 1989



№2 (62)

1989 г.

**АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»



Главный редактор — АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Зам. главного редактора — БОРИС ТИРАСПОЛЬСКИЙ
Технический редактор — ВИКТОР ДОБРОВ

Редакционная коллегия:

Василий АКСЕНОВ, Владимир АЛЕЙНИКОВ,
Дмитрий БОБЫШЕВ, Георгий ВЛАДИМОВ,
проф. Ренэ ГЕРРА, Вадим КРЕЙД,
Виктор КРИВУЛИН, Юрий КУБЛАНОВСКИЙ,
Генрих САПГИР, Сергей ЮРЬЕНЕН

Publishers:

Third Wave Publishing House, a project of
C.A.S.E. (Committee for the Absorption of Soviet Emigres)
80 Grand Street, Jersey City, NJ 07302

Адрес редакции в США:

Alexander Glezer,
286 Barrow Street, Jersey City, NJ 07302 USA

Адрес редакции во Франции:

Alexandre Glezer
215 Rue du Fauburg St. Honore, 75008 Paris, France

Цена номера: 25 амер. долларов, 150 фр. франков
Подписчикам журнал доставляется за счет редакции

Committee for the Absorption
of Soviet Emigres. All rights reserved.

Library of Congress Catalog Card No. 84-8582
ISSN: 0747-7287

ОТ РЕДАКЦИИ

В «Стрельце» всегда была открыта «зеленая улица» для произведений авторов из метрополии. На этот раз весь альманах, за исключением «Литературного архива» и материалов парижской Международной конференции, посвященной творчеству Владимира Набокова, предоставлен московским и ленинградским прозаикам, поэтам, литературоведам и критикам.

Мы рады, что можем познакомить вас одновременно и с прозой наших новых авторов, москвичей Виктора Ерофеева и Евгения Попова, и со взятыми у них интервью, которые помогут вам лучше понять и оценить творчество этих талантливых мастеров.

Рады мы и тому, что молодые прозаики, представители «новой литературы», Зуфар Гареев и Александр Гаврилов, о которых говорит в своем интервью Евгений Попов, тоже публикуются в этом номере «Стрельца».

Мы надеемся, что вы с интересом прочтете интервью с московским литературоведом Натальей Ивановой и фрагмент из ее новой книги о творчестве Фазиля Искандера.

Мы хотим информировать вас о том, что с этого номера альманаха в его редколлегию вошли два московских поэта — Владимир Алейников и Генрих Сапгир, а также ленинградский поэт Виктор Кривулин.



**Виктор
ЕРОФЕЕВ**

ТЕЛО АННЫ, ИЛИ КОНЕЦ РУССКОГО АВАНГАРДА

Рассказ

Анна! Анна! Анна! — прыгало сердце.

Анна Иоанна! Анна Иоанна! — шумело в ушах.

Ан-на-Иоан-н-на. — как далекий паровоз, возвестил желудок вместо пара и послал в нос выстрел отрыжки.

От выстрела Анна проснулась. Как большая рыба, как кит, выброшенный на берег одуревшего океана, лежала Анна посреди ночи в своей постели. В задумчивости она пососала толстые потрескавшиеся губы и потянулась за сигаретой. С туалетного столика что-то хлопнулось на пол. Наверно, книга. Наверно, Борхес. Анна продолжала шарить в потемках. Упала пепельница, но не разбилась. Только все из нее, наверное, высыпалось. Анна шумно дышала и шарила.

Анна! Анна! Анна! — прыгало сердце.

Анна приподнялась на локте и принялась шарить другое: нашарила. Зажегся желтенький ночник.

Среди кремов, лекарств, блюдеч, вечерних газет с полуразгаданными кроссвордами нашла мятую пачку. Сильно трясушимися, мокрыми руками Анна прикурила и села в постели.

Тело Анны что-то в последнее время взбесилось. Тело Анны то жирело, то резко худело, то снова жирело, то резко худело опять,

то жирело, то худело, то худело, то жирело. Кроме того, капало из ушей. Кап-кап. Мокрые мочки. Капель и почки. И гастроном. Анна радовалась тому, что умела разговаривать с официантами. А как вас, ради смеха, зовут? И они всегда отвечали честно: Володя или Толя, или Слава. Кап-кап, - капало из ушей, и уши чесались. В отчаянье Анна засовывала в уши пальцы. Иногда ее охватывало сильное желание их оторвать. Сегодня ночью тело Анны было уже достаточно жирным, оно еще не достигло своего апогея, но уже приятно лоснилось, как лососина, и Анна, опустив глаза, могла созерцать овалы разрастающихся щек, охваченные аллергией пламенные ягодицы лица, между которыми дымилась сигаретка. В углу комнаты новогодняя елка с рыжими бесхвойными ветками держала там и сям, на самых кончиках осунувшихся веток, елочные игрушки. Битые разноцветные шары мерцали на полу. Кончался февраль. В октябре справили сороколетие. Кап-кап, - капало из ушей. Студентка Леночка, бледнолицая, кокетничала со зрелыми мужчинами.

Правый глаз Анны тоже вышел из повиновения. Закроешь левый - и, вместо мира, - французская живопись, лиловый Руан, лягушатник, пуантилизм. Закроешь правый - русский реализм. Правый видел максимум на 15%. Левый все видел, всю нашу действительность.

Иногда Анна ощущала себя Анной Карениной, иногда - Анной Ахматовой, иногда - просто Анной на шее. В зависимости от этого менялись ее знакомства, она то влюблялась, то эмигрировала в Париж, то прожигала слезою снег, пока не полюбила последней любовью. Приходили какие-то евреи, приносили то сотни, то тысячи полинявших рублей, муж за границей сочинял антипатриотические брошюры, звал к себе, а что толку? Иногда захаживал участковый, косился на выпитые бутылки: постоит - постоит и уйдет...

Анна потянулась за бутылкой коньяка, налила, расплескав, посмотрела на елку.

- Выброшу к женскому дню, - подумала Анна и выпила.

Стало теплее. Анна глубоко затянулась и откинулась на подушку. Потом она выпила еще одну рюмку, покраснелась и ноги ее оживились. Правая нога Анны согнулась в колене и уехала далеко вправо, так что все ее пять пальцев с давно не стриженными ногтями высунулись из-под простыни. Левая нога Анны, тоже согнувшись в колене, заскользила влево и уперлась во что-то живое.

Всем телом вздрогнула Анна, струсила, обмерла.

Слева от нее лежал человек. Он лежал, отвернувшись от Анны к окну. По затылку Анна узнала его, чуть не вскрикнула. Это был ее любимый человек, самый любимый, любимейший, который бросил ее два месяца назад, по возвращению с зимнего закавказского курорта. Он довез ее до дому из аэропорта, загорелый и сероглазый, сказал, что завтра с утра позвонит и заедет, поцеловал в висок со свойственной только ему легкой небрежностью - и не позвонил, не заехал, никогда - никогда.

Он катался на лыжах с утёсов – она спала.

Он, жизнерадостный, шуплый, плескался в бассейне – она спала.

Он приходил, румяный, пристыженный, из сауны – она спала.

Он говорил ей, будя ее толстое тело: "Московские девушки парятся голые; ленинградки же – все! – в купальниках!"

Она отвечала спрсонок: "Как все это скучно!"

По вечерам он пьянствовал с ленинградками, фарцой и черкесами – тогда она тоже вставала и пьянствовала.

Каждый день, когда нерусское солнце стояло в зените, она просыпалась с мыслью взять справку для бассейна у местной врачихи. Наконец, накануне отъезда, Анна предстала перед брезгливым, уродливым личиком. Анна стояла, как столкновение двух миров, как роковой турнир Пикассо с Боттичелли, щедро выкатив на врачиху славянские груди, и оглушенная этой красотой иноверка нехотя выдала нужную справку.

Как ты отошел, мальчик мой, без ключей, без одежды? Как про-ник ты сюда, в мою теплую, темную норку?

Любимый человек – самый умный и самый красивый на свете, и очень-очень талантливый – от одного вида которого ее сводила порою любовная судорога, чего с ней до тех пор никогда не случалось, – спал, свернувшись калачиком, в родной, болотного цвета рубашечке и без трусов. Анна потянулась к нему трясущейся рукой, но – отдернула руку. Села, взяла со стола расческу и стала быстро расчесывать свои светлые волосы. Потом глянула в зеркало и уже неспеша стала красить глаза, нанося зеленые тени...

А теперь, а теперь... но сначала, волнуясь, она выпьет еще. Анна выпила и улыбнулась. Она знает, что сделает. Она не будет его будить. Пусть он спит, пусть спит до утра! Он, наверно, устал, он пусть спит, а я буду всю ночь напролет тихо-мирно тебя ласкать. Ты спи – я приду к тебе в твой сон – и тебя скушаю, мой мальчик! Ты спи – а я тебя: ам-ам!

Анна засмеялась, прикрыв рот ладошкой. Анна куталась в эфемизмы, как в комиссионные меха.

Анна! Анна! Анна! – трубило сердце.

– Я знала, что ты придешь! – шептала Анна. – Я знала! Я знала! Я знала!

– Как ты не прав, моя радость! – смеялась Анна. – Ну, зачем ты размениваешься на дешевку? Ну, зачем тебе курвы, когда есть я? Вот ты все пишешь и пишешь, и пишешь, но все – не то! Эту гадость нельзя показывать ни ребенку, ни честным людям. Ты мерзкие пишешь штучки, – погрозила она ему пальчиком, – а ты напиши про нас, про то, как вернулся ко мне, про нашу с тобою любовь, про снег, что тихими хлопьями падает на усталый город, про ветку сирени в саду, про то, что в каждом из нас, даже в самом запутавшемся... Ты напиши о том, как я без тебя тосковала, без твоих ласк и глаз, как грудь горит от потери... Ты спи, а я превращу моего мальчика знаешь в кого – не скажу! – Анна опять рассмеялась. – Ты лучше пиши о том, как под покрывалом твоего холодного железа журчит алая кровь, ты пожалей калек и воскрешай

мертвых – ты иди и воскрешай мертвых, иди – воскрешай!

– Вот ты спишь, – лепетала Анна, глядя сонный мужской живот, – и ведать не ведаешь, как воспаряешь над миром, как растеешь у меня, как Эйфелева башня или как башня в Пизе, или еще какой крылатый монумент... А бог – он ведь в каждом из нас, в каждом доме и в каждой квартире, и в этой елке, и в этом коньяке, и даже мама моя, которая всю жизнь преподавала материализм... и даже в материализме!

Анна зубами затянула ослабшие узелки бинтов на запястьях.

– Белые манжетики... – всхлипнула она. – Да, я дура... я дура была – прости! Но теперь ты снова мой, ты пришел, ты весь мой.

Анна! Анна! Анна! –
рвалось на куски любящее сердце.

Анна погасила ночник, пристроилась поудобнее, провела сухим языком по губам и, как в старой сказке, сожрала любимого человека. Так закончилась в эту ночь история русского авангарда.

... "До отъезда целая неделя, ну а ты, как громом, полн, гулом скал в преддверье Коктебеля и катящимся массивом волн", — строки из моих стихов 1974 года, посвященных Владимиру Алейникову, десятилетию нашей дружбы. Когда мы познакомились, этот скуластый рыжекудрый юноша с легким оттенком украинских интонаций в речи — был уже состоявшимся лириком.

Плеяда поэтов — "властителей дум" до нас — не зря воспринимается как эстрадная: Лужники и Политехнический были их исповедальное и одновременно социально-общественное гнездо.

Мы — уходили от публицистики, но и для нас в ту пору стихотворный текст казался неотделим от мистерии чтения его вслух. Алейников был тут непревзойденный мастер: при свечах, закрыв глаза и отбросив назад крыльями руки, он не читал — шаманил... Для меня его поэзия — всегда связана, во-первых, с его то падающим, то нарастающим хрипловатым голосом, а во-вторых — с югом. А потому — вполне органично соотносится она с пастернаковской "Сестра моя жизнь": тот же ливень словес, импрессионизм, накаты ритмического ветра и образов.

До этого, в начале 60-х годов, лирика его казалась более сфокусированной, предметной, чуть позднее — она словно подернулась постоянно бликующей радужной поволокой. Она — южная, знойная, по атмосфере — предгрозовая.

В последние годы у Алейникова, написавшего астрономическое количество стихотворений, вышли в СССР две тощие книги... Но настоящее открытие его поэзии еще впереди. И лишь грядущее проверит все им столь щедро созданное на прочность.

Юрий Кублановский
17 февраля 1989 г. Париж



Владимир АЛЕЙНИКОВ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * *

Андрею Битову

Вот осени желтый листок –
Его потеряла природа,
И наискось зрит холодок
Блаженного города своды.

Рассеяно сердце стучит,
Уже интонация чище.
Желание можно учить,
Но женщина это не ищет –

С надеждой найдетса партнер,
Улыбка стекает покато, –
И где-то до самых озер
В крови набухает расплата.

И этот летящий гранит,
Пронизанный сверху иглою,
Подобно органу, гремит
И мысли крепит над водою.

Доверчива паства твоя —
И, чем ненадежнее с нею,
Не хочешь в чужие края,
А хочешь остаться темнее.

И пусть набирает лады,
Подобно равнению, ясность —
И Ладоги белые льды
Совсем непохожи на гласность.

1969

* * *

Владимиру Бродянюскому

Оттого-то и дружба ясна,
Что молчание — встречи короче.
Не напрасно взрастила весна
Ленинградские белые ночи.

Сколько песен ни пел я во тьме,
Никого не винил поневоле.
Я скажу предстоящей зиме:
"Поищи-ка прощенья в поле,

Не тревожь ты меня, не брани,
Не забрасывай снегом кромешным,
А наследную чашу верни,
Напои расставанием грешным".

Никогда я душой не кривил —
А когда распознал бы кривинку,
Сколько раз бы всерьез норовил
Извести себя, всем не в новинку.

Да и женщинам страсти черта
Никогда не дается украдкой —
В уголке огорченного рта
Залегает пригревшейся складкой.

Нет ни дня, ни минуты, ни сна,
Чтобы зову остыть круговому, —
Оттого благодарен сполна
Я вниманию их роковому.

Ни за что мне теперь не помочь —
Но светлее, чем ночи бездонность,
Пропадает, ни сгнувшись прочь,
Несусветная наша бездонность.

И склонившись к кому-то на грудь,
Покидая поспешно столицу,
Я пойму вашу тайную суть,
Ленинградские светлые лица.

1972

* * *

Памяти Николая Шатрова

Во дни беды мы столь же тяжелы,
Как дали Подмосковья пред апрелем, —
И облаком, исторгнутым из мглы,
Уходит страх — ни с кем его не делим, —
Но строгий свет, сквозь непогодь пройдя,
Негаданное действие затекает —
И, отгеснив сумятицу дождя,
Деревьев череду приоткрывает,
Начертанную неким угольком,
Воспринятую краешком сознанья,
Чтоб связи между нею и зрачком,
Не обрываясь, крепнуть в ожиданье
Грядущего, где, может быть, понять
Дано нам будет и сберечь ревниво
Их жертвенность — ее ли объяснить? —
Их подлинность — ну это ли не диво!

1977

Шатров Николай Владимирович /1929-77/ -
замечательный русский поэт.

* * *

Вере Лашковой

Искони меняя тон
Лиры золотистой,
Вижу дали полусон,
Тоньше аметиста, —

Загляделась на закат,
Миру присягая, —
Там отточеннее зрят,
Где ты, дорогая, —

То ли рядом, у плеча,
Внег и дороге,
То ли входишь сгоряча
В новые чертоги.

За отчетливой чертой --
Западные страны.
В нашей, ставшей святой, --
Бури да туманы.

И, однако, для нее
Внег и дороге
Золотое лезвие
Видели в итоге.

И, однако, только в ней,
Тоньше аметиста,
Струны вздрогнули больной
Лиры золотистой.

В ней зима не ко двору,
Выброшено время.
Что за шутки на ветру,
Иродово племя?

Ком земли да соль морей --
Лакомый кусочек,
Но изгнания добрей
Участь одиночек --

Загляделись на закат,
Стоя на пороге
Очарованных расплат
Лиры и дороги.

1978

КУЗНЕЧИК

Юлию Киму

1.
Когда утомился снегопад --
И долы, запрокинутые лица
Подъемля к небу, где томятся птицы,
Глаза открыли, чтоб остепениться, --
Из памяти, спешащей повиниться,
Возник он предо мною невпопад,
Не к месту и некстати, -- но живой,
Пружинистый, -- от снега отряхнувшись,
Он, кажется, доволен был, вернувшись,
Покачивая грустной головой.

2

И, вытряхнув из музыки лишь то,
Что нашивал в суме своей дорожной,
В душе, обескураженно тревожной,
И в сердце с правотою непреложной,
Он песенкой единственно возможной
Все подарил, что им пережито.
Поди-ка за минувшим утонись —
Оно неподражаемо в молчанье.
Кузнечик! Весь ты — света обещанье,
Так пой, коль сам изведаль эту близь!

3.

Так дороги скорбящие слова
И кроткое напева постиженье
В них осени сокровище — круженье,
И жертвенность, и моря продолженье.
Предвижу я твое изображенье
На трепетных скрижалях естества.
Ты ожил, осторожничавший там,
Где болью обозначено прозренье, —
Но выжил ты грядущему в даренье,
Чудесный собеседник, — знаешь сам!

4.

Не надобно, изранив монолог
Вторжением, крыла не сокрушившим,
Стремиться к облакам, не завершившим
Движения к вершинам, предрешившим
Сей уровень, — к высотам, не грешившим
Забывчивостью, — видит это Бог.
И ангел, появившись меж ветвей
Из музыки над зимнею землею,
Звезду приподнимает над тобою —
Над песней не смолкающей твоей.

1979

* * *

Помню, помню в граде стольном
Пребыванье декабря,
Где в изгнании невольном
Приютят, приободря.

Пряный вечера подарок,
Подогретое вино,
Чтобы горечи огарок
Таял, с речью заодно.

Может, встрече не хотелось
Побережься для двоих,
Где явилось и воспелось
Прозьябанье рук твоих.

И мерещилось крылато
Над шатрами берегов
Набежавшее предвзято
Из обилия снегов.

Эвридика улыбнулась
Из чертогов забытья —
И гвоздика оглянулась
На смятенье бытия.

А метель сулила ясно
Расставание навек —
Но, измучившись прекрасно,
Возвьшался человек.

1978

* * *

То ли утро с оспинами льда,
То ли полдень с осыпью метели —
Но земля давно немолода,
И ее недуги одолели.

Кто окликнет нас издалека,
Приобщит к желанному наследству?
Все равно земля невелика,
И вздохнет живущий по соседству.

Молоко замерзнет на пути
Колокольцем в ломких переливах,
И нельзя дорогу перейти,
Чтобы глаз не встретить несчастливых.

Только щурит узкие зрачки
Обреченный месяц на ущербе —
Он с весною новой у реки
Оживет пушинками на вербе.

И уходит год за облака,
В ту страну, откуда нет возврата, —
И утрата вовсе не легка,
Но еще трагичней, чем когда-то.

И декабрь, суровый побратим,
Повторит прощания тирады —
И к нему в молчанье обратим
Никогда не мерзнувшие взгляды

1981



Евгений ПОПОВ

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТИ БЫВШЕЙ МОЛОДЕЖИ

Рассказ

По ночам творится что-то страшное. Проснувшись якобы от грохота (звука) самолета, пересекающего невидимый барьер, можно обнаружить следующее: ветер свирепо разрывает кусты, деревья, комнату озарило фиолетовым, на столе – недоеденный лещ копчено-печеный ТУ-5-07-62-31 от 26.УГ 84 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 72 ЧАСА МРХ СССР МОСРЫБА МОСРЫБОКОМБИНАТ, пустая бутылка из-под пива "Ячменный колос"(на глиняных ногах) вместимость 0,5 литра ТУ-18-6-15-79 МИНПИШЕПРОМ РСФСР РОСПИВПРОМ МОСКОВСКИЙ ПИВОКОМБИНАТ ПЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ ПОСУДЫ 29 коп., недопитый "Тоник горький", вместимость 0,33 л. ТУ-13 РСФСР 819-80 МИНПИШЕПРОМ РСФСР РОСПИВПРОМ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ (НАПИТОК ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ); жена спит – недочитана подшивка журнала "Новый мир" за 1926 год с произведениями В.Лидина, Н.Никитина, В.Маяковского, М.И.Калинина, М.Пришвина, Мих.Голодного...

Трах-тах-тах – снова полыхнула июльская гроза. Дальняя молния в злобе разделила весь мир пополам... Опять начался дождь и после каждого раздраженного света молнии, после

каждого удара грома, дождь шел все более густо и скоро. Из тьмы неба теперь проливался сплошной поток воды, который бил о землю с такой силой..." /А.Платонов/ А я НЕ ВЕРЮ, что после КАЖДОГО, и СПЛОШНОЙ, и ТАКОЙ... Не хочу, и не верю, хоть и славно написано. Или вот еще – А.П.Чехов, помнится неплохо писал, что гром начинает грохотать, будто кто ходит босой по железной крыше... Это – правильно, и это я одобряю, я и сам босой как–то ходил в детстве по железной крыше в родном городе К., что стоит на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан... Подойди к окну, не бойся – у черных стекол девятиэтажных многоэтажек Теплового Стана застыли, жадно вглядываясь в пространство и время, русские писатели, как передовые, так и реакционные, не только, но и... /синтаксис/. Пойми: писатели – нервные, убогие, пьяные тоже болеют за матушку-Россию. Не бойся: они хорошо писали. Они все писали хорошо, отчего и остались навечно торчать у окон кооперативных многоэтажек во время июльской грозы, смерчей, ураганов и близящегося конца света.

А все потому, что болгарская предсказательница, гражданка Народной Республики Болгарии, сочла, что 5 августа 1984 года будет окончательный конец света. Что это значит – не объяснили, но утверждали аргументированность сказанного тем, что еще в 1982 году она же предсказала смерть Вождя, которая и наступила в том же году. "Джунда-экстрасенс?" – робко вспомнил я. Небрежно отмахнувшись и посмеявшись над моей неосведомленностью, дополнительно сообщили: эта же гражданка обещала писателю Л., что у него сгорит библиотека. Писатель Л. пошел домой и перевез библиотеку на дачу, где она сгорела вместе с дачей. "А разве он еще жив, писатель Л.? Ведь сейчас уже 1984 год?" – "Не бойся, не только жив, но и получил днями Орден Трудового Красного Знамени или Знак Почета, мы точно не помним, не помним..." – "А почему же не Героя Социалистического Труда и соответствующий Орден Ленина получил этот классик, произведения которого мы изучали в школе?" – "А мы с одной стороны не знаем, а с другой – у него, наверное, уже есть все имеющиеся в нашей стране ордена, за исключением того, последнего, который у него теперь тоже есть..."

...Вымороченность повествования, времени, пространства. *"ВЫМОРОЧНЫЙ, вымерший, Выморочный род, Выморочное имение, остальное после вымершего рода, после владельца, умершего без наследников."* (В.И.Даль), но с другой стороны – ведь не я же виноват в эсхатологических настроениях определенной части бывшей молодежи и в том, что 5 августа 1984 года будет конец света, я даже пытался с этим бороться, хотел реалистически описать июльскую грозу, как А.П.Платонов и А.П.Чехов, но к превеликой своей злобе я (а вернее – наш герой) не обнаружил в своем жилище интеллигентного человека какой-либо пишущей ручки или какого другого пишущего предмета за исключением ссохшегося белого фломастера, негодного даже на то, чтоб поставить крест на дверях в какую-нибудь Варфоломеевскую ночь. Естественно было бы искать теперь черную бумагу, чтоб написать белым по черному, но от сознания такой глупости можно

удавиться на той самой непрерывно озаряемой молнией березушке, которую сечет за окном российский ветер, мстя ей за то, что она в течение столетий секла российские задницы... Произошел описанный в газете "Правда" самум в Зарайске и Ивановской области. Несознательная природа восстала против порядка, ее нужно высечь! Или это президент Р. дует из-за океана, подобно Гулливеру, которого недавно показывали в купленном идиотском английском фильме? Или еще что, но смерч начался, как утверждают официальные источники, в Горьковской области, под городом Горьким, где "ясные зорьки", и это особенно подозрительно, и все вы знаете, почему...

Поневоле сделаешь вывод, что передовой форпост науки гораздо ближе к территории чародейства и волшебства, порчи и дурного глаза, чем все мы думали. "Рассердись великая наука! Напустила смерчу да суховетю!" – мог бы сказать тот, кто бы это мог сказать. Но отнюдь не я. Я теперь всего боюсь. Гроза за окном, молнии блещут, дом того и гляди появится, как в Японии, хотя чего уж теперь, спрашивается, бояться, когда 5 августа на носу, а вместе с ним и конец света.

Ну вот... Опять я слышу недоброжелательные голоса... Я кошунствую? Ну не сволочь ли тот, кому может прийти в голову эта паскудная мысль?... Да разве ж я не гражданин своей страны? Разве ж я не знаю, что:

ЖАЛОСТИ НЕ ЗНАЮТ

О чем пишут из США.

Радиостанции США на все лады расхваливают американский образ жизни. А вот письма, с которыми меня ознакомили в одной семье, говорят совсем о другом.

... Во время фашистской оккупации украинская девушка по имени Людмила была увезена в Германию, а после войны очутилась в США, где и проживает в городе Сан-Диего (штат Калифорния).

Муж ее безработный, уже дважды отсидел в американской тюрьме за "свободные" высказывания. Имея двух детей, Людмила не смогла в свое время

ЩЕДРЫЙ САД ЗАКИРА

По нашему, по советски

Он хорош в любое время года, это сад. Прекрасен весной – в буйном цветении укрыт бело-розовой пеной: знойным летом всегда прохладно под густой, словно шатер, тенью листвы; осенью гнутся ветки от зрелых плодов. Сад стал любимым местом жителей поселка. Кто бы не приехал в Нефтебад, гостя обязательно приведут в этот сад, угостят фруктами, расскажут о нем много интересного.

Необычна история нашего сада. Лет шесть назад здесь был пустырь – весь в гранитных валунах. Гоняли по нему ветры

вернуться на Родину. Она нетрудоспособна, была контужена во время войны.

Вот выдержки из ее письма к родным. "Этот жестокий мир наживы жалости не знает, слезам не верит. Жизнь в США становится все опасней. Идешь днем по улице и боишься собственной тени, все думаешь, как бы тебя не ограбили, не застрелили. Мы стараемся не выходить на улицу после захода солнца — опасно. Волна преступности буквально захлестывает Америку. Уменьшаются правительства.

круглые шапки верблюжьей колючки. И в мыслях никто представить не мог эту предгорную террасу цветущим садом. С кетменем в руках пришел сюда Закир Масалиев и сыновей своих привел. Долго не могли поверить земляки в затею Закира. Одни не прочь были над ним посмеяться, другие жалели напрасно затраченные силы.

— Брось, сынок, пустое дело затеял, — качали головами акасакалы, наблюдая, как выворачивает он замшелые валуны. — Земля камень.....

"Правда", 2 июля 1984 года

А что касается урагана в Зарайске в Ивановской области, то вот мне рассказывала родственница Лена. Знакомый фотограф снял, и она видела эти ужасные снимки: разрушенный дачный дом, кровать двуспальная, ночной горшок взлетел и криво повис, кошка мяучит на пустом пороге... Страшно, хотя вся страна тут же пришла на помощь. Жертвовали деньгами, посылали бригады, одеяла, платки, палатки, сгущенку. Все равно страшно. И невозможно представить, невозможно описать. Невозможно по совокупности причин, из которых главными являются скорый конец света, ручки нет, а также отвратительно болят ухо и челюсть, не давая забыться сном среди отчаянно бунтующей городской природы, озаряемой светом молний.

А началось все это еще 29 апреля, когда наш герой почувствовал стрельяние в ухо, которое ко Дню Международной солидарности трудящихся превратилось в невыносимую боль, отчего он был вынужден среди праздника опадающих воздушных шаров и цветения ехать в Сто первую градскую больницу, что расположена на Ленинском проспекте напротив магазина "Байкал", торгующего "Тоником" ТУ-13 РСФСР 819-80, где его начисто успокоили, сказавши, что ухо у него "чистое" и только, значит, "зубик болит", и ему нужно к стоматологу. Он и пошел. А стоматолог, сволочь такая по фамилии Годунова (все фамилии подлинные), тоже говорит: это у вас зубик мудрости режется в ваши 38 лет, хи-хи-хи, как поздно...

Обласканный, веселый направился он домой, но боли усиливались до предела, наступившего 15 мая 1984 года, когда из уха потек зеленый гной, а перед этим пять ночей завывал, хватаясь за голову, щеку — больно, не спал. А сосед по многоэтажке напился пьяный на собственное сороколетие и врзался в принадлежащий

мне на основе права личной собственности автомобиль "Запорожец" (ЗАЗ 968 М), смяв в смятку правое переднее крыло, переднюю панель и т.д. Отчего далее параллельно разворачиваются два сюжета: лечение уха (левого) и крыла (правого), в обоих сюжетах терпим поражение. Ухо не лечат, крыло не ремонтируют. То есть, делают и то, и другое, но из рук вон плохо, как врачипреступники в больницах или вредители на заводах и шахтах.

В разбитом автомобиле, рыдая от боли, с ухом, сочащимся зеленой гнилью, наш герой вновь является 16-го числа в Сто первую градскую, где ему снова говорят врачи ЛОР (ухо, горло, нос), что у него с ухом в полном порядке, страдает он по линии зубов, что у него, вероятно остеомиелит нижней челюсти со свищом в ушную полость, отчего ему нужно немедленно госпитализироваться в больницу №Х, которая находится на тихой измайловской улице.

На битом сорокалетним идиотом "Запорожец", с сочащимся ухом явился в эту больницу, где пьяные с битыми харями сидели в коридоре, окруженные милиционерами, ибо больница была "специализированная", по челюстям и зубам. Некоторые находились в бессознательном состоянии, их катали на каталках. Миловидная девушка, врач в белом халате, велела мне идти на рентген. Рентгеновский стол был занят каким-то бессознательным человеком, и я даже подумал, что это труп, но вскоре его перегрузили на каталку, и место освободилось. Я лег на стол в своих светлых джинсах "АВИС" (40 руб.) и понял, что неправильно понятый мною труп обоссался. Но я ничего не сказал: ведь мочи было совсем немного, к тому же у меня все так болело, что мне было не до этих смехотворных претензий.

Просмотрев мокрый рентгеновский снимок, миловидная девушка сказала, что по зубной линии у меня все в порядке, остеомиелита нет и быть не может, что это ЛОР – врачи "туфтят". Я спросил, как мне жить. Ехать к ЛОР, последовал ответ. Но я уже был там... Найдите хорошего платного врача ЛОР, я вам советую. И еще – не вздумайте ложиться к нам, вы же видите, что у нас творится... Девушка придвинулась, явственно пахнуло портвейном, и я забрав на память указанный снимок, отбыл обратно на Ленинский проспект, где врачи ЛОР, тоже довольно молодые люди, уперлись ни в какую, что дескать это – остеомиелит, и все тут, а больница №Х "свистит" и просто "не хочет класть", посоветовали найти платного зубного врача, "хорошего". Вот же черти! Я отправился домой полоскать зубы горячей водой с солью.

И это была такая ночка, после которой меня совершенно не страшит никакое 5 августа 1984 года. От боли я терся головой об обои и все пытался занять в пространстве и времени такую геометрическую позицию – "на плаву ли, на весу" – чтобы боль не била, чтоб хоть на минуточку, на секундочку, на миг забыться, чтоб боль ушла хоть на крохотный МИЖОЧЕК. Ох же ты ...

.....
.....(крайне грязные нецензурные выражения, практически все, что я знаю из этой части русского языкового спектра).

Дальнейшее изложение последовательности и последствий болезни не доставляет мне никакого удовольствия, к тому же боюсь, что описания положений, лиц, ситуаций начнут повторяться, и это может быть истолковано, как очернительство, нарочитое сгущение красок, типизация нетипичного, что мне совершенно ни к чему, у меня и других забот хватает. Поэтому перехожу, как Хемингуэй, на телеграфный стиль и обещаю, что вскоре совсем закончу этот рассказ, слабый, как я в моем теперешнем положении (такой же "рассказ", как я — "герой"). В общем, слушайте, если хотите:

*Утром после апофеоза боли к врачу Годуновой обратно,
Которая больше меня напугавшись,*

*Мне направление в ведущий головной имени Семашко
Институт дает и сама при этом песню Иосифа Кобзона
Поет. День же — суббота,*

*И мне нужно забирать машину, которую чинят за 350 рублей
В подмосковном городе Истре мастеровитые рвачи:
С одной стороны — рвачи, с другой — врачи...*

С гноем в ухе я машину в Истру отгонял,

*А по дороге выл и молча рыдал, а также песню Владимира Вы-
соцкого исполнял. Не из тех, что Роберт Рождественский
На пластинку и книжку "Нерв" пускал, а из тех, которые
Народ и без него знал, любил, беспредельно уважал...*

*ЗАТОПИ ТЫ МНЕ БАНЬКУ ПО-ЧЕРНОМУ, что ли?
Возвратившись кое-как на электричке в Москву я к*

Семашке держу направление

*И там, наконец, получаю честное и правильное лечение,
Что доказывает, что вовсе не очернитель я,
А просто диалектически сложна судьба моя.*

*Все волшебню меняется. Прекрасное обращение. Очереди нет.
Что за напасть?*

*/Потом друг, врач и поэт Александр Лещев мна сказал, что
туда очень трудно попасть,*

Что туда лишь блатные идут

И коньяк за 13 руб. 80 копеек с собой несут/.

А я — то и не знал, а то бы еще сильнее радовался, что

К Семашке попал, хоть и жизнью своей рисковал,

Но не знал, а лишь по-прежнему тихо-тихо стонал.

*Новокаинная блокада. КАИН и АВЕЛЬ. Толстой иглой
колют под ухо меня.*

*Завязывают, как зайца. В Истру еду в полубессознательном
Состоянии. Я ХОЧУ ВИДЕТЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА! На электричке.*

Как — не помню. Спасибо жене, кабы не она,

Скончался бы я и скорчился от горя, как свинья.

В Истре рвачи уже пьяные, но вроде бы все сделали, а

Красть им нечего, красить нечем, краски у них нету.

Мы, говорят, простые люди, все с высшим образованием.

Ладно... Пошли вы... Нет сил... Жена садится за руль.

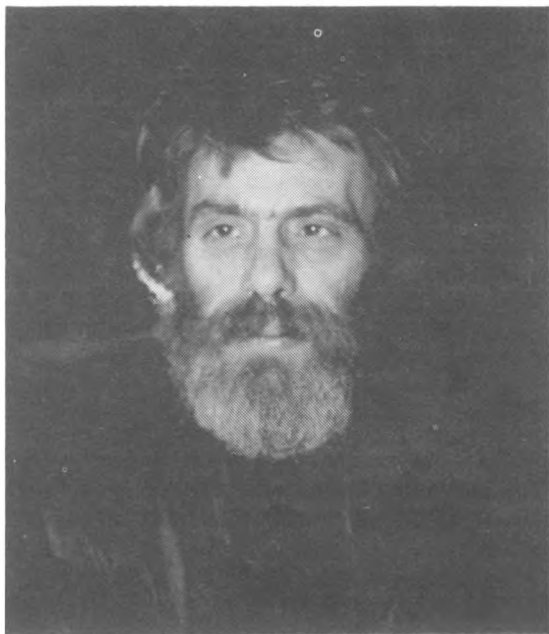
Я — дремать и покачиваться рядом...

И на этом мои страдания, дорогие друзья, практически заканчиваются, что еще раз доказывает — жизнь прекрасна, и ни-

какие временные трудности не способны порушить это мое патристическое мнение о ней. Мне три раза меняли диагноз, каждый день кололи толстой иглой, рвали зуб мудрости №8, заодно сломали зуб №7. На меня упала врачевная лампа, плохо прикрепленная винтом. Я закрутил винт, мне сказали спасибо. Хороший платный врач лечил мне зуб №7, сломанный во время бесплатного выдирания зуба №8, была адская боль в разверзтой полости, но я крепился, как партизан. Из уха снова тек гной, но потом все прекратилось, я полностью вылечился, практически здоров, у меня теперь хронический артроз, мне нельзя с хрустом есть яблоко, широко зевать и много разговаривать. Зато писать можно, что я и делаю, ставя точку.

Точка. Не хочу больше писать. Что-то не так. Нужно что-то другое, более светлое, как светлы, например, мои джинсы АВИС или светел светлый путь лунной дорожки, уходящей в сентябрьское море близ селения А. Симферопольского района Крымской области. Что-то не так, что-то другое... Билет, но куда?

А между тем июльская гроза вскоре незаметно кончится. Незаметно наступит утро. Призрачный молочный свет наполнит комнату. Природа будет дивно как хороша, и мы еще поборемся с ней. Рыбак замрет на озере, подманивая леща, ожидая щуку. Яблоки с глухим стуком упадут на крышу той бани, где жил Пришвин. Железнодорожный рабочий с молотком пройдет вдоль полотна строящейся магистрали века. Пилотируемый корабль войдет в плотные слои атмосферы. Чайка джонатан с клетком пролетит "над седой равниной моря". И вдруг заалеет восток, вызолотится полнеба — вот и прошла ночь, ну и прошла ночь, вот и спасибо, ну и спасибо...



Виктор КРИВУЛИН

НОВЫЕ СТИХИ

ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

за четверть века пока я здесь
говорил о чем-то своём
вода похудела зеленая взвесь
наполнила водоем
и самое большее дюжина слов
исчерпывает всю глубину
озера где ночной рыболов
китайскую ловит луну

а то что мы твердили взахлёб
выговорилось высохло до костей
и меня от ваших воротит европ
и от ваших расей
я вижу: на высоких шестах
подымают связки сушеных рыб
это наши слова – да в чужих устах –
издают, как вобла, голодный скрип

ИГРА КОТА С ТЕНЬЮ

морда сенатора или судьи
рыжий вальяжный кот
как бы оживший обрывок статьи
о бодлеровских кошках чей перевод
полностью кажется до сих пор
не опубликован пока

он смотрит одновременно в упор
и как-то сбоку исподтишка
словно бы разом на двух языках
говорит об одном – но так
что и мягкие лапки в белых чулках
это лишь некий знак
убранных но реальных когтей

и когда журнал "огонек"
перелистываю и треугольная тень
страницы пересекла потолок
по стене сбежала, острым углом
сквозь ухо его прошла –

он вздрагивает и с неосязаемым Злом
борется с помощью зла
он принимает бойцовский вид
боком боком за ней
и вроде бы в шутку ее когтит
но хвост ходуном и шерстка блестит –
и чем безобиднее тем сильней
его игрушечный гнев

чудится будто не кот ворчит
а символ Библейский Лев
рыкающий в пустыне синай
ночью когда луну
затмевает звероподобный край
тучи на Святую Страну
ползущей от западных рубежей
из египетских черных глубин...

да о чем я читаю! о ловле мышей?
о воинском братстве мужчин?

ПИКЕТЫ МОРСКИХ КУРСАНТОВ НА ВЫСТАВКЕ АМЕРИКАНСКОЙ ГРАФИКИ В 1968 ГОДУ

от символической весны
Парижской или Пражской
мы хорошо защищены
работающей пряжкой
того матросского ремня
какой свистя и воя
обрушивался на меня
внесенного с толпою
куда-то... знает Бог куда
уже и не припомнишь:
все будто вышибло тогда
когда я звал на помощь

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ПРЯЖКИ

плыли полотняные фуражки
беспогонные гуляли кителя
и меня пугали набережной Пряжки
где кончается нормальная земля
там гниют почтовые фургоны
вогнанные в почву до плечей
и над речкой закопченной
одурелый свищет угорелый соловей
там — рассказывают — белые халаты
вырываются из розовых окон
и над самой кромкою заката
кружатся крича, со стаями ворон
смешиваясь...

а когда стемнеет —
опускаются на землю столбенеют
и стоят безумье затая
провожая белыми глазами
тихими пугая голосами
подгулявшего какого почтаря

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ

пейзаж души послевоенный
какое слово не возьми.
оно становится как пепел
зачерпнутый обеими горстями
из Книги может быть нетленной

ГРЯДУЩЕЕ КАК НА ЛАДОНИ

грядущее как на ладони!
попробуй-ка не разгляди
в перекультуренном бульоне
какой вскипает впереди
свои лучащиеся кости
суставы световых узлов
и весь Костяк бездонный в росте
без кожи и без берегов

В ОКРУЖЕНИИ КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА

штукатурка вздулась волдырями
стены чем-то схожи с пьющими людьми
в конуре оклеенной календарями
где повзводно выстроены дни
каждый месяц — как семиэтажный
сталинский добротный дом
а который год за окнами неважно
мы ведь не во времени живем
окруженные сплошным кутузовским проспектом

ТРИАДА

Бухало Ширево Дурь
Троица Тройка Триада
золото кровь и лазурь
рая чистилища ада

ОБЪЕКТ ЭКСПЕРИМЕНТА

ну что, объект эксперимента
морская свинка, обезьянка —
пора любительниц абсента
затягивается как ранка
слоями ткани синеватой
зелено-голубой прозрачной

упразднена пивная сняты
столы развеван дым табачный

становится бедней и чище
во чреве русского парижка —
увы уже не кайфа ищешь
а так чего-нибудь пожже
хотя бы запаха бензина
хотя бы капли клей-момента —

чтобы волшебная картина
/сезанн. любители абсента/
сквозь химикаты реставраций
пройдя – предстала бы Стеною

где пустота где мглы роятся
на месте красочного слоя

ДВА НАТЮРМОРТА

1. ОДИЛОН РЕДОН. ВАЗА С ЦВЕТАМИ.

букеты одилон редона
под электронною охраной
распространяя запах пьяный
персидского одеколона
висят букеты
и глазурию
фаянсовой правдоподобной Вазы
я поражен я в оба глаза
гляжу похожий на глазуню
гляжу как водка на стаканы
из глубины своей зеленой
– и вижу свет ненаселенный
пустующий обетованный

2. НАТЮРМОРТ ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

селедка на газете
осьмушка хлеба нож без рукоятки
и все это в жестяно-жестком свете
в рабоче-металлическом порядке
разложено занявши подоконник
за стеклами творится Новизна
и в синеве (пока что не покойник
но скоро уже... вот его спина/
ораторствует некто надрываясь
над безраздельною толпой...
и все-таки зачем-то оставались
ловили Свет неслышанный скупой

Осенними вечерами к нашему застолью в приморском кабаке южного берега Крыма /ЮБК/ нередко присоединялся Славомир Волкович косая сажень в плечах, ртутное поблескивание в далеких, словно морской горизонт, глубоко посаженных глазах, резкие очертания лица охотника, скалолаза, супермена. Я еще не знал тогда, что он пишет, и больше воспринимал этого на редкость располагающего к себе парня как одного из молчаливых поклонников Беллы Ахмадулиной. Ходили слухи, что Волкович отобран в команду космонавтов с прицелом на луну, якобы он тренируется в солончаковых пустынях восточного Крыма, неподалеку от засекреченного города Орджоникидзе. Когда его спрашивали, правда ли это, Славомир улыбался прекрасной улыбкой одного из немногих уцелевших романтиков и говорил по-английски: "Rabbish".

Совсем недавно на волне гласности в Вашингтон приплыл мой старый московский друг, внутренний эмигрант Фил Фофанофф. Он привез мне привет от Славомира и небольшую пачку его стихов и прозы. Еще Игорь Северянин сказал: "Когда рождается поэт, душа бывает взволнована". Надеюсь, что и читатели разделят мое волнение.

Василий Аксенов

Славомир ВОЛКОВИЧ

ГЛАЗ ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ

Повесть

1

Я торопился туда, чтобы купить бутылку сухого красного вина под названием кровь людская, потому что меня звали на один обед, и уже ждали там. Для того, чтобы попасть в открытые двери, необходимо было пересечь площадь. Это была маленькая площадь в центре столичного города. Начав считать ряды машин, я дошел до шести-восьми и сбился. Чтобы уточнить, я проник на маленький островок неподалеку от берега. То есть этот островок потому и образовался, что я остановился. Машины были самых различных марок, иностранные, изящные, совсем маленькие, как мухи, надутые, как будильники, упомянем рено, вольво, альфа ромео, джульетту, бедную девочку, маленькую осеннюю мушку, больно жалящую в щиколотку, фиатик, машину победы, это уже пошли здешние, машина столичная, криворожец... переставая считать, потому что сбился, я разгреб рукою два-три стремительных ряда и поплыл вон. Но

оказалось, что потребуется несколько пересадок. Площадь стала немного больше за то время, что я собирался перейти, переправиться через нее, появились подземные ходы, замелькали человечки, белые, маленькие, образовалась гора, полная каких-то жестких зарослей, в этом кустарнике свистели постовые, и людишки стояли, бледные и легкие как перхоть. Я задумал этот путь раньше, а задумался только теперь. Как всегда, меня обуял страх, именно так. Всегда перед решительным поступком мною овладевает страх. К этому приучили меня родители, отец, герой минувшей войны, и мать; к этому приучает меня круг друзей, вторая жена, две дочери, сын, а я, в свою очередь, учу этому их в ответ. Прекрасно знаю, что будет дальше: если не случится чуда, я улицу не перейду, так и буду стоять пеньком в этой чаще чадающих существ, обтекаемой стремниной двигателей внутреннего сгорания. Может быть, и у них лопнет терпение, и кто-то решится и нанесет мне рану. Оправдаются мои опасения, станет ясно, что человек, в четыре пересадки собравшийся с одного конца площади на другой, не безумец, все было запланировано верно: вплавь, потом пешком, потом метро, троллейбус и снова вплавь, а подвела вода, недоучет темных мест и воронок.

Стремился к этим стеклянным дверям в магазин, а они закрыты. Они закрыты, я не узнаю, где винный отдел, не успею ничего купить, опоздаю, не явлюсь. Я вообще впервые в этом столичном городе, ничего тут не знаю и многого опасаясь. Например, прилетев на самолете, я ждал багаж и видел тысячи людей, приходящих и уходящих через такие же стеклянные двери. Постой-ка! А как они это делали? Неужели вот так просто нажимали на алюминиевую слегка жирную ручку и дверь отворялась? Хе-хе! Да ведь это так просто. Вот я сейчас как толкну ее — и освобожусь. Действительно, дверь легко ходит туда-сюда, сейчас она меня пропустит, а потом легко выпустит. Что же это я совсем. Закрыта — не заперта. Нет замка? — толкай, что есть мочи. И я легко втиснулся внутрь. Оказалось, что внутри скопилось огромное количество народу.

Оказалось, что я нахожусь в середине толпы. То тут, то там возникали толпы восточных женщин, изукрашенных непосильной ношей. В тюках были детские колготки, ножи, ружья, шампуни, старые пальто, стоптанные сапожки и новехонькие бурки, много тетрадей в клеточку, оранжевые школьные платица, пеленки в горошек, ушанки, кое-что, перевязанное бумагой, отрезы, пряжа, тяжелая руда действительности. Я хотел было выйти вон, но двери были невероятно далеко, кажется, на другом конце, и я попробовал пересечь площадь торгового зала, усе-

янную бледными людьми с невидящими глазами. Пешком минут десять, потом трамвай и автобус. Где-то в середине зала я понял, что попался. Например, уверенный в пересадке, как в себе, я обнаружил лестницу вниз, спустился и оказался в метро. Ничего хорошего это, естественно, не сулило. Насилу я выбрался наверх и тут же оказался внутри чужеродной очереди. Она шла в кассу, выбивала за водку, и я уж было совсем решил в ней постоять, но задумался.

Пытаясь понять, как устроен этот гастроном, я окинул взглядом его бескрайние просторы, шедшие от меня налево и назад, или, точнее, на север и на восток, анфилады комнат, точно во дворце или музее, заполненные зрителями. Конечно, избыток публики объяснялся метрополитеном, открытым прямо в центре зала. Хороши, нечего сказать. Спасибо, эскалатор поломан, и народ потихоньку подымается сам, неся в руках сумки, флаги и букеты цветов, а то, неровен час при целом-то — вообще ни сна, ни отдыха. Мне казалось, что вот-вот будут объявлены перерывы во всех отделах и прежде всего в кассе, но я ошибся. Чеки выбивались круглые сутки, без выходных.

Очередь тянулась мучительно, и я бы не вынес этих мук, когда бы не услышал, как какая-то школьница лет четырнадцати играет на пианино. Я покинул соседей, сделал глубокий вдох и выдох, что мне очень долго не удавалось, так как я был сдавлен тулупом спереди и ватником сзади, вдох оказался просто спасительным и я счел себя вправе пройти вперед. Идя по слегка жирному полу, я понимал, что в этом столичном гастрономе полное изобилие, и надо было бы не бутылку сухого, а стать хорошенько и постоять пару недель, чтобы купить и сала, и хлеба с тмином, и сыра незрелого, легко смахивающего на мыло, и дружеской колбасы по приличной цене килограмм, может быть даже молока в пакете, кефира в странной иноземной упаковке, детского питания, стуженки и обязательно масла сливочного сколько дадут в одни руки золотников. Я-то понимал, видел по полу из метлахской плитки, а местами из недорогоценного мрамора, что все это есть в магазине, ибо мелкие частички всех вышеназванных продуктов, о которых можно только мечтать в провинциальных универмагах, где все холодильники завалены консервами и игрушками из плюша, в рыбных отделах продают скалярый, а проходы к ним загорожены контейнерами с крупами ячневой и перловой, а бывает еще и снежной, а баррикады из хозяйственного мыла заполняют подходы к полкам черствого хлеба или быстро раскупаемого молока; но мне некуда было взять, в руках у меня болтался легкий пакет с рисунком кинескопа и надписью аршинными буквами. Надпись говорила: телевизор —

это член вашей семьи. От этого утверждения можно было наложить на себя руки, но пакет был дареный. Знакомый отца, низкий человек, работал агентом по рекламе на телезаводе. Он очень гордился этим пакетом. Пробивал его несколько лет. Говаривал так: это дело всей моей жизни. Когда, наконец, пакет вышел в свет, и он принес нам десять штук, пять в подарок, а пять по сорок копеек, мы поняли, что он просто герой. Безымянный герой невидимого фронта рекламы, подумали мы тогда не всерьез, а он действительно перешел работать бойцом невидимого фронта.

За фортепьяно, стоявшим вблизи винного отдела, сидела девушка, рассмотрев ее издали, я решил, что она уже не школьница, хотя более тридцати лет ей не дашь. Бледная, не очень привлекательная, но с приятной улыбкой, лицо овальное, зубы слегка тронуты кариесом, нос с горбинкой, кожа лица совершенно чистая и прекрасного глубокого серого цвета глаза. Легко обойдя ее сзади, я отметил правильной формы затылок, маленькую родинку между лопатками и прекрасные, идеальной формы ягодицы, легко лежащие на круглом стуле, отвлекающие от музыки, тем более, что кое-кому начинало казаться, что у него возникает чувство, могущее совпасть с этой идеальной поверхностью, как отливка и форма и такая самонадеянность грела внутри, освещая дальнейшее каким-то особым светом несмотря на явную иллюзорность. Да, усилием воли оторвав свой взгляд от девушки, кажется, безногой, я вернулся и стал справа от инструмента, чтобы слышать музыку. Потом мне показалось стоять справа неловко, она смотрит на меня надменно и подозрительно, как продавщица, а это особый народ, они всегда хорошо одеты и знают себе цену, а также они знают цену всему и даже некоторым ценностям, каждый может легко узнать их посреди толпы, и вот тому простой пример: вокруг меня множество народа и любой знает не больно много, но если это малое знание рассмотреть, то там будет непременно знание о местонахождении и внешнем виде продавщицы, о ее цене, совершенном ее характере, достоинствах и доблестях, скрытых за этим выражением лица, похожим пусть не на всю акулу, но на акулий плавник. Но нет, не будем дразниться, я потупил взор, который и так был потуплен, вверх не подымался, разве что до пояса, а лицо я оценил по отражению в кафельном полу, пусть по смутному, но все же имеющему место. Я перешел за спину инструмента, стал там, где видны неполированные крашенные доски и ручки для переноса, стал там, с изнанки, с затылка, у того места, которое можно назвать и задом, обычно им прижимают к стене, оно не видно, но всем хорошо известно, как оно

выглядит. Руки я выложил наверх, положил на них голову и стал слушать. Конечно, я люблю слушать музыку. И люблю насвистывать, кстати сказать, постоянно что-то насвистываю про себя. Вот и сейчас, еще с той секунды, как решил сбегать в магазин, начал свистеть мелодию одной сарабанды с вариациями. Мои симпатии целиком отданы в последнее время барокко и его героям. Если бы она могла мне сыграть что-нибудь такое же мелодичное и страстное, что составляет сущность подлинной музыки... но нет, она играет что-то простое и противное, что-то хренниковое, марш. Я умоляю ее, но глазам нашим встретиться не удается и даже более того: она разговаривает; может быть, со мной, хочет объяснить мне, ведь сам никогда не пойму, сколько времени потеряно даром, поглощено заполнением никому не нужных бланков, анамнезов, справок, доверенностей, повесток, потрачено на верчение кубика-рубика, пустые беседы, пререкания с начальством, скандалы, притязания. Ого! Да ведь вот эти мыслишки, такие простые, могут стать для меня сегодня самыми важными. Послушаюсь ее, не пойду никуда, вернусь домой и сяду заниматься делом всей жизни. Изобрету лекарство от импотенции. Я фармаколог и много лет работаю в одной провинциальной лаборатории, впрочем, достаточно известной. Шеф наш занимается проблемой цвета, его диссертация по дальтонизму. Дело в том, что он сам дальтоник. Это бывает. Многие у нас имеют такого рода совпадения. Один мой знакомый горбун стал крупным специалистом по сколиозу. А как над ним издевались на студенческой, как принято говорить, скамье!.. Горб был у него и спереди и сзади. Его называли парашютистом – в отличие от туриста – тот был студентом с соседнего факультета и носил свой «рюкзак» с мужеством отчаявшегося человека. Наш же был скромным, забитым и вызывал на себя издевательства даже незлобивых соседей по комнате, вроде невинных забав по укладыванию пудровой гири в постель, которую затем невозможно было ему извлечь, пытаюсь своими немощными руками пересилить судьбу. Нет... Он часенечко спал с гирей, а утром являлся в умывалку с бледным лицом и виноватой улыбкой. В довершение всего он был родом из города Кривой Рог, что тоже немало веселило окружающих. Что ж – теперь он вместе с нашим шефом закусывает на банкетках рыбьей икрой, лососевой, например, разные дорогие напитки, а мы топчем здесь пол из керамической плитки в очереди за чем-то там. Ну, пока я обдумывал, что собираюсь открыть еще, лоцманский катерок ее музыки ушел куда-то в открытое море и зазвучал целый ансамбль.

Он располагался прямо за моей спиной, там, где раньше была

касса, в середине соединившихся под прямым углом севера и востока. Раздавались звуки народных инструментов, как потому, что музыка принадлежит народу, так и потому, что только он ее и сочиняет, а все остальные обрабатывают. Фортепиано, похоже, понадобилось лишь для вступления, как повод, чтобы легче начать. Инструментов было немного, но были и лишние, взятые в долг у симфонического, духовая группа не робела, там задавали тон валторны, дирижера, как и положено не было вовсе, а на его месте стояла капельдинерша, вручающая обычно с ласковой улыбкой дешевенькие, по рублю, цветы, такие продают в переходах и на кладбищах, называются почему-то дубочки; стояла не только для того, чтобы попробовать править этими орлами, но и для того, чтобы вокруг не подумали чего. Вон тот пузатый валторнист-соколик играл и разговаривал одновременно, причем говорил громче, чем играл, препирался с капельдинершей, а та что-то мямлила в ответ, видно с детства была нерешительной, может быть, даже, плохо слышала, она была мне не видна, потому что я стоял спиной и поворачиваться не хотел. Еще стоя у пианино, я подумал: а что, если буду жить, как хочу: нет желания повернуть голову назад – и не поверну, хоть пусть кто угодно зовет. И вот сейчас я не поворачивал голову назад, а только всматривался в валторниста, надувающего щеки словно амур со старинной картинки, а в паузах, яростно выпряхивая слюну из лабиринтов своего инструмента и продувая мундштук, что-то кричащего мне в лицо, видимо, за мою спину, так как я стоял на одной прямой между ним и правительницей этого славного ансамбля.

Сначала до меня легко доходил смысл высказанных этим рядовым музыкантом возражений: дескать, так нельзя, мы играем не то, что написано, а то, что, как нас уверили, нужно публике, передо мною совсем не те ноты, другие знаки, ритм, даже партитура рассчитана на другой состав, и вообще, я еще ни разу не играл, чего хочется, хотя трудолюбив и неробок, а вы, вместо того, чтобы помочь, только машете своей указкой, и то – в дурацкий невпапад, ничего вокруг себя не замечая, у вас выросли редкие, но заметные усы, нет силы в кистях рук, вы раздражительны и просто тугоухи, чего же еще! По сути он, как я понял, в общем-то прав, потому что музыка неслась, куда ей было угодно, а та все листала ноты с таким видом, словно между страници спрятаны ассигнации, которые спасут ее от разорения. Звуков становилось все больше и последние полчаса-час они становились уже ближе к тем, которые мне хотелось услышать, трагичнее заходились скрипочки, что-то свое наконец начали бормотать барабаны, образованные виолончелистами: те для удобст-

ва положили свои инструменты на пол животом вниз и легко барабанили своими длинными изящными пальцами у них по спине, звук получался изумительный, тревожный, глубокий, вызывавший из глубины, именно такой был нужен сочинителю и мне, до поры единственному их слушателю.

Но несмотря на достаточные размеры магазина, звук все-таки достиг ушей окружающих, и, оглянувшись против собственной воли, я увидел, что уже не один. За моей спиной столпилось огромное количество народа. Все стояли в профиль и анфас, были там негры, лиходеи, присужденные к колесованию, святоши, старшины, торговки краденым, знахари, ведуны, страсто-терпцы, переписчики, лифтеры, постовые, альфрейщики, казнокрады, мздоимцы, бойцы, хохотушки, ловцы ветра и пресмыкающихся. Стояли они очень неудобно и теснясь, плоско занимая плотно семьдесят шесть на восемьдесят три, холст, масло, точнее даже не холст, а дерево, Гент. Колорит темный, молчат, в самой глубине маячит одно юношеское лицо, он надрывается, тащит какие-то доски, сколоченные под прямым углом, в голову впирается венок, какой-то негодяй свил его из колочек, они называются ведьмины когти. Догадался. Он бы еще из ос ему ожерелье на шею надел или дал керосину испить, хотя закрытые глаза этого юноши, кажется, говорили, что и такую награду он принял бы, зажмурившись, ибо ему уже столько досталось, что это просто ерунда, и он сочувственно кивал и окружающим его лицам, и музыкантам, и даже ничтожному мне, как бы в такт мелодии, которая продолжала разрабатываться в прежнем составе.

Похоже было, что дурной пример роптать во время игры оказался заразительным, и вот уже вслед валторне начал выступать кто-то с виолончельного пульта, слегка поредевшего, выкрикивая что-то не по делу, накипело, видать. — Еще недавно на собраниях нас отчитывали как школьников, — играл он, — чтобы мы, бряцая на доверенных нам народом струнах, не только услаждали слух тех, у кого нет слуха, но и помогали расти — тому, что уже слегка начал гнить, переносить невзгоды — тому, кто их не замечает и обогащать духовно — того, кто уже почти испустил дух. И что же? Мы стараемся, лезем вон из кожи, например кожи пальцев: там просто все стерлось почти до кости, работаем денно и ночью, по шесть часов репетиций, по восемь самостоятельных занятий, не видим семьи, плохо едим, совершенно не пьем, иногда даже не имеем возможности справиться малую нужду, как это ни оскорбительно, может быть, звучит; мы не щадим живота своего, стремясь выполнить возложенную на нас задачу, стать доступнее, ближе, найти понимание,

протоптать тропу в зарослях невежества, найти ключ к душе каждого слушателя, и что же мы видим вокруг? Нас окружает скопище каких-то жующих рож, причем с каждым годом их все больше, в этом сезоне – вообще гамадрилы какие-то, все напряжены, раздражены, разнаряжены, те, кто слышит, ничего понять не может от злости, а многие смотрят прямо на тебя и вообще ничего не слышат, это же видно по глазам, кто-то кемарит, кто-то вяжет, другие думают о чем угодно своим, торговцы о барышах, лекари о лекарствах, взрослые о детях, разбойники о наказании, солдаты о преступлении, никто из них даже из вежливости не следит за мелодией, и вот в таком-то окружении вы велите нам продолжать? – возмущается он. Узнав, что отвечать некому, он распаляется еще больше. – Клянусь, – восклицает, – что ни от чего я сейчас не далеко так как от презрения, нет! нет! – речь идет о признании этих несчастных, ну, посудите сами, мы же хотим этого ради них же самих, а им этого вовсе не надо оказывается, вот и на этот раз: посмотрите, кто здесь? – случайники, всякая праздношатающаяся публика вроде командировочных и отпускников, скрывающиеся от правосудия; обязанцы – ученики так называемых музыкальных заведений, люди равнодушные, в массе своей именно к ним мы зачастую и адресуемся, чтоб совсем не замолчать, но, бывает, и среди них кто-нибудь, оглянувшись, достанет в самом разгаре аллегро спицы и начнет быстро-быстро чего-то крутить руками или, не то взяв пример, не то его подавая, нескромно зевнет, словно в зале нет воздуха или его кто-то спер. А ведь подлинные старания наших тел, их сгорания – ради внимателя; а таких либо вовсе нет нынче, либо случайная одна фигура в толпе сыщется по ошибке, а коли и так, то он, небось, так далеко от нас, так сжат окружающими, что идохнуть не может, ни увидеть, ни услышать, ни ноты развернуть, что из дому принес для проверки, не врем ли мы сегодня чего, а может, для уточнения акцентов, так вот и ноты развернуть не посчастливилось ему; небось, тоже сейчас о своем думает, за нами не уследив. К примеру, для кого наш пульт наяривает? Для автора? Так он вроде уж лет полтора, как нас не слышит, ради соседей? так они свою линию гнут, дай бог не сбьется; вон девушка, кажется, что-то пытается выслушать?.. – нет, уткнулась в свой клавир, сидит тихо; короче говоря, лично я играю только ради этого, возможно, теоретического, персонжа, а если его тут нет, так я сейчас брошу свою виолончель и пойду вон. И не вздумайте меня держать. И вообще, если кому-то кажется, что эту музыку он уже где-то ви-

дел и на концерте этого ансамбля уже не первый раз, то пусть потерпит, а то у нас еще и плясовая группа есть, пусть скажет спасибо, что мы таим ее до поры. Пусть учтет, что мы просто играем парфраз; он соотносится как... ну, как тоника и субдоминанта, не исключает же одна другую; нечто, взятое дремотой у действительности взаймы; покорное диктату подкорки движение смычка; невольное; непреодолимое; с кого спрашивать ответа? с какого-нибудь продолговатого мозга, нерва-вагуса; но не с меня же, честное слово, я же не виноват!

Толпа, между тем, оказалась нестойкой. Оглянувшись во второй раз спустя полчаса-час, я обнаружил совсем других лиц, электрики, телематера, ребята со стройки и из котельной, рыбаки, доносчики, выпивохи, попадались среди них и добряки, и честные трудяги; все они громко обсуждали сложившееся положение, иногда понимающе хохотали, все время чего-то жуя. Поначалу те из них, кто были приезжие и пока не познакомились, говорили только о продуктах – где чего нет, и где чего есть, эта тема быстро всех сблизила своей универсальностью и быстро исчерпала себя, хотя были и такие, кто мог говорить о снабжении до второго пришествия; остальные постепенно сползли на анекдоты, предпочитая опасные скабрёзным, но самое главное началось с обсуждения вероятности начала каких-нибудь, начатых случайно, по ошибке или в результате провокации, военных действий.

Этот вопрос волновал и меня, и мне мешало вступить в обсуждение только то, что я продолжал слушать как беснуется валторнист с тем, вторым, да задают ритм барабанщики, да поплакивает старушка за пультом, и я мыслями отвлекся в сторону беседы, а глазами следил за ними и даже иногда хлопывал или посвистывал, а то и что-нибудь ободряющее им говорил. Темя эта беспокоила меня не только потому, что ею каждый день третировал меня член нашей семьи, причем дело было нешуточное: первая моя жена не выдержала этого и приняла яду – она нашла его у меня на рабочем столе, это был первый вариант моего препарата, несовершенный, токсичный, синтезированный пробно и случайно забыт ночью на столе, хотя обычно я все убираю в сейф, а она смотрела-смотрела на экран, он у нас не выключается круглые сутки, это подарок первого тестя, он нам на свадьбу такую новинку припас: член семьи без выключателя, один раз нажал на кнопку, еще в магазине, при продаже, и все, спокойно: дальше он будет работать бесконечно, может быть даже ничего временами и не показывая, там в нем вмонтировано какое-то хитрое устрой-

ство; и вот часа в четыре утра ей, видно стало совсем невмоготу, и она с воем вбежала на кухню, где я химичу, съела все таблетки, упала навзничь, заснув, чтоб больше уже не просыпаться. Я был так напуган и расстроен, что целых две недели не мог ни на ком жениться, а когда решился на этот шаг, то твердо знал, какое качество в новой спутнице будет для меня решающим, поэтому только мои соседи и удивлялись, почему это вторая моя жена слепая, и, спасибо, дети от нее тоже слепые получают, так что на пока мы от неожиданностей и суицидов застрахованы, ибо звук можно вырубать, и он у нас постоянно вырублен, как внесли к нам этот подарок, так я ему и отрубил этот конец, по которому тек звук. Помимо прочих глобальных мотивов, этот вопрос волнует меня еще и потому, что тогда моя работа, мое лекарство никому не понадобится. Зачем же я тогда не сплю ночами, извожу жену, детей, близких родственников, трачусь, изнываю: мне, мол, не дают работать, я, мол, настоящий ученый, хочу вот мир облагодетельствовать, а вам от этого ни холодно ни жарко, не можете дать мне десять минут покоя, машинку некуда поставить, стук ее даже соседу внизу помереть спокойно не дает, где уж тут попечатать для дела, я уж не говорю о том, что план работы я не в силах уже лет четырнадцать обдумать, с тех пор как школу закончил и женился, все напрасно, и фильтры, купленные мною на деньги сэкономленные сдачей бутылок, и реторты, взятые напрокат, и хрупкие иностранные пипетки разных размеров, и траченный молью свитер, который я берег, решив надеть на церемонию вручения степени бакалавра, нет, напрасно, лавров мне не видать, они если и растут где-нибудь на юге, то там и сторят в ходе военных событий.

Но пуще всего жалко еще одной тайны.

Честно говоря, об этом я собирался смолчать. И когда собирался сюда, и когда становился в очередь в кассу, и когда мне пуговицы на пальто оборвали, и когда на музыкантшу глаз положил. Смолчать я хотел потому, что об этой тайне никто особенно не догадывается. Это как бы мое столь личное богатство, что даже страшно и стыдно, что-ли, о нем поминать. Родня, конечно, что-то подозревает, но я им прямо не говорю; друзья, которых немного, и знакомые, а этих полно, и вовсе не в курсе, сидят сейчас, поди, за столом, ждут меня, о выпивке мечтают, что я должен принести, а об этой малости и не ведают.

Тайна вот такая простая: я хочу сочинить песенку.

Одну-единственную, крохотную, но свою собственную, я так, вроде, и стишата почитываю в периодике кой-когда, и к

музыке равнодушен, вот думаю порой: и как же они это дело... ну, как?.. Сначала надеялся по нотке да по букровке, потом смотрю – дело плохо. Так не пойдет. Начал с другого бока. Но пока что в этом вопросе – как и в том. В одной поре. Мне эту песенку затем хочется сочинить себе, кто, кажется, в коротких ее словечках будет таиться сильная, запоминающаяся грусть, а в мелодии, пусть не длинной, но все же в чем-то похожей на какую-нибудь сарабанду или на ее вариации, эта грусть найдет свой оплот, они будут просвечивать друг сквозь друга, как юные любовники, содержа и невинность, и страсть, и тысячи других невообразимых вещей, не поддающихся протоколу.

Сначала я долго не мог понять, зачем же это мне. Взрослый человек, две жены, три ребенка, пусть несолидная, но все же регулярно оплачиваемая работа, аванс пятого, зарплата девятнадцатого, без пяти минут открою формулу наконец, а вот смотри: ищет чего-то, как будто потерял когда... Сначала просто смутное: хочется – и все, без объявления. Потом начал туман рассеиваться слегка, начала мне какая-то сценка являться в редкие минуты, когда, скажем, музыку слушаю или в очереди стою, сам с собою, нет помех. Вроде догадываюсь: она не мне нужна. А от меня. От меня и вместо меня чтобы осталась. Меня уж нет давно, а кто-то вспомнил мою песенку и давай ее петь, как будто сам сочинил. Ведь и я, возможно, просто пытаюсь обнаружить что-то, ранее уже спетое, а то и не раз. Но как хочется в песенке это дело перенести, сублимацию, будь она неладна, как пришел, так и ушел, в чем пришел, в том и ушел.

Вот если эта жующая кодла за моей спиной, этот невидимый фронт дробящих пищу голов, постукивающий зубами и коронками за мою спину да над моей головой, если это мезиво, галдящее сейчас о возможном конце света, бомбах, которые могут летать по воздуху, горючих смесях, каких-то жидкостях, одной молекулы которых хватит чтобы превратить всех в змей или планктон, а то и вовсе обездвигить, если они правду галдят о каком-то втором пришествии, то плохо дело. Тут собирался спасти человечество, а теперь как бы скорее собрать манатки, скорей под землю.

Дело повернулось в грустном направлении. Об этом даже игроки на дереве и металле призадумались. Тот пузатый перестал орать на старуху, больше поглядывает на пианистку, как бы спрашивая ее: что же делать?.. Решили вот как: забыть об этом до поры до времени, как ребенок любой забывает, может же он сказать себе: ерунда! со всеми – да, воз-

можно, не знаю, а вот со мной — этого никогда не случится, потому что это я; ребенку под силу, а нам, что... Вот и все, поняв что ни к чему путному их эти переговоры не приведут, как-то быстро стушевались, начали больше думать о чем-то более для них существенном и говорить о более насущном. Постепенно толпа вокруг ансамбля рассеялась, те получили возможность разбежаться, снова возникли очереди в кассу и в разные отделы; некоторые, кто сильно торопился, успевал занять там, там и там, свесить, выбить, вернуться, забрать, доплатить, занять, предупредить, отойти, вернуться, перебить, нарезать и взять в свою посуду. Я направился в бакалейный отдел, подальше от людей, мне казалось, что если этот отдел называется бакалеей, то именно туда стоит идти тому, кто воображает в скором времени себя бакалавром; там же шла распродажа товаров по сниженным ценам, продавались ценности, паласы, музыкальные произведения, сувениры местной артели, солнцезащитные очки. Последние показались мне хороши. Я примерил их — как будто, и вправду, они были достаточно черны, ровно настолько, чтобы сквозь них не было видно ровным счетом ничего, ни толпы, ни автомобилей, ни, конечно, воздуха, короче, типичные очки для слепых, причем не слабовидящих, а именно тех, кому нечем видеть, порох ли выжиг, заплечные ли мастера повырывали, все одно. Собравшись использовать их для и, возможно, в ходе защиты, я подумал: что если бы этот недорогой предмет, одно из чудесных изобретений некоего героя сувенирно-подарочного... попалось моей первой жене, то она была бы жива нынче! еще как жива, живее меня. Что бы я тогда делал со второй и с дочками — неизвестно, но ведь представьте себе, какая малость — защищающие от зрения очки — могла изменить всю мою, я уж не говорю о ее — судьбу. От зрения? Или зрение от?

В конце концов, право хотеть или право бояться, как немногие, как, возможно, единственные права полагающиеся мне по закону, помимо явных — на дыхание, работу разных желез, отправления, дезинтоксикацию, десенсибилизацию — они-то и позволяют мне стоять и нагло вслушиваться в набирающую мощь тему финала, от которой вспотела и нервничает музыкантша с таким еще недавно милым лицом, сейчас уже просто серым от напряжения, эти звуки, несущиеся неведь откуда, окружены, как вода колодцем, каменным молчанием некогда жевавших рож, то плоских, то выпуклых, но располагающихся теперь уже не в длину и ширину, а в высоту, как это случилось, понять сложно, но, то ли у га-

стронома отсутствовал потолок, то ли построен он был в небоскребе помпезного отечественного происхождения, в котором много лишнего места, богато изукрашенных плафонов и пилястров, и там недосыгаемо высокие потолки, и множество этажей, просто сосчитать нельзя, начинаешь и сбиваешься, их венчает шпиль, такой высокий, что золотой орел, венчающий его, не раз уже с клеточкой срывался в открытое небо, но, к счастью, был всегда возвращаем на место и недовольный, все же утихал, переставал рычать и складывал крылья наподобие скушной на его взгляд фигуры звезды, чтобы не вызывать подозрений. Вот так и звук этот, втиснутый в колодец, как жидкость в бутылку, начал всех будоражить и занимать. Все уставились на него, как на голого одетые, вытаращились и молчат. Кто думает о своем, кто вообще ничего не думает, кто готовится свистнуть разбойно, кто крикнуть что-нибудь неприличное, какая-то женщина, наверное, незрячая, просит, придерживая черные очки, перевести ее через зал, и на слух не ясно, как она произносит это, эс там перед тэ или зэ, ну, да все равно, лишь бы к выходу попасть, да и я не против, я того же самого хочу, тем более, что ужасно тороплюсь, до обеда остались считанные минуты, все там небось уже к десерту переходят, меня ждут, но я боюсь, что стеклянная дверь выхода окажется закрытой, как уже один раз было, и ни я, ни женщина, если я пристроюсь к ней и попробую проскочить, не будем знать, заперта она или нет, а если нет, то что нужно сделать, чтобы толкнуть ее и открыть.

Мы не будем знать, и никто нам не поможет, у них у всех свои дела, все вот отвернулись, нас не замечают, больно мы им нужны, в самом деле. Так и будем стоять и ждать...

Разве что минут за пять до обеденного перерыва какая-нибудь красивая продавщица подойдет к дверям, чтобы турнуть тех алкашей, кто уже застрял внутри и еще рвется снаружи, тем, кому загорелось хоть бутылочку сухого красного, и, главное, до перерыва; вот она-то, возможно, сжалится над нами. Выпустит нас.

Вот мы и вышли на свежий воздух. Стоит погожий осенний денек. Боже мой! Теперь придется пересекать площадь в обратном направлении!..

2.

Вот что рассказывают они за столом также и про кабанов.

Они рассказывают, что это умная боевая птица. Не ше-

лохнув боковыми крыльями, она пролетает между двумя номерами. Номером мы будем окликать человека с железной трубкой на деревянном костыле, где таится еще более стремительная птица огня, которая может встретить в воздухе летящую свинью и изжарить ее в клочья. Стоят два номера, а он как будто видит их, таящихся в кустах, как огонь в середине железного туннеля, их как бы и нет, так они незаметны за ежевичными зарослями, в тени укропа, молочая, поваленных стволов каменного дуба, платана, граба, на худой конец сосны. Их нет, но они есть, и дикая свинья видит их, строго выбирая свой путь прямо посередине, соблюдая его так, чтобы ни выстрел слева, ни выстрел справа не достали ее, а уж если и вздумают два свиста взвиться и столкнуться между собой, то пусть бодают друг друга огненными клыками, а она пойдет под ними, легко, чудно перескакивая через старую сливу или полусгнивший тополь, лежащий плашмя.

Не только это.

Многие, гулявшие по нашим южным лесам, забравшиеся на яйлу, преодолевавшие подъемы, изредка задирая голову, задиравшие своим присутствием создателя этих юных гор и реликтовых посадок, видали иногда в глинистой земле, например в свеженарезанной бульдозерами дороге на Абарку, она идет с противопожарной целью медленно снизу вверх, оставаясь, вопреки видимости, параллельной морскому проливу с одной стороны, если двигаться вверх, то справа, и яйле — с другой, если ты все еще хочешь взобраться на нее, то слева. Вот в ней легко заметить иногда лунку. Ну, такую небольшую выемку, точно тут лежал куль с песком. В ней часто стоит вода недавнего дождя, и ее пьют воробьи и сойки, а если должно приблизиться лето, то вода уже высохла, тогда дно расколото грубыми трещинами, которыми всегда исходит земля, лишенная влаги, будь то в степи, в пустыне или на красноземе. Лунка невелика и разгадка ее легка, это лежка кабана. Он полежал в ней, в самой грязи, поспал, порычал, а потом, спугнутый треском сука или обвалом, камнепадом на старых осыпях или каким другим толчком, вскочил и полетел — добывать еду, скорее всего. Осыпи наши идут поперек свеженарезанных дорог, но часто и в стороне от них, по непроходимым ущельям. Они занимают расселины гор, там же гнездятся и их тысяче-летние предшественники, уже оттремевшими огромными глыбами известняковых пород, графита, а бывает, что и диоритная попадает скала. Так и несут они свои имена прямо с яйлы к морю, гася их по дороге или продлевая, выбрасывая в дни до-

ждей желтые струи рек в глубокие воды пролива, смешивая и опресняя море порою, рокочут свои негласные имена поперек долин: Беш-текнэ-богаз, горловина пяти корыт, Кикинеиз-богаз, оползневская горловина, Эски-богаз, безымянный спуск, Табана-Дере, кабаний спуск, спуск собачьего горла, где перекатываются, легко качаемые ветром, камни, как в татарской погремущке для малыша, когда в высушенное горло насыпались волчьи ягоды или мелкие камушки и под эту музыку рос охотник или погонщик ослов.

По ним тяжело подыматься, но нет короче пути, проложенного водой, собирающейся попасть с небес прямо в океан по неровной поверхности земли. Тропы, которые уже вытоптаны, идут не так. Есть тропы лошади и осла. Лошадь идет в гору строго соблюдая умеренный уклон, градусов пятнадцать, и по этой дороге лучше подыматься с поклажей. А осел, милый друг, идет, как его наладили, вверх, так вверх, вниз, так вниз, не сворачивая; по таким тропам лучше спускаться вниз, они короче. Но охота не выбирает, что лучше, что хуже, и когда прижмет, то обычный двухчасовой подъем проходишь, как осел, за сорок минут, и только выбравшись на плато, задохнувшись вконец, когда, кажется, сердце уже выскочило вон и зелено в глазах, ты наконец можешь одуматься и отдышаться, соображая: и зверь упущен, и кожа слезла с тебя, пока гнался, и голод такой, что, кажется, сам себя бы съел.

Полеживает кабан в этой люльке, кемарит там себе втихую, посапывает, рычит иногда, потирает бок о грязь и происходит вот что. Впитывается глина, грязь, частички черно-красные, щепочки мелкие, камушки почти незаметные, в его шерсть, врастают глубоко, спаиваются между собой, образуют корочку, корку, панцирь, броню, наконец, каменную преграду, вроде керамической обшивки некоторых космических кораблей, говорят, многоразового использования. Не за один раз это происходит, не за один год, но ведь и плюхается он в эту лунку нередко, и спит в ней, бывает подолгу, и трется от души, с наслаждением, понимая, что это не только приятно, но и полезно, что это и будет его защита. Всего его защитит от пули этот каменный панцирь. Лети. Врывайся в воздух, отсекай его, уходи в беззвездные чащи вронцовского леса, который на ослах возят вниз, к подножиям, для какой-то постройки, уходи, друг, и возвращайся, о кабан многоразового использования. Ты почти неуязвим, все твоё тело покрыто мощной броней, все.

Кроме, разве что, головы и детородных органов.

Поэтому стрелять ему надо в лоб. От его боков пули от-

скакивают, как будто ты в него камнями кидаешь, или кипарисовыми шишками или просто песком швыряешь. Целиться надо в голову, в то место, где живут его мысли, его осторожность, его слух.

Цепочкой, один за другим, небольшой семьей, стадом, они идут вниз, долиной, это видно со скалы, где прячешься тихо. До них метров триста. Молча, затаив дыхание, вскинем ружье. Они останавливаются в тот же миг, как вкопанные, как убитые стоят, еще бесшумнее, чем ты их пробовал взять на прицел. Не так, как человечки, бегут солдатики, старшина впереди резко стал, они все повалились, куча мала, веселье и смех. Нет, в полной тишине останавливается спокойно тот, что шел первым, хорошо шел, легко разбирая дорогу, ходко, мощно, шел, загодя унюхивая металл и возможную гарь, войлок пыжей и свинец маленьких дробинок, равно как и смертельную трель жакана. Шел и так же просто, как шел, перестал идти, разбрасывая грязь и взмучивая мелкие лужи. Он остановился, и стало за ним все стадо. Стало в ту же секунду, затылок в затылок, спокойно и замерев как бы намертво в этой навязанной им игре, словно презирая понятие инерции, дескать, это у вас, там, понимаешь, всякие физики твердого тела, а у нас все свое, и тело наше уж если твердо, то не вашему чета. Стад тот, что первым шел, его из хитрости наш главный, секач, первым пустил, стала за ним вся наша шатия-братия, стоим, даром что команда была и все ее слышали, вот она наконец и до того, на скале, застывшего, дошла.

Все. Опускай свое ружьишко, они сейчас растают в воздухе, не надейся их уже никого не съест. Разве что главного попробовать затравить, или уж кого ни попади. Спустить на него собак. Чтобы они, надрывая себе горло брали его в кольцо, загоняли в горловину, на края пропасти, чтобы он метался и бился о стены этой горластой облавы как камушек не вполне защищенной своей головой.

Голова-то и есть наше главное оружие. На голове у нас есть клыки. Они даны нам на то, чтобы мы оставались главою стада, хозяином рода, и чтобы никто не посмел отнять у нас это право или даже замыслил рискнуть посягнуть на этот титул. Не успеет родиться юный кабанчик, и набрать хоть полсилы, хоть четверть силы, как мы ворвемся к нему распорем все то, что меж задних ног. Мать залижет ему раны или он сам омоет их в Хаста-Баше, живой воде, в Яузларе, в Биюк-Су, в целебной влаге любого бьющего из земли родника, или замажет

эти раны полезной красной глиной, или ляжет с легкостью этой рваной промежностью на одну всем нам известную траву, которая останавливает течение крови почти мгновенно. Что рана! Это, ей-богу, какая-то ерунда, царапина, не стоит о ней говорить. Сравнишь ли ее разве с дырочками, которые может оставить острый огонь, такими на первый взгляд небольшими. Но зато теперь этот кабанчик не будет, он никогда не будет нами, главой, хозяином, он не будет, потому что ему нечем быть, а раз нечем, значит и некому. Он всегда будет только в стаде, только одним из стада, а мы пока поглавенствуем.

Вокруг будет сплошная осень, даже можно сказать, осень с половиной. Все склоны будут заняты цвет меняющимися безграничными лесами, южные, более крутые, более крепостные, будут заняты картой сражений, где в выигрыше будут в основном верно зеленые, в основном гвардейские части полувекových сосен, там же и вечно хвойные, никогда не теряющие обладания собою кедры, но уже и там, вначале не часто, а затем все ярче начнут пятнышками, потом сливающимися в огненные языки, светиться имеющая листву орава лиственниц, аплодирующих при любом изменении ветра осин, каменных и совершенно обычных дубов, просто камней, растущих и иногда переходящих с места на место, эти части легко возьмут любой перевал, иногда даже и тот, что считался недоступным, перекинутся на северные склоны первой гряды гор, и уж там дадут себе волю, не сдерживаемые ничем и даже подгоняемые все чаще возникающими сильными ветрами и остывающей в ногах земель, вскоре листва откажется от себя, все станет серым, и тополя, и грабы, а потом и черным, возможно, когда дело пойдет уж совсем далеко и кончится не падением листьев, а падением снега, всегда внезапным, даже когда уже начался. Особенно видно это будет по героическим батареям чаиров, брошенных погонщиками ослов садам, маленькие каменные кладки вокруг которых помогают определяться во время даже очень быстрого бега по земле. В них растет одичавшее богатство груш, дички-сливы, райских яблок, кизила; изгородь, в тех местах, где пробита оборонительная стена, еще плотнее заросла шиповником и ожиной, там самая сочная трава и самые холодные родники, самая кислая алыча и вязкий терн, но особенно заметны эти квадраты, когда в них последними факелями горят, облив себя собственной багровой и бледножелтой листвой, тополя; эти факелы видны сквозь туман, а иногда даже и ночью, чтобы по ним могли выбирать дорогу куропатки или какие-нибудь другие дикие утки, улетающая с этого юга на север какой-то другой земли, как будто там лучше; явно ошибающиеся; и кое-кому приходится брать

на себя труд объяснить им, что они неправы, что здесь тоже не так холодно, но они вовсе не хотят нас слушать, бедняги, летят, словно уши у них заложило на большой высоте, и чтобы объяснить им, докричаться, остановить их как-то — приходится стрелять, посылать какие-то свинцовые записочки, чтобы доказать эту необходимость оставаться здесь, не менять нынешнюю родину, где уже столько прожито, на какую-то иную, биологическую, не предавать ставшие домом болота под Гнилым заливом, солёную осоку, горькие камыши и обжитые, густо напоенные сероводородом, плавни, дышать в которых на каждому стрелку под силу. Редко-редко, но доходят такие записочки, и тогда на землю плавно возвращается когда две, когда пять, а в удачные дни и до двадцати неразумных страдалец; впрочем, все металицы эти, куропатки, перепелки, дикие утки, не будем спрашивать их имен, попадают потом на костер, наивные эти леталицы; и маленький факел похож, конечно, на тополь на краю сада, только мельче и ярче, и гаснет скорей; но еще он похож и на вспышку, которая выталкивает свинцовую записочку, только больше и тусклее, и горит долго; и похож еще на что-то, может быть, на боль, но тут необходимы уточнения — и нет их.

И делаем мы это не случайно, не нечаянно, а спасая — да, спасая их. Разорвем, распашем им клыками это их добро, но, лишив их чего-то, дадим взамен свободу. Освободим их от самого главного и тяжелого — от руководства. От поисков пищи, воды, троп к воде, от неподъемной тяжести раздумий, от необходимости раньше всех прислушиваться, принохиваться, принаравливаться, ждать и срывать прочь, плыть и нырять, лететь и грохаться оземь, потеряв последние силы, и все же вставать и продолжать топтать траву, и топтать ее с такой силой, чтобы дрожала земля, чтобы эти толчки шли на юг и на север, пробивать в траве дороги, в дорогах глубокие нестираемые ходы, кое-где лежки для редкого отдыха, кое-где маленькие площадки для тайников. Освободим их от необходимости тратить свое семя, разбрасывать свою силу на благодарное потомство, негласную обязанность всегда первым прорываться сквозь непроходимый кустарник, всегда первым перепрыгивать через опасную трещину, избегать внезапной осыпи, уходить от молнии, яростно огрызаться, заслышав гром, устанавливать основные и запасные лазы в густой чаще, находить целебное зелье, издавать карающий или ободряющий приказ. Избавим их, разорвем им, распорем им это дело, принесем же в подарок за это величайшее из возможных благ: свободу от ответственности.

Но время идет. Тот из нас, кто считает быстрее других, выл вчера ночью, что уже много раз загорались факелы тополей в темных чащах лесов на остывающих склонах. Да мы и сами чувствуем это. Чаше стали слезиться глаза, подрагивать ноги, строптивее стала подруга, мельче пища, начала приедаться трава, вода нынче уже не приносит облегчения и не наполняет ликованием, как раньше, да и панцирь стал давить, панцирь давит и тянет к земле, так бы и сбросил его, проклятье, проклятье. Много больно стало советчиков у меня, какие-то новые морды возникли в стаде — откуда? ведь кажется на том круге и у той воды их еще вовсе не было среди нас? Вот этот поет о чем-то каждую ночь, а тот кричит чаще, чем нужно и громче чем можно. Его голос громче моего. Это стало заметно. Есть еще один, безопасный, он чаще иных вздыхает и как-то мечется, не как все, может он что-то говорит внутри себя или чертит, то есть он оставляет внутри себя какие-то следы, бегаая внутри себя ночами напролет, и это не просто следы, не только следы, но еще и рисунок, след чего-то еще: он похож на безымянный спуск, который на теплом склоне, а вот след, похожий на одну нежную головку из малочисленного стада, которое встретилсь нам случайно два круга тому назад, а вот и след, похожий на песню, что по ночам поет его товарищ, такой тонкий, слабый, желающий летать.

Все стало как в тумане, который невозможно выпить до конца. И появилось новое чувство опасности. Опасности, которую невозможно избежать. Такое что-то, от чего раньше всегда удавалось уходить, улетать легко, про что всегда был уверен: избегу, уйду, делал не раз, какая наивная хитрость, сколь мало в ней силы, как она просвечивает сквозь кусты, даже смешно, — и коротко трубил. Немногословный всегда, обходившийся пятью знаками, редко доставал шестой — знак смеха и седьмой — знак печали. Вполне хватало коротких приказов: бежать, стоять, пить, есть, спать. Уже забыл, когда так легко доставал свой короткий знак усмешки, трубил его тихо и прятал надолго. Все стало как в сумерки, заполненные тяжелым нерастворимым туманом, вполз, улегся, тяготит. Новое чувство начало овладевать, новое: словно что-то забыл. Словно раньше нечего было забывать, вот и не забывал, помнил то, что делал, а сейчас что-то забыл — не то из ранее бывшего, не то из будущего, что-то, что надо было сделать обязательно, а не сделал, не стал.

Сначала была неудача, когда летящая огненная птица задела панцирь, где-то сбоку, и ударила, и подпалила немного

шерсти, и кожу, но далее не пошла. Он-то вырвался в этот раз, как и в сотню других, но кое-кто заметил это, и, когда подруга ему зализывала раны и носила в пасти траву, чтобы уложить на дырочку в коже, этот кто-то рычал без понимания, что-то свое. Кто же это? Когда он родился у нас? Где он был раньше? Он был виден как-то плохо, весь расплывался, и отверстие болело, решено было отложить этот вопрос на потом. А потом, когда вышли на яйлу, там начался уже наст покрываться белой снежной крупкой, то, что было под ногами, все стало сереть и белеть, что говорило о том, что скоро будет нечего есть. Слегка просчитался, подумаешь, надо было раньше наверх выбираться. Но снова он рычал, когда все молчали и сочувственно стояли вокруг, сплотясь еще сочувственней, чем тогда, вокруг дырочки в панцире. Да кто он такой, этот выхолощенный, бессильный молокосос?.. Откуда он взялся? Но снова возникли заботы более важные, и мы решили подумать об этом в начале следующего круга. И под звонким глубоким небом прокатились зима, и весна, и огнедышащее лето, отпахли все запахи, все травы, и появилась снова опасность наличия в воздухе этих маленьких птиц огня, которые летят от железных труб и столкнувшись с тобой на лету, могут лишиться всего, к чему летишь.

И вот он однажды проспал. Вскочил – батюшки! – уже солнце взошло. Внешне это просто осенний денек, но внутри это такой день, когда приносят эти железные трубы и всем надо уходить. Он понял, что ошибся, и понял, что все поняли то же самое. Все как-то подобрались, пошли ходче обычного и беззвучней, подруга шла сзади и хранила молчание, никто не роптал, все понимали, что если попадутся, то будет плохо. И они попались. Шесть железных труб запело-заговорило вокруг, ему изменила всегдашняя уверенность, он метнулся вправо, потом влево, подруга с маленькими детьми побежала вниз, не поддаваясь панике, он хотел ей крикнуть, что нужно бежать к щербатой скале или сожженной молнией сосне, напоминающей клык, что растет немного ниже, – и не успел: внизу заговорили новые две трубы и понесся легкий дымок, а в собачьем лае потонула последняя надежда на удачу. На этот раз они отдали самого маленького, и дырка была в ноге у того, кто любил петь, он хромал и было ясно, что уйдет недалеко. Вот тогда этот, кто умел роптать, стал роптать, а мы повысили голос, а он тоже, а мы еще громче стали трубить все приказы, какие знали, подряд, но он не виновался, и мы даже попробовали потрубить так, как будто смеемся над ним, но и это не подействовало, он все громче

и громче хрипел и наконец начал что-то кричать, отдаленно похожее на команду. Мы даже опешили на мгновенье. Да он забыл, кто он есть. Он забыл свое место! Он забыл свое место, которое я ему в свое время распорол, растерзал и превратил в месиво. А ну-как сейчас я кликну подругу и мы вместе с ней станцуем наш сладкий танец, который не может больше плясать с ней никто, тот самый главный танец, от которого все и зависит, про который все знают, что это главный танец, что я потому и главный, что умею танцевать этот танец, я, я один, и кроме меня никто, никто, ни один из моих детей, потому что всем им я разбил все мало мальски необходимое для этой сокровенной, завидной пляски, которой все идет кругом и наполняется сладкой слюной и качается и трепещет и издает необыкновенные, неповторимые возгласы, только я овладел этой пляской и овладею своей подругой и верховной над вами над всеми властью. У них нет ни капли того волшебного горячего жидкого огня, необходимого для такого танца, я им его не давал, у них — нет, а у меня есть, я переполнен этой пульсирующей жидкостью, у меня все, а у них ничего, хо-хо, сейчас они все у меня попляшут, молокососы, а пуще всех вот этот, неслух, этот краснокожий, который вздумал что-то там такое говорить и повышать голос, хотя у него даже бока еще не почернели на сколько нужно, чтобы вообще рот раскрывать... И я ударил копытами раз, и другой, толкнулся и вышел на середину поляны, и крикнул, позвав свою подругу, и она пришла.

Она была действительно подруга, она была умная, хоть и часто уставала, но зато всегда могла помочь точным напоминанием поворота в лаз, ведущий к водопою, или резкой нотой согласия, или молчаливым утешением, она так же хорошо чувяла воздух, свободный чистый воздух, пригодный для быстрого бега и опасный воздух в начале каждого нового круга, и только то, что она подруга, заставляло ее по большей части молчать... а как она хорошо плодоносила, и ребята шли крепкие, хоть куда, и сильные, и послушные и свободные от всего того, от чего я их освобождал — с ее согласия и на ее глазах; моя хорошая подруга вышла ко мне по первому зову и стала, готовая к танцу, хотя и несколько заторможенная, потому что сейчас было явно не время для всего этого. Но я собрался и крикнул и было уже встал на задние лапы, чтобы открыть всем, кто я такой, чем я отличаюсь от остальных на белом свете, как вдруг что-то остановило меня.

На всякий случай я осмотрелся.

Все стояли молча, составив небольшой полукруг. Вне-

реди стоял этот молокосос, как бы готовясь руководить остальными в их неопишемом восторге и преклонении перед моей мощью. Стоять-то он стоял, но как-то очень спокойно. Переминался с ноги на ногу, словно хотел что-то сообщить но не решался пока. Я еще пробно трубно и качнулся. Тихо ответила подруга. В воздухе пронесся тот знакомый ветерок, который всегда открывает танец... и тут раздался дикий крик. Это кричал роптуц, уже не переминающийся, а налитый гневом и кровью, вопил, ревел и медленно, как будто разгибается тяжелая ветка, приподымался и вставал на дыбы, слегка отрывая от земли передние ноги, он приоткрывал свое красноватое узкое брюхо, все в мелких камушках и комьях грязи и открывал, поворачивая свои бока, покрытые хоть и не очень прочной, но все же достаточно уже созревшей броней, нарощим крепким панцирем, пусть не такой многослойной, чтобы с легкостью презирать пламя, но вполне непреодолимой даже для самого сильного удара клыка. Но не это было самое ужасное, а то, что между задних ног что-то шевелилось и вспухало, и пульсировало, и эта невесть откуда взявшаяся жила, эта карающая жила — жила, а это было невероятно, невозможно; она росла, ширилась, утверждалась, становилась тем корнем, из которого прямо на глазах вырастало мое поражение, моя настоящая гибель. Я, верно, пропустил его когда-то, и вовремя не заметил этого, замотался, отвлекся, мало ли дел у меня — и накормить эту ораву, и напоить, и спать уложить, и дать им порой порезвиться, и где какая трава растет — показать, и проходу между оползнями — научить, и в тайник, когда надо, втиснуть, и из под труб увести в начале каждого нового круга...

Я забыл, а он воспользовался этим и вырос и теперь нам предстоит сразиться, и против его молодой напористости у меня нет ничего, кроме опыта и мудрости, но тут они не подспорье, и он, скорее всего, победит, он станет обладателем моей верной подруги, станет крикливым хозяином стада, семьи, нашей небольшой и дружной команды, станет новым главой, который поначалу будет командовать глупо и бодро, как, наверное, когда-то приказывал и я, а потом, все чаще обжигаясь и накапливая опыт, становясь все молчаливей, говоря все тише, но зато точнее и осмысленнее, и его приказы будут все правильнее, все лучше; и наконец он достигнет вершины и не заметит спуска, не заметит, что, каждый раз самолично пропарывая юного, на этот раз кого-то пропустил, пропустил и этому даже значения не придад, а тот его потом предал, и так вот, как и я, станет теперерь, низко склонив

голову, готовясь к последней схватке, смысл которой, да и исход — уже отчетливо ясен всем.

Почему это так, понять трудно, как я сам стал хозяином, я не помню, это было давно, наверное, это случилось само. Но сейчас он разбегается, и я знаю, чего он хочет, вижу, куда он хочет ударить меня клыками — между задних моих ног, разнести все там, в прах стереть, чтобы я упал и пополз, ища ранами тех трав, что утоляют кровь. Он разбегается, я пробую загородиться, пока это еще выходит, и пока я еще шутя отбил удар, но пройдет сколько-то кругов, и эта же история повторится, потому что у нас историей считают то, что повторяется, но повторяется все хуже и хуже, это произойдет наконец, мне разорвет все то, что можно разорвать, то, что я столько лет оберегал, и подруга моя отойдет к нему, и стадо мое отойдет к нему, и сам я, раненый, поплечусь последним в строю, и в начале следующего круга, унюхав этих тварей с железными трубами, побегу прямо на них, в лоб, так, чтобы не дать им не единой возможности промахнуться, точно подставив свою узкую голову, свой удачно скроенный череп, именно то узенькое местечко, например, глаз, куда легко попасть не целясь, чтобы уложить меня навсегда.

Я уйду. Мы всегда помираем от одиночества: распоров меня, он выпустит вон дух главаря, мне уже не с кем станет жить; я начну жить со своим прошедшим, и, хотя это мне не внове, именно это и станет теперь считаться у нас одиночеством, потому что кроме этого ничего больше не будет: мы, к сожалению, всегда точно знаем, что где растет, как называется и для чего нужно. Заросли серого колючего шиповника скроют то место, где я приму решение, и, чтобы не затягивать это дело — зачем? — брошусь на юного роптуна, даже не питая к нему теперь особой ненависти, что недавно так кипела; ведь и он это затеял не по собственному желанию, а подчиняясь чьей-то подсказке, но чьей именно и почему имеющей место, понять нельзя. Часто пытался я думать о ней, но в бессилии мысли мои откатывались, отскакивали, перескакивали на другое, более простое и насущное, и только вот эта битва помогла мне снова вернуться к поискам разгадки, и пока он налетал на меня с разбегу, вспарывал землю и воздух и дико рычал, отскакивал и вновь кидался в атаку, я подставлял ему почти бездумно свои бока, как нарочно; а сам думал, решал, гадал, что же это?

Что это за круг, о котором я раньше не догадывался, чей же это ход, чье слово приказания. Не оттуда ли и те непра-

вильные круги, которые складываются из наших путей, за день мы можем пройти от первой гряды до гнилых болот, мы привыкли к любым переходам, и зная, что наши дороги образуют своего рода круги, часто совпадающие со сменой погоды, скажем от снега до снега или от молний до молний, от ливней до ливней, но иногда и нет, мы движемся этими путями, которые тайна для нас самих, не говоря уже о тех, кто за нами гонится, и наши неправильные пути все же имеют какую-то замкнутость, они умеют повторяться, выводить нас, когда надо, к воде, когда надо, к укромным лежкам, спасать из под облав, доставлять нам ощущение идущей жизни, не такой, уж, в сущности и простой, и не такой уж плохой, как я понял, и не такой уж длинной...

Значит, нам все это только казалось проявлениями нашего желания, а над этим вершился чей-то умысел, перед которым все ничтожны, не исключая и тех умников с железками?.. Я чувствовал, что застрял, я не знал ответа и знать мне его не полагалось, я застрял между двумя стволами, и не знал спасения, не знал, что будет потом, как не знаешь тех мест, где никогда не бывал, что там растет и что течет, и не узнаешь, как ни силсья, как ни тужи, как ни натуживайся тем, что лежит у тебя в крепкой узкой голове.

Вот что рассказывали охотники про этих диких свиней, вспоминая, как, сидючи у костра, выпивая большое количество водки и жаря молодого поросенка, они вдруг слышат громкий лай носящихся вокруг костра собак. Схватившись за ружья, они видят, как к костру приближается, медленно летя по воздуху, перебирая окровавленными задними ногами, бескрылый кабан. Он смотрит им прямо в очи своими невеликими глазками, смотрит и чего-то там хрипит. Плавно и тихо вскидывают они свои ружья, спокойно и радостно взводят курки.

Замолкают собаки. Наступает полная тишина, похожая на одиночество. Медленно подлетает кабан. Это секач, крупный, килограммов на триста. Пусть приблизится. Потрескивает костер, ароматная поросятина, забытая на вертеле, слегка подгорает. Все до одной собаки уже замолчали. Да и люди затаили дыхание и как бы прицелились. Ну, не подведи, многолетняя охотничья закалка!

Огонь!

3.

Недавно я совершенно случайно обнаружил, что лекарство, которое удалось синтезировать – во всяком случае,

пробный вариант – это снотворное. Цель, которая стояла перед моей научной работой, была создание лекарства против страха. Поначалу все развивалось благополучно. Дело в том, что деятельность нашей лаборатории только из большого великодушия можно назвать научной. Конечно, наш известный во многих местах шеф раздает темы, сочиняя их без труда, так, чтобы все видели, как интенсивно мы работаем, но диссертация-то у него – по параличам, да он и сам паралитик, и заголовки статей редко совпадают с их содержанием, а часто и просто заполняют реферативные журналы только с целью потешить самолюбие и подтвердить слухи о нашей плодовитости. И мы чем-то заняты, и наверху уверены в непрерывности научного поиска. Любой из нас понимает, что даже в сильный микроскоп не увидишь ни пользы от этой работы, ни ценности ее для абстрактных изысканий; впрочем, нам идет стаж, множится список печатных трудов, многие под это дело пересекают границу, шеф лелеет мысль, что уйдет на пенсию заслуженным деятелем искусств. Поначалу, молодым, я работал рьяно, дежурил ночами, ездил на «скорой», хотя меня никто не просил, но со временем передо мной легко открылся этот общий обман и самообман, я перестал относиться к работе серьезно, перестал даже ходить на службу в присутственные дни и целиком отдался своим ретортам и колбам, отдался своим формулам; я то им – да, а они мне нет, они не (от)давались, и постоянно в ходе работы я получал промежуточный результат, весьма далекий от искомого; выходил на какие-то подарочные наборы – бакалейный, галантерейный, автолюбительский – и с каждым разом от подобных сюрпризов оставалось все меньше надежды когда-нибудь добиться победы. Так и в этот раз – я обнаружил действие лекарства, как всегда, ставя эксперименты на себе; трудно сказать, зачем, это никем не требовалось; задача, стоявшая так отчетливо: избавление от страха, – косвенно могла считаться выполненной и при этом результате, если бы не совершенно иная точка приложения препарата, не говоря уже о механизме действия.

Поначалу сменялись замечательные пейзажи нашего города, особенно запомнился один день, он начался как обычный осенний, под окном вечно зеленые, у ствола до черноты, кипарисы, дальше, через речушку, текущую в каменном канале и почти иссохшую, у кинотеатра барачного типа, яркие листья усеяли вековой сикомор, от коричневого до лимонно-зеленого, все это подвижное, лепечущее, так отбивают такт по ослиной коже литавр барабанные палочки, которыми кличут расширенные в

этой форме на концах пальцы тяжелых больных со сложными пороками сердца, да, а за кинотеатром поднималась гора, на горе лепились сакли, и опять толпилась вохра платанов, с мазками охры и багровыми пятнами на себе, иногда их сбрасывая без размышления, а в садах, прилепившихся к саклям, точно они в горах, росли тополя, уже серые, а временами и синие; высоких, опустевших, как заболевших, пустых – их было немало, но они держались незаметно, содержали на своем счету между тоненькими, устремленными вверх прутиками дымного цвета, светлосинее поначалу этого дня легкое свежпахнувшее небо, уже начинавшее как-то грубеть; грозить, грубить и ущельному, и этим непрочным домишкам, во дворах которых росла еще к тому же и хурма, густые оранжевые огни которой показывали надвигающимся событиям, куда садиться, горя негасимо, надежно, как и подобает светиться в надвигающемся ненастье посадочным огням. Это вселяло слабую надежду, вопреки которой над горами, придавившими своими южными склонами наш город почти к самому краю пролива, с темного плоскогорья яйлы вырвалась черная туча, хорошо закружилась и пошла вниз легкой лавиной, безошибочно правя на нас. Не будем тянуть, дело кончилось снегопадом в самый разгар листопада, на пальмах лежали снежные сугробы, провода, ветки кустов лавровишни и барбариса получили возможность лицезреть себя в негативе, а затем и в позитиве, свои копии они давали смотреть, но зачастую теряли, а ведь это был единственный экземпляр; все было подчеркнуто, удвоено, требовало рифмы, оперенной своим повторением в снеге; в цветниках торчали красные замороченные головки канн, замороженные этим коварством и потухшие, с трудом поблескивая последним краешком красного лепестка; ели, кедрики, и еще кто-то обладавший хвоей, к вечеру выглядели, как нанятые в задник каким-нибудь римским-корсаковым; от моря шел пар, ветром его выбрасывало на набережную; на черной воде, огороженной молом торгового и шпорой пассажирского портов, как на черном асфальте, болтались какой-то буксир, приписанный к скандинавским берегам, светящийся лихтер непонятной конструкции и катера-птички; впоследствии бесследно исчезнувшие. Пар или туман, не разобрать, такой густой, огромными волнами бил в старую стенку набережной, как еще вчера в нее колотила настоящая черная вода; с почти цирковой, добытой у иллюзионистов, легкостью, они не откатывались назад, а подымались вверх и растворялись незаметно, потом снова плоились и исчезали, а посреди этого спущенные на воду корабли, вскоре взятые наверх, загораживались электрическими огнями от окружающей среды черноты, как будто их могли ранить или

толкнуть невзначай редкие гуляки, легко путавшие асфальт с водою бухты в связи с их совершенно одинаковой чернотой, переходящей из жидкого в твердое состояние, а оттуда опять водворяясь в воду, а из нее возгоняясь в газ, пар, для контраста беловатый, белесоватый; одинаково прозрачный с непроницаемой твердью и влагой, поблескивающей, плотной и плоской. Но так можно было бы рассуждать и до утра, а время торопило, не извиняла даже чья-то верная мысль о прозе, призванной объяснить ленивым все то, что они не пожелали услышать в поэтической короткой строке, а побоявшись, не потрудившись раскрутить эту живность, счевшие хозяина полуболваном, а то и три четверти таковым; он же был им на одну шестнадцатую; звуки того дня были такми плотскими, словно вырезаны из фамажора, и буде кто пожелал бы сыграть их на валт-хорне, они бы распрямили ее улитку с той легкостью, с какой ребенок, дунув, расправляет свернутую в рулончик бумажную игрушку, со свистом она раскрывается вам в физиономию, и вы видите, как на вас уставилась рожица болвана, подпираемая воздушным хоботком.

Основная опасность содержалась в неурочности этого снегопада, старожилы не помнили подобного последние сто тридцать лет, и оказалось, что все поперно, порядка больше нет, теперь жди начала военных действий или потрясения земной асфальтированной поверхности. Опасение последнего было довольно всеобщим, об этом ежедневно писала местная газета, вещало телевидение, в школах митинговали, на фабриках и заводах устраивались каждые два часа летучки; в домах жили ужи, совы, мыши, хорьки, отчаянные смельчаки заводили даже гремучих змей, потому что кто-то упомянул вскользь, что пресмыкающиеся хорошо чувствуют и могут предсказывать это дело, даже в лесах отловили всех полозов, каждый полоз стоил той порой на рынке до полста рублей, потом уж совсем невесть что началось, даже каких-то рыбок из дальних стран повывезли, но те медленно умерли у нас, их нечем было кормить, они привыкли к какой-то полноценной диете, а мы про такую и не слыхивали, самим бы чего где урвать. Было много разговоров, кинулись рыть траншеи зачем-то, потом — убежища, даже вырыли половину первого, но стало ясно, что всем места не хватит, и затею эту простые люди оставили. Надо сказать, что все совершенно забыли о катакомбах, находящихся под нашим городом. В предыдущей войне состоявшейся по странному совпадению, сто тридцать лет назад, люди прятались там довольно долго. Воевали тогда с огромными не то земноводными, не то динозаврами, гремучими бронированными змеями, метал-

лоносцами и каким-то особым микробом, что оказался радиоактивным и заразил, говорят, победителей, причем даже сделал это задолго до начала военного действия. Народ наш страдал как от потопа, половину просто выкосило огненными ножами, а тех, что не вырубил, страшно пытали, до сих пор еще живут инвалиды и те, кто видывал чудовищ; поэтому никто не хотел оставаться на этой грешной земле, все хотели уйти в нее поскорее. Народ прятался там вместе с солдатами, которых случайно предали их коварные командиры, изредка такое случалось; поначалу прятание было веселым, все думали, что скоро конница прогонит дракончиков, сабельками срубят голову идолищам поганеньким, два месяца, и дело кончено; но шли года и начались, конечно, горестные события; появились предательство, эпидемии, а под землей, где они вначале обосновались очень неплохо, повторив, как могли, то, что имели наверху, постепенно кончалось отопление, кончалась еда и вода, многие добровольцы покидали эти мрачные стены, одним из самых простых было пойти за провизией — они встречались с какими-то пулками, которые караулили входы и выходы из этого подземельного царства, после этого легко взлетали ввысь, как дым, не нуждаясь больше ни в чем, ни в пище, ни в защите, ни в победе; а с водой было еще хуже, колодцы были отравлены тленным ядом, котелка, за который заплачено двумя судьбами из пяти посланных, хватает на одного, и тот уже умирающий от множества ран; даже были специальные команды сосунов, которые высасывали воду из известняковых стен, обладатели мощных легких, они первый глоток брали себе, второй шел раненым, третий вливался в котелок; затем иссякал свет, он начал гаснуть, когда сломался трактор, работавший динамой, а потом стали кончаться и покрышки. поджигаемые ради освещения; люди узнавали друг друга по голосам, все было покрыто толстым слоем копоти, все реже проводились сборы, посвященные борьбе с паникерами, силы и слова покидали тех немногих, что еще оборонял остатки несокрушимой веры от маленьких пулек, продолжал способ старания своих и чужих тел, способ их героического сгорания; но постепенно стали уходить куда-то в неизведанные закоулки тьмы те, кто ни в чем не сомневался и всегда знал, что приказать, а те, кто остался, начали с ужасом понимать, что теряют веру в спасение, в уничтожение броненосцев, появилось дрожание в ногах, томление за грудной, уверенность гасла, и люди, которых обуяло нечто грандиозное и не имеющее название, подчиняясь чему-то страшному, вступили за ту трагическую черту, за которой нет ничего, — они любили друг друга, слепые, в полной темноте, по сравне-

нию с которой та тьма, куда они торопились, была светом, все, кто еще остался, кто мог еще любить потом плакали, потом молчали, потом поедали друг друга невидящими глазами и недвижимыми руками, неразмыкающимися губами, стараясь добиться ответа раньше чем полностью преобразуются в прах, но на том пути, куда их толкнула чья-то воля, ответа не лежало, это был путь к ядру земли, а для него необходимо было особое снаряжение, коим никто в ту пору не обладал. По справедливому мнению ученых, изучавших эти дни, ни одно из имен не может считаться подлинным, однако найдены неоспоримые доказательства, что именно поэтому они расцениваются как бессмертные, за счет той горькой сублимации, которую претерпели; попутно установлено, что в подземных лабиринтах нет ни начала, ни конца, план их составить невозможно, общая длина не сосчитывается, и их решили считать отсутствующими. Однако кто-то знает, что там есть госпиталь, детское кладбище, где-то хранится сейф с грозными документами, но все равно об этом думают, как о возможном убежище на случай какого-нибудь катаклизма. Если бы не крошечная тьма, ослепительная, точнее, ослепляющая, можно сказать, тьма какой-то астральной силы, могущая считаться светом по сравнению с тьмой небытия только в теории, ими могли бы заняться какие-нибудь серьезные ученые, специалисты по свету и белому свету, но таких пока я не встречал.

Вот. Все это было давно. Теперь же, говоря короче, я веду небольшую группку какую-то, человек шесть-семь, мы от какого-то обвала хотим спастись, может быть даже это моя семья, а может, и незнакомые, я не оглядываюсь, не хочу; во-первых, некогда, во-вторых, не хочется разочаровываться, идем мы цепочкой, затылок в затылок, тащим с собою еду и питье, бутерброды в фольгу завернуты, спирт во флягах, кофе в китайских термосах, идем быстро. Бежим. Никто не разговаривает, и спасибо: во-первых, некогда, во-вторых, страшноато отвечать на вопросы, которые обычно не задаются вслух. Повернули сюда, налево. Очень низкий лаз. Наощупь определяем его каменные края, это сухой известняк, мел, из которого образованы наши горы, что ж, очень хорошо. Первым пролез маленький мальчишка какой-то. Пролез быстро и кричит откуда-то: — Скорей! Ход расширяется! Мы все кидаемся за ним, я даже обрадоваться забыл, да и остальные тоже. Я пропускаю их впереди себя, нервничаю, как они все медленно делают, еле ноги волочат. Так нельзя! Речь же идет о спасении. Смотрите, как я быстро и ловко: раз, еще раз, еще рывок, и, почти не касаясь стен, одним

махом оказываюсь там, где уже все стоят и ждут меня в недоумении.

Все смотрят на меня так, как будто у меня компас и часы. А я часы потерял в бою, в троллейбусе с хулиганом связался, он был готов меня убить, но, к счастью, оказался знакомым моей первой жены, кстати оказавшейся поблизости, узнал ее, она преподавала ему речь в горном серпентарии, где тот воспитывался, он вежливо извинился перед нею, потом добровольно сдался какому-то постовому и провел пол часа в каталажке, а вот часы как слетели с меня тогда, так и летают где-то до сих пор; а компас мне как подарили когда-то, еще в четвертом классе, так я с тех пор и не видел ничего подобного. Собираясь их разглядеть, я прищурился и развел руками. Не надо было этого делать!.. Раздался дикий грохот, рухнула противоположная стена, повалились глыбы, поднялась белая меловая пыль, померк свет, которого и без того не было. Как-то и темно было – и видно, а сейчас и не видно ничего, и не темно, вроде. Дальнейшее доносилось ко мне из-под глыб. Возможно, это был машинописный текст, сейчас такое встречается; возможно, это была чья-то речь, записанная когда-то на пленку, а магнитофон включился вследствие аварии: сжало камнями батарейку, выдавило из нее последние капли энергии, и заработал даже выключенный аппарат. Я бы тоже мог поделиться сходными воспоминаниями. Может, и затем, чтобы вселить в окружающих что-нибудь светлое или просто развеселить их, только поначалу было плохо видно, удалось ли мне вселить и разве-селить.

– Вчера, – рассказывал я, – если я правильно оцениваю события, а такое не исключено, ведь вчера было не так давно, – тоже был толчок. Я, правда, спал как убитый, но жена вскочила, заметалась, заплакала, схватила своего сына от первого брака, разбудила меня, побежала вниз в одной рубашке. Стоит во дворе босиком на холодном после только что стаявшего снега асфальте, черном, плотном, как сгустившаяся вокруг ночь, хлюпает носом, держит на руках мальчика, а он ведь уже большой, ему лет пять, наверное; напуган, но молчит, то есть видно, что он вот-вот закатится, как сирена, но пока еще держится. Медленно и неуверенно я натягиваю физкультурные штаны из тонкого синего материала, совершенно износившегося и вылинявшего до белесости, зачем-то тоже босиком спускаюсь с шестнадцатого этажа, лифт, конечно, не работает, иду, топча семечковую шелуху и картофельные очистки, рассыпанные возле мусоропровода на каж-

дом этаже, спускаюсь по пожарной лестнице во двор. Угнетает то, что я босиком. Сколько раз мама говорила мне, что нельзя ходить босиком, даже по дому, а теперь это меня даже не остановило. Что-то меня погнало, что даже шлепанцы на ноги не обул по закрепившейся привычке, так и остались стоять под кроватью, там, наверху, дорогие тапки, из кожи редкого африканского черного полоза, мне их жена купила в подарок, продала одну золотую монету, у нее была, откуда-то, и купила. Шеф мой говорит, это он ей монету подарил, но это он просто издевается над моей патологической ревностью, хотя этот подарок, возможно и имел место. Интересно было бы узнать, за что. Что-то держит меня, не дает спокойно разобраться, далеко от меня стоит жена и держит тяжелого ребенка на руках, рыдает, далеко она видна, белые ступни на черном асфальте, два маленьких белых голубя, прозрачные, с тончайшей кожей на своде стопы, там такая нежная голубизна, ее так приятно целовать, нежить пальцами или губами в этом месте, она почти невидима, так легко съезживается во время касания, а потом так быстро расправляется, вот есть эти мелкие морщинки, вот их нет, а жена стоит, ссутулясь, еще не старая, ей нет и тридцати, и не то места себе найти не может, не то с места не может сойти — и все от испуга, дышит тяжело, но ношу не бросает, и то сказать: малыш почти босиком; левая ножка нежная, маленькая, в тонкой обложке носка, а правая, легкая, бледная, голеневая, без ничего; хорошо, хоть ветер теплый, правда, гонит какой-то туман. Налетает ветер порывами; если смотреть вверх, задрав голову, стоя по щиколотку в цирковом этом дыму, кажется, что дом шатает. Немного, но есть. Впрочем, это обычное дело; часто ночью, возвращаясь от женщин, с которыми мы вместе проводим самые различные опыты — жене я обычно говорю, что дежурил на «скорой», там есть смена, заканчивающаяся ровно в полночь, деньги же я беру в долг у шефа и отдаю, как зарплату — часто я смотрю резко вверх, на шестнадцатый этаж, где мы снимаем или снимали в тот вечер комнатку, — да, свет горит, жена ждет, изготовлена теплая котлета и охлаждено пиво, я могу спокойно подныться, пешком, не торопясь, зная, что меня ждут; у моей жены прекрасный слух, и с первого же марша она уже слышит, как я иду к ней, тороплюсь, она слышит мои шаги, может быть, даже раньше этого, до того, как я подошел к дверям подъезда, возможно, она и не переставала их слышать с самого утра, когда я покинул свой дом, и слышала их весь день, хотя я ездил сегодня черти-куда, был в горах и даже ходил в магазин за

продуктами; она не может не слышать мои шаги, если, конечно, допустить, что она меня любит, говорю это с уверенностью, потому что и сам целый день слышу ее шаги, причем находясь где угодно и с кем угодно, слышу их, хотя вовсе не обладаю таким хорошим слухом, то есть даже иногда глуховат. Каждый раз, заглядываясь вверх, где меня ждет кисель из шелковицы с теплым рогаликом, я постепенно свыкся с впечатлением, что дом может упасть на меня, раз он качается так явно, а раз может значит и падает, едва успеваю глаза отвести и тем спастись. Отметив это, я в любой критической ситуации, а их все больше, — то на службе, то в транспорте, то дома, — только тем и спасаюсь, что убираю глаза. Дом, впрочем, до конца так и не падал ни разу, и я постепенно стал думать об этом все реже и реже, а скоро и вовсе перестал. Пока же, стоя во дворе, я растерянно соображал, что это мы делаем сейчас все тут босиком на холодной земле среди ночи. Никто не вышел, а мы тут как тут. Все спят по домам своим, трутся друг о дружку на серых простынях после трудового дня, а мы точно как нерусские, стоим во дворе, посмешище-то какое, боже, обоим босым, жена всхлипывает, муж поодаль, подойти боится, и, главное, где стоим-то: под самым домом, такое место выбрали, что уж если и решит он падать, то только нас и накроет, уж не минует; другие, может, и уцелеют, зависнут в воздухе, например, на своих подстилках, как на парашютах, приземлятся плавно, когда из-под них твердое-то примется, повисят немного без кровати там, пола или стола, черт их разберет, повисят, да потом и опустятся плавно, мягко: не всякую ж ночь такое случается, можно и повисеть; а мы — нет, нас определенно накроет, это ежу понятно, маленькому ежику, которого мы с сыном жены нашли в лесу, кроха такой, мы его назвали Оськой, молоком вскаривали, долго выхаживали, а теперь я думаю, надо бы сказать ей, что мы ежика забыли там, в кухне, но тогда она вспомнит про свою мать, что ночует там же, ей так удобнее прислушиваться к нашему ночному кошмару, вспомнит, побежит наверх, разбудит ее, пожалуй; и нас внизу станет уже четверо, совсем смеху будут полные штаны, сраму не оберешься, да и теща-то — человек у нас невыдержанный, обязательно начнет голосить, она в молодости бывала психической больной, все соседи проснутся и выглянут во двор, и наше смехотворное стояние стянется явным, буквально, на виду у всех; посмешище на весь город, может, и еще где-нибудь об этом станет известно, нет, не надо напоминать про ежика, а то еще мальчонка начнет просить и причитать, спаси да спа-

си, нет, надо замять это дело, он и так слишком впечатлительным растет, зачем же его травмировать дополнительно. Однажды он посещал детский сад и мне выпал черед его забирать, я зашел туда, открыл дверь, где все дети сидели по четыре за маленькими столиками на маленьких стульчиках и поедали какой-то планктон, и своего мальчика, я выbral сразу, он был напуганнее всех, кто вскинулся от тарелки в этот миг, у него было самое бледное и самое нежное лицо, а на нем сияли самые громадные серо-голубые глаза, что мне доводилось встречать; а после этого он стал часто болеть и мало посещал этот сад, и однажды жена повела его туда после некоторой отлучки, а был канун праздников, и его не пустили, потому что предстоял утренник, танец на котором все дети разучили, а наш нет, и он был чужой в этом пиру, пришлось отдать кому-то постороннему тщательно пошитый костюм петрушки, этакое санбенито, отдать и большие пуговицы к нему, обтянутые желтым бархатом, и того же цвета многоугольные звезды, все, что жена шила ночью накануне, слепя глаза и накалявая неопытные пальцы; и справедливости ради надо заметить, что утешить его в этот раз я ничем не смог, да и не стал бы этого делать, потому что только проснулся после ночного дежурства и разогревал сырники, проголодавшись вполне.

Скоро нас и след простыл, и те, кто оставили след, простыли, ведь листопад – месяц нешутейный, нечего было...

Утром следующего дня спускаюсь во двор, мне встречается соседка, говорит участливо: – Не попростужались?.. Доброго здоровьичка!.. – Нет-нет, – отвечаю ей как можно спокойнее, – никак нет. С добрым утром и вас. – А то я вчера ночью, – говорит, – как толчок меня какой-то разбудил, встала, пошла к окну босая и смотрю: вы с женой и сынишкой-то во дворе стоите без одежды и обратно босые, говорю своему: Степа, Степа, слышь, что ли, землетрясение начинается, говорю. Вон милые наши воробьи-соседи нерусские во двор со всеми вещами выбежали. Пора бы и нам, что ли. А он у меня лежит выпивши здорово со вчерашнего аванца, глаз не открывает и мычит. Не добужусь, думаю, иттить надо, хоть одна, сама спасусь, себя-то жаль, небось, тому-то, пьяноте, все одно, что проживать, что помирать... Потом стоп себе думаю: а не дура ли?.. никто ж не идет! Все сидят сиднем себе по квартирах молчки. Что ж я, умнее всех, что ли?.. Известно, об вас я ничего такого не подумала – ваше дело ученое, у вас и жена культурная, и ребеночек нервный, и теща, не дай тебе, господи, тут и разговору нет. О себе, грешной, думаю: пусть

уж лучше что будет, то будет, камнем – так камнем. Пусть побивает. Так, значит, суждено. А всем миром вроде и помирать не страшно. Двум, мол, не бывает, а одной не миноват. Такое пережили, и это переживем.

Подтвердились и подозрения о том, что этот выход стал известен всему дому. – Я побегла тада, растолкала Степана, помираем, кричу. Он матернулся крупно, встал и пошел на работу не жравши, прям среди ночи; мне страшно стало, пошла, Зину-соседку позвала. Она мне: да брось бы! Не трясло вовсе! Это прошлый раз трясло, перед войной года за два. Показалось тебе, – говорит. Это у тебя внутри у самой все тряслось. Или у соседей твоих. Так тряслось, что и тебе хватило. Вот я ей толковала, что есть мочи, твердила, твердила, но она стала на своем и стоит. Так и разошлись ни с чем. Может, конечно, и зря поугади вы нас. А нет ли у вас таблеточки какой, чтоб спалось хорошо?..

Отменное здоровье нужно тем, что решил заниматься синтезом неизвестного соединения. Это занятие не для психопатов и аллопатов. Помните: надо быть твердо уверенным в конечном результате. Надо быть абсолютно надежным самому, вдвойне надежным должен быть реквизит, все константы в формулах дважды проверены с точностью до шестого знака; взяты поправки к логарифмам на этот месяц; переменные переменяны и переменены; никакой суеты – проявитель все проявляет, вода промывает, долго тает снег и талая вода за ночь промывает фотографию снега на берегу пустынного моря, а закрепитель закрепляет; все хранится, залитое той же самой водой, которая колеблется слегка, толстым слоем покрывая снимки; по лицам блуждает неясная улыбка; все продолжается, как будто ни в чем не бывало... Утром все зафиксировано, фиксаж утреннего морозца и легкий шорох заутрени, это звонят в морском соборе, далеко, на мысу; как будто чашка трещит как будто затрещину дали мальчику, что чашку разбил, расколол, раскрошил этот фарфор в мелкий порошок и он хрустит теперь; да, не должно быть никаких недомолвок, особенностей; четко поставленная цель сама по себе должна вселять надежду в личности, чтобы перед их оком росла уверенность в скором и обязательном достижении заветного; дал себе слово изобрести керосин – изобретай, будь любезен, никто тебе не мешает, а даже наоборот, создают условия; а хочешь сочинить что-нибудь другое, хоть снадобье, хоть отраву мощную – тоже нам это может пригодиться, это нам только давай, – а ты что?

Опять за свое?..

В каком же размере было написано это муз произведение, то есть результат, получаемый от столкновения множества всяких: страсти и репонированного терпения, неудач и кольцевой гонки текста, тщеты и резкого пота прозрений — всего того, что уже издано, переплетено не раз, и мешает пройти... В размере сорок шесть, рост четвертый.

И все продолжалось дальше, как ни в чем не бывало, как бы продолжая прерванную мысль, причем порванную, как фотография для того, чтобы стать паролем, может быть, д'онер; черно-белый снимок следующего после сегодняшнего дня, сего утра; точно агент, наконец сложивший две половинки и получивший возможность говорить, нечто раскрывать, копеечные тайны какие-то, как ребенок, сложивший из кубиков-рубиков имя вождя, как сталевар, обнаруживший приятное совпадение формы и отливки не только в горячем цеху, но и в быту. Как желание и обладание, как лист, дождавшийся пера, или ножа, как камень, дождавшийся затопления или долота с молотом, как облако грозное, освободившееся снегом: склоны лесистой горной гряды стали выглядеть легко припорошенными, как в тексте статьи подпись под препаратом: увеличение в тысячу, окраска напылением серебра; и легкая эта выразительная фотография оказалась врезана в окно, как стекло, вместо него, вообще вместо всего, занимая все обозримое оком; приклонившись к стене, от пола до потолка мастерской, упираясь низом в предгория, а верху сочетаясь браком с небесами, словно это соединялись единокровные существа, и это было смешением чего-то; а увеличение в тысячу раз разъясняло, что один обычный денек увеличили несколько, и он превратился в нынешний, причем увеличение шло, скорее, по плотности, нежели в длину и высоту, скорее по кругу, пусть не совсем правильному, нежели по известным уже ходам, какие уже описаны в статьях, посвященных обмену веществ и давлениям атмосферы. Это изменение коснулось лямбды или ро, неменяющихся табличных величин, особых для каждого материала в отдельности, характеризующих только свою ткань, маленький кирпичик, пол молекулы, в данном случае пол не половина и не то, на чем она лежит, а то, чем обладает и отличается от иных: два самых распространенных пола широко известны... так сменилось что-то, и день, быв обычным еще вчера, сегодня стал сегодняшним.

По той же причине его не хотелось отпускать, как будто точно было известно, во что он обратится, минуя свою ошибочность, как свой самый главный признак, как свою основную черту, носимую чуть ли не как корону, этот день так легко обтекал меня и тикал прочь, все далее, что напоминал сценку, когда девочка-первоклассница, играясь, моет воображаемой водой голыша в игрушечной ванночке, сейчас такие игрушки продают за бесценок в любом гастрономе: малыш, ванночка и воображаемая вода, за все про все четырнадцать с половиной копеек, любая ученица мечтает о такой игрушке и наконец получает ее в подарок либо, сэкономив на завтраках, покупает ее сама, тайно от матери-продавщицы, та не любит тратить деньги попусту, и вот этот день, похожий на невидимую воду, тѣк, утѣк, втѣк и мы не встигли его догнать, в тигле расплавился, а мы и не догнали, когда это он успел, а он тикал и такал, пока не превратился в ночную плоть цвета мокрой мостовой. Хотелось еще немного, ну, сколько будет дозволено, не страдать, а узнавать и робко радоваться, терять и теряясь; не мучаться, а вглядываться, хотя, конечно, и одно без другого немислимо, и вообще, ни то, ни другое не мыслимо; этого не может быть, как говорят ученые, потому что этого не бывает никогда: нет ничего и никого, не содержащего страдание хотя бы в следах, в эманации, не страдает разве тот, кто уже добрался до земного ядра и расплавился в нем, либо, набрав третью зодиакальную скорость, бросает нас тут, лениво помахивая на прощанье побледневшей рукой, оставляю, мол, вас в покое, как вы велели, продолжайте, как говорят ученые, в том же духе или без духа, страдание есть способ существования белковых тел, до встречи, дорогие мои белки, вертящиеся в колесе, белки нуклеиновых кислот и прекрасных глаз, основные и кислые, прощайте, асталависта, земным земное, подземным подземное, кесареву кесарево, а слесареву слесарево; так он ёрничает; кривляется и удаляется далеко вверх, постепенно превращаясь в невидимую воду, многими расцениваемую как газ, что, с одной стороны, говорит о том, что больше над нами никто не будет измываться, а с другой не исключает вероятность теории его скорого возвращения, может быть, в ином виде, повзрослевшим, как взрослеет фраза, дописанная до конца.

Нельзя сказать, что боюсь воды, нет, это не нужно говорить; кто-нибудь решит, вспомнив где-то читаную чепуху, что это водобоязнь, у меня бешенство; сообщит в пастеров-

ский пункт, и меня изолируют от окружающих как нибудь в среду, отделят от их среды плотной парусиной рубашки с очень длинными рукавами, которые можно связать за спиной на три-четыре тугих узла и намочить слезами, чтоб развязывались трудней; а потом даже возьмут слюну и посеют ее на среду накопления или обогащения, чтобы убедиться, чем же я одолеваем, и тот ли, за кого себя выдаю. Да помимо этого я и просто люблю воду, кроме прочего, я вообще ничего не боюсь, в этом-то, я полагаю, все уже могли убедиться, пока я тут сопел, подремывая; мне чужды какие-то там фобии, у меня все в порядке, здоровая печень и трезвый, даже оптимистический, взгляд на мир, и кошмары меня по ночам не мучат, и я нигде на учете не состою, температура лишь изредка бывает повышенной на один-два градуса выше нуля, я ничего не путаю, только порою забываю номер и серию своего паспорта, имя отчество второй или объем, вытесняемый ею из моей памяти первой, жены, шифр сейфа, где лежат важнейшие списки, а уж то, что почти все свободное время я провожу в воде, подтвердит каждый. Я и купаюсь круглый год. Выбираю для этого ночное время и место, достаточно удаленное от погранзаставы и начинаю топтать воду обеими руками и расталкивать обеими ногами, поднимая чернобелые брызги, могу так до утра толочься, но не считаю нужным. Я переплываю иногда, лениво взмахивая руками, пролив, а он достаточно большой, отделяет в этом месте море от океана, причем по странному стечению обстоятельств море здесь ночью бывает пресным, а океан соленым, к утру же все снова как положено. Мне объясняла это когда-то жена, мать мальчика, но я счел эту версию вздорной, так оно, верно, и было: дескать, днем всегда кто-либо плачет, хоть один, да найдется такой человек на берегу, пусть девушка, внезапно затяжелевшая невесть откуда или ребенок, обиженный воспитывающим или тронутый болезнями; вот попадает одна капелька, скатываясь, в воду залива или пролива и так внезапно меняет соотношение до тех пор находившихся в равновесии сил водно-солевого баланса, что мигом начинается химическая реакция, да еще какая! — подобная той, которую мне хотелось бы осуществить лабораторно, да стекла трескаются, буквально хлопьями, причем невидимыми, валит соль и растворяется в водах; заметив этот солеход или солепад, океан начинает нервничать и заливает туда своей воды, сколько нужно. Результатом этой борьбы и является совершенно пресная ночью и вновь наполненная кристаллами и хлопьями к утру вода в том месте, где я плаваю. Все похоже на снег в

неурочный день, на даром доставшуюся тишину в разгар бури; такое дело идет до ночи, а потом сила действия потихоньку слабеет, концентрация падает; да ночью, пожалуй, вряд ли кто блуждает по берегу и голосит, а скорее тихо лежит и его соли впитываются в наволку и наперник и перо под тиканье застенных соседских часов, купленных с полочки, а может, прогуливается во дворе с независимым видом, изредка поглядывая, не рухнул ли домик еще, вследствие различных тектонических сюрпризов. Я люблю плавать в проливе, в океане, изредка делаю это даже в жаркие летние дни, устав от опытов и мыслей; я могу плыть в любом направлении, вперед и даже назад, на запад и на восток, лишь бы чувствовать под ногами дно, а что до расстояния, так оно может быть любым; я даже в подземном переходе плавал и однажды его переплыл. Подземные переходы расположены у нас под площадями, часто даже под небольшими, чтобы человек легко мог пересечь площадь под несущимися машинами, и свободно выбрать то место, куда пожелает попасть, так как рельеф у нас тут сложный; на севере горы, с юга, востока и запада, куда ни взгляни, плещется океан; городишко лепится к горам и предгорьям, холмам и отрогам, многие постройки имеют странный вид, дворики их запутаны, увиты виноградом, там может расти гранат и даже мочала, чаще всего в домиках есть веранда с цветными стеклами, и со двора пристроен целый этаж, а то и два, там летняя кухня, возможно, хлев, летом там квартируют жители столицы, наслаждаются звуками и запахами из сточных канав, идущих неподалеку, ну, да пусть; строителей этих домов, их первых хозяев самих давно смыло, спросить не с кого, а ведь для постройки таких домов требовалось большая искусность; что уж говорить о переходах под площадями, возникших много лет спустя, ясно, что их создавали полные неумехи, летом там невозможно дышать, а весной и осенью там скапливаются воды стекающих с гор рек, в листопад там полно листьев, а зимой их частенько засыпает снегом вровень с площадью. Вот так я однажды после сильного дождя совершенно неожиданно решил отправиться с одного конца площади на другой, уж не помню, зачем. Приготовившись, я сделал все необходимые шаги по ступенькам вниз, как вдруг внезапно оказался в черной дождевой воде по грудь. То есть вода доставала мне до грудины, со скидкой на средний рост, надо признать глубину заполнения до восьмидесяти трех; и я, что же делать оставалось, дальше стал добираться вплавь. Уверенный, что так же я поступил в любом случае, будь во-

круг меня театральные листья или внезапный гром, я вышел на том берегу благополучно, правда, ушло много времени и я весь дрожал, словно в испуге. Любовь к воде я унаследовал от своего мальчика, сына жены, который однажды тонул, часто и в подробностях мне потом об этом рассказывал и привил мне любовь к этому виду жидкости. Он был тогда еще крохой и гулял в огромном парке, окружавшем замечательный дворец, построенный из серо-зеленого, цвета осеннего моря, камня, неброского, грубого, очень прочного, его поверхность была мелкозерниста и шероховата, благородна, умела хранить достоинство и почти постоянно молчать, что выдавало как шотландца-архитектора, так и владельца-англомана, одного из видных вельмож своей поры, получившей потом имя одного из чиновников, бывших у него в подчинении... камни были проложены между собой листами свинца, что позволило стенам дворца выстоять в последнем землетрясении, когда окрестные скалы превратились в хаос; уцелеть в войну, когда его взрывали несколько раз, но безуспешно, порох не брал свинец и диорит; окружающий парк был высажен свободно и прихотливо, нестрого, дико, никакой регулярности, в нем лежало это огромное нагромождение каменного хаоса, на этих скалах играли дети и распивали разное питье всякие ханурики, а в центре ютилось три выкопанных когда еще пруда; в большем были два живых лебедя и плавал в тинистой воде пятнистый осётр; в среднем жила дикая утка; в последнем, небольшом, только тина; вот мой маленький и выбрал этот маленький, и, отпросившись гулять, бросился в него, чтобы поплыть. Он уже умел к тому времени нырять, но еще не научился плавать, а пора было уже начинать взрослую жизнь, он это чувствовал, и случайно утопив свою игрушечную лодку, бросился ее выручать со дна, как и потому, что не знал, что такое тонуть, и этого не мог бояться, так и из боязни, что дома влетит; он легко нырнул, а поплыть не смог, ибо, как и мне, ему для плавания нужна была почва под ногами, твердое что-либо, иначе все теряло смысл, и в тот раз все развивалось так же: теряло смысл; но тут его спасли. Его спасали уже не первый раз, второй; первый раз его спасла бабушка, когда его украли цыгане, вывели из палисадничка и повели за собой до конца улицы, больно был он чистенький да сероглазенький, но бабушка его отбила, бросилась им вслед, вырвала его руку из ладони цыгана; впрочем, он до некоторых пор не был уверен, его ли она отбила или другого мальчика вместо него и часто мне признавался в том, а я, сказать по правде, не знал чем его утешить или

как его убедить в обратном; но первый раз был шутейным в сравнении со вторым – утопление болезнь нелегкая; вот он и начал показывать руками, как дети ее плохо переносят, и тут его спасли во второй раз: какой-то командировочный бросился в чем был в пруд и вытащил человека на прочный берег; даже имени своего не открыл, разложил сушиться пиджак и намоченные документы, носки, бобочку, просох и исчез куда-то; а мальчика вернули домой; он часто потом спрашивал меня, как звали этого доброго человека, но и тут я ничем не мог ему помочь, ни утешением, ни советом; хотя я искренне полюбил плавание после всего этого, стал плавать не только в переходах, но и вдоль берега пролива; а специальные автомашины, высунув едкие хоботы, тем временем отсасывали воду, грязную жижу и истлевшую листву, осушая до дна подземные лабиринты и ходы, протягивали провода, освещали все новыми лампочками, разрешали ходьбу всем желающим, иди – не хочу; мне же делать там боле было нечего и потому я переходил плавать в океанические просторы.

Стихий много, по меньшей мере пять, и ничего в каждой из них нет такого коварного и обескураживающего, то есть лишаящего куража и других столь же сомнительных доблестей, нет ничего, чего не было бы у другой. Конечно, их и немало, любой может в них запутаться, но я однажды дал себе труд, выписал литературу в библиотеке, поработал и наконец определил их, это оказалось до смешного несложно: воздух – сюда примыкал также солнечный свет, запах, который возвращал былое, голубой газ для дыханий; земная твердь – тут тоже шло в ход все, что хочешь, и скальный грунт, и мел, и даже шахты и пустоты где-то под поверхностью; вода, как видимая, так и невидимая, как соледержащая, так и нет; четвертую стихию я запомнил, а может, это был огонь, тогда, наверное, сюда включалось и жгучее какое-нибудь чувство; а вот пятую я помню точно, это кровь.

Я так часто сбиваюсь потому, что листочки, на которых я черчу что-то, лежат на краю стола, так что теснота темы искупается темой тесноты, а темнота темы объясняется темой темноты, хочется даже сказать, что темнота – это темнота, кто вовсе не слышит нас; короче, у нас очень мало места, все мы сдавлены за одним столом, тут же сын готовит лягушку для урока анатомии в детском саду, с самым серьезным видом цепляет ей чего-то за перикард, серозную оболочку, и тащит куда-то; это им так велели, он очень ис-

полнительный, а я всегда рад помочь ему советом; жена делает салат из риса и крапивы, она чудесно готовит, правда, иной раз и у нее подгорает; теща занимается с учениками, готовя их к вступительным экзаменам по плезиозавроведению или бронтозавризму, уж не знаю, это их там зоологические проблемы; тут даже покойный тесть, он ловит радиомаяк, хочет понять, почему транзистор поет не своим голосом, бедняга, он не знает, что транзистора уже нет, его носесли в комиссионку. Немудрено, что повороты то туда, то сюда, спасибо хоть все на одном языке или около того, и цифр не так много, а ну как иероглифами начну, или формулами, или стихами то как зверь она завоет, то заплачет как дитя, это я про жену-то, она как заметит, что я пишу чего-то, прямо ненормальной делается, лупит меня по голове, чем ни попадя, и сковородкой может захватить, и банку с кизилловым джемом швыряла, да я уворачиваюсь пока что; ненавидит она это дело, и правильно, причем не лично меня – я-то человек безобидный, черчу себе и черчу, ну и что?.. Ну, я стараюсь ее не гневить особо, первая же все-таки, и помрет скоро; пишу раз в год, осенью-зимой, дней семь, стараюсь побыстрее, а то кончится запал – и все; или хуже того – теща, та даже намек на это вынести не может, по своему она права: раз пишешь что-то, значит против порядка удумал, а она со смутьянами строга, их не терпит; ее еще в молодости какие-то агенты невидимые продержали по ошибке в каталожке десять лет, что ли, так она с этой самой поры говорит: каждый честный человек должен отсидеть хотя бы год в тюрьме, это ему иначе грош цена; и здесь она по своему права. Написала даже объяву такую, вроде плакатика, повесила над умывалкой: ты отсидел или отсиделся? страшное дело, хорошо хоть никто про это не знает; я раньше думал, мне недолго с ней мучаться, она больная, слабая, а теперь вижу, ей каждый день здоровья прибавляет, как взглянет в телевизор – просто орлица; кощеем бессмертным заделался – а все потому, что замечает, что не зря терпела, скоро будем ей сто лет справлять. Сгоряча она, правда, написала на меня куда следует, меня какие-то слуги вызывали, разбирались долго, но на первый раз отпустили, поняли, что шучу, что кроме научных, других целей не имею, не шпионю, все больше терзаюсь общими фразами какими-то; сказали: дурак-то ты дурак, да смотри, чтоб умные тебя не слушали, или наоборот сказали, я, сказать честно, и не помню этого в точности.

Чтобы убедить в моей привязанности к воде тех, кто еще остался и не ушел, сообщу один текущий факт, в нем как бы

заложено небольшое напряжение, есть в нем этакая сигма, табличная величина, она, конечно, в полтора раза ниже, чем сигма бумаги, в три, чем словес, в семь, чем случившегося, но она все же есть; и вправду, когда мы приняли тогда с сыном веселое решение отплыть домой на лодке, нет, на катере, на кораблике каком-нибудь, казалось, что туча далеко; а был тогда сиреневый летний вечер и мы с ним возвращались с царского пляжа, где купались тайком. С этими пляжами сплошная неразбериха: царя свергли, вельможи пущены в расход — и если уж зашла речь, то скажу, что ни о воле его я судить не берусь, была ли, не было ли, ни об уме — тоже не скажу, был он или не было, а вот одно знаю: погромы были, и кровь невинных есть на нем, другим это, конечно, не в оправдание, но и ему не в заслугу, свергли, и все... — а вот слуги, слуги-то, которые раньше были поставлены охранять их, эти купальни, и не пускать никого, — они до сих пор стоят. Не то забыли им сказать, что власть сменилась, не то сказали, да они хоть бы что, и стоят, такие свирепые, кажется, раньше тише были; вот и простого человека вводят в расход принуждая купаться где-то в большой скученности возле выпусков канализации из под земли; а моему малышу этого никак нельзя, он очень восприимчив к инфекциям, приходится тайно лазить через забор, который охраняют со свирепым видом эти дурни, с таким же успехом можно стеречь пустыню, край костра или воздушную яму, все равно туда никто не ездит, некому, только зря в своей тяжелой потной одежде эти солдатики тут елозят. Окунувшись спешно, мы тут же начали готовиться в обратный путь. Нам с ним вечно не везет вдвоем, жена терпеть не может отпускать нас одних, чего только он не вытворял, пользуясь моими потачками — и терялся, и улетал на воздушном шаре, и ломал городской маяк; однажды чуть парусник не угнал, хороший трехмачтовый бриг, тот зашел к нам в порт случайно, в ходе кругосветки, у него вся команда оказалась поражена вирусом сильного дальтонизма и свернула в наше серое море в полном убеждении, что идет в сиреневое. Пока их лечили у нас в лаборатории, мы отправились посмотреть на этот бриг: пересчитали мачты, перечислили все паруса, просто в приступе восторга мой был, собрались уж домой, и так нас в порт пустили по знакомству, — смотрю, мой дружок уже вертит штурвал, мельком поглядывает на репитер компаса, отдает команды в телеграф, тихо, но точно, уже их слышат в машине, что-то дрожит, дизель, что на паруснике установлен, как теперь положено, прогрет, пошел на самый малый... сейчас осталось отдать, как гово-

рится, концы и все – поминай, как звали. Даже дело об угоне заводили, потому что кто-то показал, что швартовы были отданы, носовой точно, а кормовой вроде бы, а в уголовном уложении за отдачу носового положено до трех, а кормового – четырех лет пребывания в пустыне без права соприкоснуться с водой в любом виде: пить, плавать, умыть руки. Спасло то, что матросы подлечились и уплыли в порт Потери, а с ними исчезло всякое воспоминание о чудесном красавце с серыми парусами и про моего несмышлениша забыли под это дело. Обдумывая дорогу домой в этот раз, мы вспоминали, как выглядит побережье, больше всего его профиль был похож на контур скрипочки или альты, кажется, немало их улеглось своими неправильными и совершенными изгибами друг за дружкой, чтобы по этому лекалу, часто отступаясь от него и давая волю безрассудству, кто-то выточил – теперь уже из скал, графитных склонов и гранитных мысов – прихотливый след, навсегда отпечатывающийся в сердцах тех, кто видел его хоть однажды. Пришлось ему выбрать баркас из серии Птицы, а я, человек более осторожный избрал железный пароход, вернее, катер со странным именем Мисс Хор, к счастью, оказалось, что птички давно распилены, и мы заняли места на корме катера, который легко совершал регулярные рейсы от пляжей до городского мола. Для этого ему нужно было только – не торопясь, обогнуть мыс, свернуть в бухту, как в гнездо, затем снова вывернуться и мимо скалы, похожей на акулий плавник, пройти берегом к самой гавани, постоянно чувствуя дно под ногами. Казалось, чего проще. Но капитану, наверно, что-то смиренно напели сирены, и он оказал промах, потому что корабль наш взял мористее, – и вот в это время начался шторм. Он давно собирался, но ждал, может быть, капитан не будет испытывать его терпение, однако тот просчитался, а мы оказались втянутыми в эту воронку. С каждой волной, а эти волны содержали кипяток и пемзу, с нашего дна сдиралось по листу металла, хорошо, это было многослойное днище, и уже достаточно старое; дважды нас переворачивало, но оба раза оверкиль каким-то чудом переходил в свою противоположность. Можете себе представить, что делалось с мальчиком, при том учтите, что он с детства страдает морской болезнью, в той самой тяжелой ее форме, при которой даже не вид моря, но упоминание о нем – вызывает неуротимую рвоту, иногда даже приводящую к обезвоживанию организма и обмороку. И вот ему выпала такая поездка. А ведь я знал об этом, но как-то выпало из головы, права жена – я нику-

дышний отчим, и отец из меня, наверно, путный не получится. Но держался он очень мужественно. Он сжал зубы, резко побледнел, молчал, только смотрел мне прямо в лицо широко разверстыми серо-сиреневыми своими очами, как будто что-то говорил, но что именно из-за грохота воды, обрушивающейся на нас с небес, дикой качки, выворачивающей наизнанку и обрывающей все внутри и острой жалости к нему — я не разбирал, а однажды разобрав, уже не знал, как на это ответить. Мы спустились в трюм, но там качало еще пуще, а в иллюминаторах, то открывавших белый свет, то прятавшихся, проваливавшихся с размаху в черно-зеленую бездну, была закреплена такая гнетущая нацеленность, словно беда смотрела на нас, или мы смотрели на нее, а видели свое отражение. Мы выдержали внизу недолго, и решили, что уж если выпало нам такое бедствие, то подыдемся вверх и воспримем все, что суждено со спокойствием и с теми, кто окружает нас. Мы с трудом поднялись по мокрому скользкому трапу наверх, где все грохотало и переворачивалось, как и внутри у многих смельчаков, с бравым видом навязавшихся нам в попутчики. Теперь от этих командировочных, среди которых было даже два стратонавта, исходил дух паники и позора, от веселости и самоуверенности не осталось и следа, они взывали к царю морей, причем было похоже, что они дразнят тельца или овна, выворачивая в такт вздымающимся водяным столпам свои внутренности, не представлявшие никакого интереса, стенали, молили о пощаде. А мой мальчик держался. Он держался сколько мог, я развернул его спиной к окружающей публике и мы пели песни, рассказывали друг другу сказки, играли в города и в отгадай героя, математические чудеса и тайны, даже разучили новую песню про пока земля еще вертится, а шторм не утихал. Но и не разгорался больше, а значит, появилась надежда, что этому возможен конец или хотя бы передышка. Спустя некоторое время, уже после мыса, в бухте, приподнялся и засветился край небес, стало немного тише. Мы бросились обнимать и целовать друг друга, все отмылись, поздравляли друг друга и принимали поздравления, стали лучше относиться к окружающим. Но вот тут-то он и не выдержал, мой мальчик, он вдруг понял, что его личное геройство не нужно было никому, ощутил себя в полном одиночестве и не в силах совладать с депрессивностью этого состояния, сдался, и это нельзя было остановить.

Ах, как было это обидно, ведь до порта оставалось меньше мили по теперь уже тихой, как остывший чай, воде,

освещенной закатным светом. Нас уже готовились встречать. Пришла мам в новом платье, сшитом из лоскутков, бабушка прибежала, соседи выстроились как на параде. Как-никак мы возвращались из долгого плавания. Я, как мог, умыл его морской водицей, обтер пиджачок и брюки, почистил фуражку и сапоги. Крики толпы, встречавшей нас, надрывали мне душу, эти люди совершенно ничего не понимали: кто мы, откуда плывем, куда тронемся завтра, какие мы разные, сколько в нас испарилось влаги, сколько отмерло старого и появилось нового, совершенно иного... они не могли этого понять, а могли только похлопывать в ладоши и приветствовать нас какими-то незначительными возгласами... мне стало ужасно трудно это выносить, взглянув на ребенка, я понял, что и он согласен со мной, что и ему не легче, и мы, не стовариваясь, оттеснились на край этой бушующей толпы, выбрались за какую-то загородку, и там, сев на ворвань и какие-то полуразломанные ящики, наконец-то перевели дух от быстрого бега... в эти минуты у мальчика началось что-то вроде истерики, он и плакал и смеялся, а я, хоть и понимал многое из того, почему он сейчас так неистовствует, все же не мог понять всего и до конца, и не мог найти слова и успокоить его, чтобы он утих, угомонился, дал мне возможность явиться домой тихо и незаметно, войти и спрятаться, как будто ничего не случилось, как будто с нами на этот раз ничего не произошло...

5.

В какой-то странный кинотеатр она попала, таких размеров, что страна влезет, стены теряются и потолок не прослеживается, и все смотрят фильм какой-то бессюжетный. И пока смотрят, понимают, что это не весь фильм. Самое главное, в роде коды, находится в конце, его вырезали или просто остановят аппарат. Нельзя, все. Съемки замедленные, есть время подумать внутри кадра: то воду льют, то волов пасут, то просто стоячая вода, в коей заключены лежащие разные умники, рассуждающие о раскрепощении, первоматерии, феноменологии и прочей муре. Но вот действительно, — обрыв; зажигают свет, а мы прячемся, не то под стул, не то за штору, не то прямо за экран; всех выгоняют, а мы сидим на шелухе, семечками заплеванном полу, в проходе, на корточках, испарения грязи, потной одежды, отсыревшей обуви, ждем, пока эти миллионы обнимутся и по-

кинут нас, а они вываливаются черными тучами, словно полчища саранчи, превращая день в ночь, ночь в преисподнюю, но наконец никого не остается в зале кроме гадского запаха. Осторожно выходим из-за прокисших штор. Сколько нас и кто со мной, не понимаю, словно камера снимает с руки, так, что если видишь себя, то крупным планом, а остальные заслонены.

Где-то тут на стене должна быть кнопка. Куда она подевалась? Не у кого спросить, опасно: вдруг тут еще кто-нибудь есть. Страшно подумать, что нас ждет, если нас обнаружат. Стена плохо отштукатурена, неровная, как наждак, сдирает кожу; даже в темноте видно, что она плохо покрашена и перемежается дверями, через которые шумит льющаяся вода, а двери заперты на засов — такая железная полоса, к которой ручка приварена, падает на две железные скобы, как гильотина, вспоминая о которой целый день болит голова у любителя афоризмов; могли бы и не таиться, но на всякий случай крадемся, иногда натываясь на стулья из разошедшейся фанеры, рвем чулки, царапаем щиколки, там, у пола, стулья прибиты добавочной планкой, и проход не свободен; зачем им планка, — чтобы не украли стулья, или чтобы они падали все вместе: целым рядом, коллективно; порванный чулок значит больше, чем оцарапанная нога, его жальче; начинается понятный лишь женщинам — плач о порванном чулке. Случайно мы задеваем щербинку на стене — вот он, поломанный выключатель — и зажигается свет. Трещит проектор, начинают показывать фильм... какая радость... нам удастся его досмотреть. Но тут скрыт подвох. Что-то сместилось: небо уже вместо потолка, пустыня на горизонте, жеванный кустарник на стене, мы внутри этой коробки, как ящерицы, а вокруг начался новый потрясающий фильм, совершенно запрещенный, невиданный по глубине и простоте, странного цвета, как посмотреть: один глаз закрыл — цветной, двумя смотришь — черно-белый; то есть цветное изображение для беседы рассматривается как шаг назад; и мы пытаемся все запомнить, впитать, потому что ясно, что больше не увидим. Кажется, немой, но на самом деле озвучен, это мы от радости ничего не слышим. Что там такое, передать трудно. Кто-то говорит. Не то мысли какого-то естествоиспытателя из Пор-Рояля, не то опыты дворянина одного, мэра Бордо, а вот и процесс одного служащего из Вены или из Праги, иудейского вероисповедания. Все это меняет каждый раз наши представления. Вот еще про какой-то котлован, потом про карантин, потом про что-то рассказывают

и вовсе невиданное, показывают кулак... все внутри переворачивается... Зачем нам это?

Вместо спокойной жизни столько вывалено на нас, что если и не кто-то, то мы сами в узнице побежим и в яму сядем холодную, воя от несправедливости, нетерпения, невозможности противостоять поношению, татьбе, каломаранию... и снова какая-то слабость в ногах, точно на пути от яви к провалу или от прозала к яви...

Так и есть. Коварное это дело – зажигать свет, обязательно привлечешь внимание. Разбудили... Слышен грохот сапог, звонки, воем тревога, колотят в дверь, пахнет смазкой, сапогом, подковой, слышен громкий командный рокот, сейчас распахнется дверь...

И вот, говорит жена, чтобы не попасться, я стала другим существом, может быть, зимородком или какой другой животинкой. И вот, она говорит, все знают, что я тот человек, которого ловят, а я должна доказать, что это не так. Зачем-то для этого надо себя ранить. Может быть положено, чтобы птица такой национальности как моя, всегда себя ранила, доказывая, что не из людей она, человеческой страже не подлежит; ранит себя в истерике, чтобы не схватили, прокалывает себе тонкой длинной иглой грудную клетку, чтобы отказались от нее, убедились в совершаемой ошибке, и вот, говорит, раздираю себе левое плечо, я обычно всегда так делаю, клювом до крови. Как я могла дотянуться?.. Может быть, голова птичья, и клюв длинный, как у баклана, а тело осталось человеческим, потому-то все и пристают, а я-то, дура, понадеялась... что вся превратилась, полагала, спасена, вся – оптичилась... а на самом деле – только лицо. И назад нельзя. В лихорадке сейчас вообще не до выбора, выхода нет, времени в обрез – и я бью клювом в кожу, наконец-то, быстрее, быстрее, долблю, пронзаю, прокалываю – есть капелька белой крови... о, теперь они, возможно, смогут поверить.

И вместе с тем я улетаю, низко над землей, на высоте человеческого роста, чтобы себя не выдать и походить на... притворяюсь зимней птицей в родах, которая и разговаривать-то не умеет, и летать еще не в силах, лечу бесшумно и ровно. Они уже вроде поотстали, махнули на меня рукой, и уж, наверное, забыли про... но я все равно уматываю... похоже, я пересекла границу и подо мной уже не империя саранчи, а какая-то другая страна, пустынная, степная, на пастбищах блуждают тучные стада, всадники, завидев меня, нацеливают стрелы в небо; заглядывая в кратеры, я лечу над вулканами, потом над волками, они... потом над бесплодной равниной без

края, подо мной растресканная земля, никаких рек, и когда я это понимаю, то обрывается последняя надежда, что я увижу море.

Жена спит как убитая. Она спит как убитая горем или ядом, но она просто устала; уходила на работу — еще ночь не кончилась, а пришла — тьма в самом разгаре; вот так всегда, очень серьезная работа, серьезное действие она производит, работает в какой-то школе, где сама некогда училась и получила награду — орден в виде золотой монеты — там же и я когда-то учился, там увидел ее, подогнал катер, выкрасил ее с какого-то урока и увез; уплыли мы с ней чуть не в северное море, она потеряла там что-то, травилась керосином, который был топливом для нашего катерочка по кличке «Птица», баркас такой, теперь уж такие давно рассыпались в прах на корабельных кладбищах; в этой же школе будет учиться ее, да и мой тоже, сын, и мои дочери от второго брака, и ничего удивительного, ведь эта школа расположена в чудесном месте; стоя там, чиновник канцелярии графа-англомана написал: «...напрасно я бегу к сионским высотам...», за эти и многие другие гениальные прозрения решено было всю его эпоху, бывшую более полутора столетия тому назад, назвать его именем, заодно уж и улицу нашу тоже, это даже бульвар, по берегам которого растут столетние сикоморы, работающие как указатели времен, даже времен года, и бывает, что с началом новой поры, скажем, лето иссякло и осень взошла — половина из них, та, что имеет совесть, в одну ночь желтеет, а иные еще упорствуют и тянут, и таковая граница лета и осени, охраняемая, конечно, слабее цитадели в каком-нибудь нашествии, рушится постепенно, у нас на глазах, ветшает, кое-где раздаются пожары, а потом в одну ночь наступает уже иная пора, и утром половина оставшихся в живых уже седые, припорошены чем-то, словно напылены серебром: се ребром стал вопрос о начале зимы, и теперь в крупорушку поступят дни желтения, в потом и падолиста, а потом и месяц с ужасным названием конченрокто появится возле нас, и вот теперь уже между осенью и зимой явно видна эта странгуляция, мимо которой прогуляться. Я показал это однажды своему-то, так он теперь каждый год сообщает мне, что баррикады построены и можно идти глазеть. Школа престижная: туда все стремятся попасть — там преподают украинский язык, на котором говорят у края мира — там, где кончается суша и плещет прибой, и там, где закончены приготовления и все мы уже взя-

ты на прицел... и вообще – все... этот язык считается языком будущего, он мелодичней змеиного, много понятнее, непригоден разве что для науки – там латынь или цифры. Вот она и вынуждена что-то преподавать, чтобы мы не голодали, хотя мы не голодаем; сначала преподавала ясновидение и чревовещание, особенно вещала здорово, но потом там сняли часы, да и видеть она стала не очень явно, так и перешла на нелегкий хлеб преподавания – вещь эта сложная, надо быть преподающим, чтобы стерпеть, как на давание твое реагируют эти, на первый взгляд ничем не отличающиеся от птенцов, свинок или ежиков дети. В ходе работы все учителя легко разделились между собой сами: на указательниц – это не самая плохая группа, тут собрались простейшие, то высунут ложноножку, то спокуют хором, а в общем себе на уме; приказательниц – это уже звание, такая публика теперь распространилась шире, чем раньше; многие совмещают, исправительниц – это ударная группа, ограничены только отсутствием железных трубок и костылей; непонимательниц – наиболее многочисленный отряд, они преподают все и учат всему, самые широкие возможности для совмещения в двух предыдущих сферах, даже само их наименование стало столь распространенным, что грозит вытеснить старые термины; люди это зачастую милейшие и несчастнейшие, их бывает жаль донельзя, когда видишь, что из них вываривает детвора, но небольшой недостаток у них все же есть, назовем его, скрепя сердце – ограниченность, будем полагать, он случайный, легко преодолимый и весьма извинительный на такой работе; в общем, любой начинающий это поприще попадает на первых порах в эту группу, но стоит ему один раз добраться до кафедры через град побоев и пинков, коими любя осыпает его детвора, как он стремится во что бы то ни стало покинуть этот класс и перейти в другой, просто это не всегда удается; наконец – понимательницы, ну, этих можно пересчитать по пальцам, одна на всех, а то и половинка: в том роде, как виолончель бывает целая, как инструмент, а бывает и три четверти, и четвертушка – такое же чудо, только поменьше, и звук поглуше, и для начинающих... и ведь это справедливо среди струнных. Трудно сказать, в какой партии ныне состоит жена, похоже, она рвется в понимательницы, это место сейчас вакантно; не знает, наверное, что это место вроде надбавки за выслугу лет, очень все-таки хочется ей туда; однако какая-то администрация, я не знаю, кто она там у них, какая-то командирша женского полу, толкает ее в совсем другую партию: приказательниц, чего бы ей очень не хотелось, не ее это стиль, она мягкая, добросер-

дечная, слабенькая; но на нее давят, жмут и дожмут, я боюсь; а состоять можно только в одной какой-нибудь партии, уж это каждому известно.

Итак, она проводит в школе целый день, а так, как он короток, то и ночь; дел много; наиболее важными, например, считаются собрания. По правде говоря, с того момента, как ты зашел в здание, и по тот миг, как ты его покинул, идет одно большое собрание – то на него стоняют только детей, то собираются дети и взрослые, то опять же приходится стоняться одних взрослых; протекает оно очень просто: все садятся и начинают громко выговаривать один слог, наиболее важный на сегодня, часто это слог ля, бывает да, бывает также и ро, надо произность его четко и с выражением, стараясь не мешать остальным, занятым тем же, бывает, что неделями один и тот же, а бывает, что по средам меняют. Есть и такие собрания, где необходимо молчать, причем это только на первый взгляд легче, а попробуйте-ка молчать как рыба часа два подряд, сидя в давательской и либо созерцая затылки своих товарищей по службе, либо вглядываясь в их лица, в минуты редкого отчаяния наводящие на мысль о кунсткамере; правда, нет указаний о глубине молчания, но и тут поверхностность ценится больше всего, как и в любом другом деле. Но едва успевает кончиться собрание – встречай комиссию. Вот где действие-то начинается. Обычно комиссия от десятка до полусотни человек приходит пешком или подбъезжает на тарантасах прямо к школьному подъезду. Надо сказать, что принцип инспекции незыблем и тут, как везде: если бы речь шла о проверке работы вендиспансера, то, смею уверить, ее осуществляли бы либо гермафродиты, даже не догадывающиеся о разделении всех по известному признаку, либо уж те, у кого табес дорзалис в последней стадии; так же и тут: на обследование брошены лучшие столичные силы, не своим же доверять, те и так все понимают, и ни в чем правильно не разберутся; все, входящие в комиссию – подлинныи специалисты, поскольку заканчивали специальные учебные заведения для умственно-отсталых. С ними занимались там лучшие дефектологи страны, результаты поэтому были просто блестящими: отличники шли в старшие инспектора, а хорошисты в рядовые, но бригада была бравая; во имя более точного соблюдения принципа языковые предметы инспектировали тугоухие, физику – специалисты по физической культуре, а все остальное – военные в отставке, которым и дано было право выносить окончательные суждения, лаконичные и безапелляционные. Чаще всего они порицали, хоть неумело и громко, да зато смачно; тем более, что порицать нетрудно; администра-

ция же, перепуганная с самого утра, еще накануне взяла со всех расписки, что пререкаться с ними не будут, и теперь только с волнением ждет, когда же они разъедутся, прочь от порога; дотерпеть бы; вот когда все соберутся вокруг костра, начнут похваляться и закусьвать нехитрыми закусками, потому что буфета в школе нет; вот когда расправляются крылья, и тот, кто еще недавно сидел орлом, взвизгивает в открытое небо, и все видят, кто прав, а кто виноват; я утешаю ее как могу, но она и сама понимает: что у учителя, что у ролога — у каждого свои комиссии, и чего уж тут, когда все заранее известно; не в этом суть.

Постепенно у нее стали складываться какие-то отношения в той комнате, где сидело полсотни восьми-девяти летних существ, на второй год она уже стала различать их лица и проводила с ними теперь уже круглые сутки, потому что стоило закрыть глаза, как они являлись перед мысленным взором и начинали теребить, требовать, спрашивать, краснеть, вырастать на глазах из коротких курточек и штанишек; там было несколько серафимчиков; были просто детеныши, ни рыба, ни мясо; попадались и попугайчики, и бестолковые, и даже пресмыкающие, даром, что маленькие; но в основном все они были просто невинные, а невинные тем и лучше против нас, что растут-движутся куда-то, и тут возможно еще кое-что подправить, и она полагала, что может попробовать. Видела она это так: бывает, путь начинается по паркетному полу, потом по неширокой досточке, потом по басовой струне, потом по наутине над пропастью... и в этот момент человек задумывается над собою, и начинает себя понимать, а? — а у тех, кто ничем не связан, все вроде начинается с паутины, потом струна всяких советов, потом бревно, снаряд спортивный, и наконец паркетный пол, где его и застаем, протирающего штаны, и тем довольного. Мысль была тем более смешной, что пол в классе и вправду был паркетный, а потолок, хоть и протекал вечно, но был затянут паутиной, многие же дети занимались на различных струнных инструментах, и даже носили их с собой в школу. Здание же прежде принадлежало городской управе, было ветхим, часто требовало ремонта; в подвале находилась котельная, где правил один ужасный тип, весь покрытый коростами; денег у управы на постройку нового здания не находилось, едва набирали на ремонт, да и тот большей частью делался чужими руками, а котельная меж тем чадила, и чад проникал именно в ту комнату, где занимались детки; от этого у всех мутилось в голове, поэтому и чудилось порою всякое... и даже на ночь еще хватало.

Дети и вправду были как дети, постепенно она срачивалась с ними больше, чем положено, и не потому, что они того стоили, просто иначе было невозможно. Обо всех и обо всем, она, конечно, не могла знать и доложить, но кое-кто обсуждался так часто, что разбуживал уже и меня по ночам, уж совершенно невесть с чего. Наиболее грустными были ее соображения о том, что вокруг этих малышей происходит та же дребедень, которую не всякий взрослый может вынести; нету для них билетов за пол-цены на это представление, в котором им же и приходится участвовать. Казалось, их-то можно уволить от этого... а вот поди ж ты – восемь из десяти детей росли без отца или без матери, а часто только бабками и дедками и оберегались от окружающей среды. Отцы разводились, пили, сидели, ну, все как обычно, но попадались уже, и все чаще, – мамы, которым хотелось того же самого, и если отсутствие отца в семье было обычным и даже необычным выглядел тот, у кого было два родителя, находились теперь и те, кого можно было подковырнуть безродностью и в материнском смысле. Дети же бывали иногда неоправданно жестоки, и, вдруг не поделив, скажем, резинку – жевательную или стерку, то есть ластик, нужный для стирания слов, потерявших смысл, – внезапно начинали говорить друг другу такие вещи, от которых у жены, невольно присутствовавшей в комнате в этот момент, начинали шевелиться волосы и либо покидать свои луковицы, либо запускать изнутри, превращаясь из изумительно-золотистых в белесые, простенькие и никчемные... ну, не все сразу, а по одному за разговор. Например, мальчик рассказывал девочке, не спеша и брызжа слюной, где сидит ее папаша то ли за взятку, то ли за поножовщину ерундовую, по ревности, – просто диву даешься, откуда он мог это узнать, неужели от своих родителей, с которыми у него тоже было не густо, в чем все убедились, потому что девочка, задетая за живое, как бы задумавшись, неспешно рассказывала ему в ответ, что лучше бы он заткнулся, сукин сын, ведь его родная мать сейчас собирает пустые бутылки из-под пива и вина сухого на пляжах и пустых стадионах, а также в скверах; собирает их, чтобы сдать и в обмен получить некоторые монетки, полукопеечного или копейного достоинства, а уж в обмен на монетки обрести бутылку, полную пива или сухого вина и распить ее на пляже или пустом стадионе, а то и в сквере прямо; во вполне соответствующей компании... и мальчик, понуждаемый этим рассказом, не торопясь, но и не очень медля, шел умываться в умывалку, потому что в данном редком случае это была чистойшей правдой, которую нечем было крыть... Ну, что тут было делать?..

Нет, она делала, что могла: и учила их снимать шапку, входя в музей, и водила их в горы, откуда открывался щемящий вид на наш крохотный и невероятно прекрасный город, учила мальчишек разводить костры и ставить силки на птиц, девчонок — делать яблочный пирог и плов из риса и крапивы, последнее время даже замахнулась на то, чтобы отучить их от бранных слов, но тут дело шло хуже, а хотелось больших успехов и мгновенной победы.

Взаимоотношения с коллегами у нее тоже оставались пока неплохими: она из той редкой породы людей, что все время извиняются и благодарят, это даже на выдавших виды детей иногда действует.

Как она рассказывает, школа устроена так: вначале идут школьные ясли — они длятся года два-три, потом школьный детский сад — года три-четыре; затем последний рывок: школьная школа — это занимает тоже три-четыре года, последний называется выпускным, потому что детей выпускают в школу жизни, хорошо, хоть она проходит вне этих стен; вечер, когда школа празднует выпускной карнавал, похож на сборище каких-то вальпургий и чертей; хотя льется много искренних речей и пьется шампанское. Первые годы еще туда-сюда: кажется, что со всем можно справиться, ясельные стоят в яслях, а детсадовские не хуже и не лучше чем в любом школьном саду, и хотя прибавляются проблемы, но все это ягодки, пусть порою и волчьи. Но вот при переходе в школьную школу все меняется в одночасье, и порой даже вздрогнешь, увидев, как из безвредного ужика вдруг выросла гремучая змея, уже шипит и сейчас будет бросок... а из козых рожек, которые было так приятно поглаживать еще вчера, вдруг образовались козероги с присущим им козлиным ходом, умом, запахом и хохотом, хотя и тут встретится изредка благородный и грустный лось, неглупый олень или беззащитная и нежная косуля. Блуждая в этом лесу, жена не однажды ломала руки-ноги, а однажды ее по ошибке, приняв за ясельную, сбросили из окна, и пришлось лечиться от сотрясения головного мозга, не всего, конечно, только коры. Разговаривая сама с собой или с коллегами в редкие минуты затишья, сидя вокруг костра, она сделала вывод о том, что одной из важнейших задач следует считать расцинизацию этого лесного населения. Как-то так выходило, что этот лес окружала еще более жестокая и огромная чащоба города, и если в лесу был хоть кто-то, способный твердить об элементарных законах развития и даже объяснявший необходимость для дальнейшего существования таких вещей как доброта, ранимость, чуткость, чувство локтя, порядочность, то, покидая

лес, ненадолго попадая в чащобу, детеныш все это напрочь забывал или даже начинал считать химерами, и, вечером покидавший лес, к утру уже возвращался туда из чащобы какой-то чумной, с горящим взором, алчный, жестокий, готовый к бою и насилию. Не то было страшно, что девочки по большинству мечтали выйти замуж за монгола или наливалу или, на худой конец, стать ложкомойками в большом отеле, а парни, как ополоумевшие, занимались вольной борьбой и могли одним пальцем проколоть человеку глаз или щелчком по лбу свалить его насмерть, нет, у них было отнято что-то более существенное, не было какой-то невидимой души, какого-нибудь мало-мальского верия во что-либо, будь то миропорядок или простое одушевление. Конечно, на такую почву легко ложились многие мерзости, наблюдаемые ими в чащобе, они и сами рады были поднабраться чего-нибудь современного, и порой даже титанические усилия были бесплодны, чтобы показать им истинное положение дел. Большинство так и не удавалось разобраться, что к чему, оно и не надо им было никогда, не тому их в семье готовили; так и стояли потом в последней школе, как пеньки, правда, прекрасно устроившись, живя богато и часто вольготно, чем и гордились, справедливо полагая себя надувшими этих простачков, что и в детстве были не как все, и сейчас мыкающихся по очередям да в автобусах. Расцинизация как самый трудоемкий и внешне неяркий процесс занимала помыслы многих; но и в этом — кто-то преуспевал больше, кто-то меньше, а совместители совсем не успевали, у них были другие сложности: как совместить.

Ученье, она рассказывала, следует за неученьем с тем же постоянством, как свет за тьмой, это аксиома, получается отчетливый круговорот. Поэтому, несмотря на лучшие силы предметников и беспредметников, брошенные в прорыв, результаты оставались весьма скромными. Собственно учение начиналось в школьной школе, до той поры о нем не было никакого резону думать, а теперь зверяток наших ждали узы — учебные ли заведения или другие какие места общего пользования, да и родители наседали, да и престиж школярни требовал... В частном случае именно нашего училища это выглядело приблизительно так: таблицу умножения знала всего лишь одна женщина. Уверяла, что слышала слово интеграл. Ей приходилось всех учить арифметике. Она была блестящим дательцем, даже из других городов учиться приезжали, но жуткой стервой. Один ее вид — она была по колено ученикам старшего возраста — внушал опасение, что ее раздавят мимоходом, скажут — нечаянно, и придется поверить. Физики сами

поуходили, теперь тут торжествовал красавец, про которого многие выпускницы говорили, что одевается он, хоть и шикарно, но медленно. Химию отродясь не было кому преподавать, и не в одной этой училъне, а и в других, целая проблема для Оно – таким местоимением шифровали местоположение штаба, созданного умышленно для умножения сложностей и сложения трудностей, деления всего еще пока целого и вычитания любой здравой идеи. Естественные науки процветали: тогда дошло до практических занятий по оплодотворению; заинтересовались биологиней, проводившей много времени в подсобке с теми же славными хлопцами из выпускного класса, м-да. Кто там еще остался? – иногда с чувством спрашивала она меня, как будто я должен был это знать... То, что творилось вокруг, мучало ее боле других, потому что это была ее альма и ее матер, и она еще помнила годы, когда такого не было, а было немного лучше, но даже рассказывая мне все это, не в силах сдержатъ порой слез, она все ж не могла разбавить краски, придать этому хоть призывк веселья... Какие-то люди называли себя словесниками – наверное потому, что знали множество бранных слов и слыхали о наличии какой-то точки с запятой – особо редкого знака; один работал в библиотеке, а другая буфетчицей, не было ставок, они были супруги; она писала объявления: дескать, завтра будит асмотр генеколога... а он с удивлением узнал от моей жены, что оскорблять – это одно слово и на конце там мягкий знак, которого же не должно быть в словах, заканчивающихся на -изм, впрочем, и тогда продолжал писать счастье через ща, как удобнее, и как он привык; о преподавании литературы просто не хотелось говорить, такое там творилось – вот мы никогда и не говорили. Что же касается основной дисциплины того редкого языка, которому надо было всех обучить, то тут хоть спрашивать было с кого. Не все гладко было и в этой немалочисленной секции, то вдруг кто-то кошелек уворует с таким видом, что так и надо, то вдруг окажется, что человек целый год на пенсии, а уроки ему ставят, и они даже проходят неплохо, во всяком случае, дети довольны, что их хоть не надолго оставляют в покое. Неудивительно, что многие родители подучивают своих детей тайно на дому, кто по рисованию, кто по пению, кто по брожеванию, а кто и по третьему ньютоновскому закону: чем сильнее пытаешься что-то вдолбить, тем сильнее оно вылетает обратно. Особое место занимала какая-то зоология, изложенная баснями: многим это настолько забивало памроки, что уже спустя лишь многие годы после школы, они понима-

ли, что лев – не лев, боров – не боров, мопс – не мопс, а ангел – далеко не ангел. Редкие особо проницательные гаврики доходили до этого своим умом не дожидаясь окончания школы, но тут важно было не дать об этом знать, а то могла возникнуть грыжа от натуживания ума по вопросу сокрытия обнаруженного знания.

Самым главным предметом справедливо считался муштризм. Преподавал этот строевизм какой-то старшина в отставке по фамилии Котях, он обычно сам подавал себе команду идти, стоять, говорить, причем называл себя при этом майором, а потом так же бойко командовал себе отставить, и снова называл себя ошибочно, – миляга, нет сил. Ему было разрешено материть этих сопляков и периодически лупить их по морде, что он и делал с удовольствием, но не это было обидно, а то, что у него в секретной части хранились дипломы об окончании школы, и он хотел – выдавал их, а не хотел – и не выдавал, и тут хоть стой, хоть ложись по стойке смир-на! – результат один, можешь даже реветь в голос – в противогазе все равно не видно. И как ему возразишь? А если завтра в поход?..

Оставалось полагать, что наша несчастная школа была единственной такой, нетипичной, случайной, оставалось ее любить и такой, как она есть, и мы любили, потому что в свое время она вскормила нас и обучила искусству условно-досрочного самоосвобождения, и хоть теперь она состарилась, поплохела и стухла, мы не оставляли ее своей любовью, надеясь на лучшее, как это и принято у родственников, и если и глядели на нее порой злым глазом, то только потому, что уж больно хотелось все это поменять хоть чуть-чуть, забыв о том, что на это ни сил, ни средств никаких не хватит.

Она как-то призналась мне, что ей один из детишков ее нагадал, чем дело кончится: мол, в один прекрасный день упадет она пластом, растянувшись от доски до прохода между партами, задерется юбка, перепачканная мелом; в одной руке она будет сжимать губку, которой только что стирала старое, в другой – грифель, которым только что чертила новое, и даст дуба. Он так и выразился на своем лесном жаргоне. Как он был прав, этот славный мальчуган: именно об этом она и сама мечтала всю жизнь, как начала работать, именно и только об этом: как бы стать дубом, или грабом, или, лучше, птицей, бакланом, нырком, лететь легко над поверхностью моря, иногда опускаясь на дно под зеленую его толщу, иногла же взмывающая за облака и растворяясь там в бесконечном солнечном свете...

Какая-то девочка, по виду школьница, лет четырнадцати, сидела на остановке трамвая, уставившись ввысь, туда, где стрелец целился в водолея, а надо нею разверстылся серый холодный денек, и ее взгляд на этот день был похож на этот самый день, как две капли воды, серой, уже накопившейся в облаках и подлетающей к нам, и еще неизвестно в каком виде эта капля решится пред нами предстать; да вот откуда-то и ветер засвистел, начал дуть, заметать палую листву в подъезды, трамваи, каменные каналы, где вяло текли речушки, подземные переходы; начинающаяся круговерть листвы так же отличалась от набухшего небосводика, как живопись акварелью от живописи масляными красками; ница, наверное, мечала вырасти и стать щипцей, а то и просто выйти замуж и родить ребеночка, доношенного и в срок.

Я видел это из окна, куда любил смотреть подолгу, а мыслишки мои вертелись вокруг работы, которую хотелось сдать досрочно, может быть, даже неслучайно, чтобы была извинена некоторая недоношенность суждений и догадок; бывает, что ребенок родится немного раньше положенного, это же не значит, что он обязательно, во всех случаях, должен быть дурачком или уродом, или даже померанцем, как их ласково зовут повитухи: ведь его связывают с матерью такие прекрасные узы, носящие имя детского места, или плаценты — впрочем, такое понятие может быть неоднородным: ведь детским местом может быть и садик, и больничка какая-нибудь, и даже кладбище; а самое главное, что в этом месте все жизненные соки матери встречают свое вместилище в ребенке легко переливаясь из одной стихии в другую, что-то алое вливается в алое, синее — в синее, желтое — в желтое, ребенку, который пока еще всего лишь плод, плод чьей-то страсти или чьих-то безобразий, доносится газ голубого цвета для своеобразного дыхания, похожий на холодный приятный осенне-зимний воздух, на ветер, еще не предвещающий особых перемен.

Озаглавить ли ее, или обезглавить, дать ли эпиграф, или же заголовок сам будет заодно и эпиграфом; и как начать? не начать ли так: велено бежать.

И велено бежать — сказал. Я днем прикорнул, вдруг слышу: велено тикать, это по-украински так говорят, вскочил, озираюсь как голый на крыше кинотеатра, а вокруг все тот же сиреневый ветер осенний, что был давеча, да сильный

туман, влажноватый, как всегда перед сменой погоды; и больше ничего, естественно. Голос я не помню, не то альт, не то меццо-сопрано, но чистый, сильный, на шепот смахивает, принадлежит, возможно давешней школьнице, высокой, длинноногой, волосы ниже лопаток, полупрозрачные, лоб высокий, алебастровый, профиль неправильно-совершенный, почти не угадаешь голос, но слова слышны отчетливо.

Кто бы это мог быть? Сразу и не поймешь. Но раз сказано, то не зря же – и пришлось потихоньку собираться, продолжая при этом редко всплескивать руками воображения, словно покидая что-то вольным стилем, нехотя, толкая воду, как толпу. Кто бы? – думал. Не змея-же искусительница, аспид какой. Да и говорят ли они? Понимаю ли я их речь?.. А почему приказ?.. Да, может, это и не приказ вовсе, а даже скорее всего именно так, – это совет, это просьба, по-приятельски, знаете, как подкорка подкорке, что-то вроде под-сказки, ложбинки, по которой легко стечь: беги, мол. Нет, – возражаю сам себе. Тут же – велено. – Ну, велики дела! не хочешь – не беги, кто что скажет... Нет, – снова думаю: сказано...

Но почему бежать? Разве кто-то думает, что я сделал чего-либо? А если мне не повезло чего-то содейать, то зачем бежать?.. А если это не змей был? Господин какой-нибудь. Сам монарх, боже мой, да возможно ли это?.. А ну, как министр... или товарищ министра... или товарищ... Тогда действительно лучше... Даже если я ничего не сделал. А скорее именно затем, что. Тут бы надо решить раз и навсегда: делал я что-либо или нет. Это важно и для меня, и, прежде всего не для меня. Чем раньше я решу, тем раньше там об этом станет известно. Ведь если предположить, что там обо мне что-то знали, что и дало повод сказать это, то теперь все пойдет в обратном порядке – я уверен, что не делал, и они берут свои слова назад. Как же все это будет выглядеть тогда: не велено бежать?.. велено не бежать?.. бежать велено не?.. Однако этого не случилось. Что-то я путаюсь. Еще кемарю, вероятно. Надо бы начать сначала, разобраться трезво: итак?

Из побега побега вырастает цветок побега...

Во-первых, откуда. То, что за окном туман, еще ни о чем не говорит. Тут вот, на кухне, прекрасно законопачены щели мхом, нет сквозняка, почти не сыро, тараканов не видеть. Может быть, не отсюда? Оттуда? Но туда надо еще как-то добраться. А почему, собственно, отсюда надо бежать? Во-первых, не убежишь, не вылетишь в окно, шестнадцатый же все-таки этаж, во-вторых, двое караулят в сенях, двое на ули-

це, у дверей, да и с воздуха постоянный контроль; а потом – выход-то один. Можно так поставить вопрос, что и вход один. Тогда это я их всех сторожу, а раз так, то можно взойти. Но ведь не это штука; тут, кажется, надо снизойти? Не попробовать ли, между тем?.. Надо, надо... не представляется возможным, вот что! доски какие-то мешают, крест-накрест набиты, ни туда не пускают, ни наоборот не дают попробовать. Наверно, попробовать – большое зло; в нем, наверное, таится некий смысл, раз запрещают... раз нету нигде, значит – стоящее что-то; скажи, скажи – сколько раз брал то, что валом лежит, и что – туфта?! а стоило постоять да попотеть, да подоставать, как уже... как что узнал редкое, так молчок; и только самым близким друзьям... и только шепотом. Значит, не оттуда. Любому ясно. Где-то пропустил вопросительный знак. Все зависит от того, как считать эту дверь – входной или выходной. О боже! Так еще и дверь существует!..

Ладно. Теперь – от кого. Это самое сложное. Жаль, что нет такого тома, толстого, скажем, как фармакопоя, где все про все лекарства сказано, про все, и можно открыть и поискать. Там тысяча-полторы тоненьких страниц, а то и больше, а на них мелкие буквочки и цифрочки, а есть даже такая книга зеленая, где написано, что лекарства состоят из корпускул, телец таких, которые надо давать тому, кто заболел, то есть обрел боль, и там же написано, от какой боли какое помогает, и как скоро, и что дать, чтобы человек не затих навсегда, и что ввести ему рекордовским шприцем внутрь, чтобы он возрадовался, не в силах удержать льющиеся в слезном канале капли; чтобы его существо, получившее вещество, стало себя чувствовать и покинуло стены больницы, то есть какого-то здания, где содержат боль. А то суетятся там какие-то исполнители-назначители, и редкий из них догадается, что к чему; и уж почти никто не испытает отчаянье, от того, что бессилен что-либо изменить, от того, что бессилен изменить все, от того, что сам обессилен, и никакая пилюля от испуга тут не поможет. Собственно, нет более истинных ревнителей веры, чем еретики и богоборцы, ведь они защищают самое дух своего учения, высвечивают, пусть едко, голую суть, и, голая, она мерзнет на ветру, на виду у всех, часто с начинающими выпадать седыми волосами, больная, одинокая, – но всесильная... таких надо беречь, а не заставлять доски таскать. Страшно подумать, что есть том, где не про лекарства, а про людей рассказано все то же самое: что они содержат, каковы их горести и радости, как они надеются и

вспоминают минувшее; книга, способная напитать тысячи людей в течение тысячи лет, такая диссертация, полсотни глав, одна другой особенней и бессмертней, есть даже песни, чтобы люди, умеющие читать да прочли и уму-разуму поднабрались, отец чтоб сыну на ночь мог сказку рассказать, юноша чтоб научился трепетать своей подруги, затворник чтоб не вышел никогда, утнув в этой великой премудрости, старец чтоб утвердился, что имеет право покинуть всех, мало что изменится с его уходом не он хранит, но книга, аскет чтоб продолжал себя истязать, а бражник чтоб радовался миру во все тяжкие; удивительную книгу хочется... а негодяи и безсовестныя чтоб всего этого не знали, чтобы это утаено было от них; чтобы можно было хоть как-то различать людей, а то ведь они внешне сильно похожие, разве что пол их делит пополам; этот, дескать, пробовал читать, этот читал, да ничего не понял, а тот вон и не читал, да все чувствует изначально, а этому и читать нельзя – изведет всех, а вот этому вообще – сам не читал, и не станет, а того, кто, узнает, прочел, затирает смертно.

Возможно и такое: лекарства, про которые все известно и написано, не могут вылечить чего-то, а травы и мази всякие неизвестные и нигде не записанные, могут, и вот, получается, доверившиеся записанному, люди тяжелеют, уходят куда-то, а неграмотные, неграмотным и доверившиеся, поправляются; что же, редко, но бывает и такое; я хоть в заговоры не верю и всю эту хиромантию презираю, как учили, видал одного такого деда, он и заикание исправлял, и грыжу небольшую умел унять, только если не в паху; а был молодым, говорил, и параличных пользовал, скажу, к примеру, иди! – и идут, куда денется... живет он сам травами, про людей ту диссертацию почитывает, горя не ведает, славный дед... я, говорит, ваш ад не люблю, там и ток суют к органам, и вода отравлена химией, и меда нет; я, говорит, сам живу, как давай-лама какая, сам я себе трава, сам себе енерация, хрено-сома... и смеется беззубо, словно смешно что сказал. В горах живет, я к нему хожу изредка, то кефиру отнесу, то аспирина, чтоб кости не ломило.

Вот я и говорю: завести надо такой список, где бы все, от чего убежать следовало, следовало бы в алфавитном порядке, мелкими буквами, плотным строем на тонкой бумаге, тысяча-полторы страниц на машинке без интервала, налево кругом, и прочие призывы упомянуты, такой справочник бегуна по кругу. А то все разбросано, не пойми-разбери, попрыгано, где больше, где меньше, а так, чтобы все рядом – нет, а уж это издание вон

как необходимо, крайне своевременная книга бы считалась.

Я могу только догадаться, от кого. Так... есть мелкие подозрения, не раскрывать же их тут: это и опасно и недостойно, дело тут не в именах и не в обстоятельствах, а, скорее, в самом ощущении; вот ту книгу, будь она составлена, можно было бы назвать «о самом ощущении», и надо все-таки ее, разом навалившись, собравшись, созвав друзей, взявшись за руки и столкнуть, начав и кончив; а то один возьмется, а ему: велено бегать... он подхватил шмотки, бросил все, как было, встал да пошел, или повели его двое, не видно издали-то... Нет, пожалуй тут я что-то преувеличил. Мне – да, был голос, а про тех, кто молчит да вокруг столпился, помогать пришел – не скажу, наговаривать не стану, ничего про них доподлинно не известно.

Теперь – зачем? Тоже слету не решить, таком не отделаешься; затем, мол... просто так, велено, и все. Всем же ясно, что не «просто так». Но им и не растолкуешь всего. С одной стороны они прекрасно видят, что к чему, и подшармливает, и горелым несет, а с другой – ведь не шевелятся же! Что им, говорено не было? Было, да еще сколько раз! А они сидят. Или лежат. И ведь не глупее тебя, среди них и академики попадают. Хотя – тебе решать. Для всех, может и не причина, а для того, кого коснулось вплотную – как раз наоборот. Может и до крайности довести, там, сосуды в голове полопаются, все кровью зальет, мозги потонут или там что-нибудь свихнется, безрассудство станет явным, изолируют в какую-нибудь одежку с длинными рукавами, санбенито наденут, и зелье дадут, чтобы ты волком выл, ослом кричал, обезьяной рычал. А то еще вечный этот напруг, стресс, как даст по прохудившимся нервишкам, от самых мелких до главного ствола-вагуса, что блуждает и места себе не находит, – и разовьется неизлечимая болезнь, таракан чего либо: дна желудка, или миокарда, или корня языка. А?.. Вот будет горе-то... да, тут не нарадуешься с этого голоса, до чего дальше-то докатимся... даже прекратить охота.

А вот еще вопрос: как? Боюсь думать – это последний, или за ним еще очередь скопилась, ждет. Прежде всего, «как» просто звучит неприлично, попробуйте как бы в шутку, или в отчаянии, повторить этот вопрос вслух несколько раз подряд – и убедитесь, как это комично. Тут, может быть, есть какая-то связь? Как быть? Отыскивать ее – затея сомнительная, тем более, что наконец отыскав связь между философским вопросом и фекальным ответом, навряд ли ею можно будет воспользоваться – теоретически или клинически. Лучше ее разорвать.

Бывают реальные обстоятельства, бывают малореальные, а бы-

вают не. Все зависит, какими из них разрешат воспользоваться для облегчения поисков. Образ отстоит от воплощения здесь так же далеко, как будто он созрел в голове какого-то художника-ипохондрика: тот тоже думает обо всем сразу, а рисовать вынужден по частям, вначале одно, потом другое, хорошо когда алтарь в итоге выглядит как задуман был: страшный суд – так страшный суд. А что, когда задумывался сад земных наслаждений – а получилось все равно геенна огненная? И получилось так страшно, страшнее подлинной, как говорят те, кому есть с чем сравнивать. Смысл в вопросах – вещь непрочная, незапный снег над южным морем, ночью есть, а утром нет, нечто в роде любовного приключения в далекой гостинице на берегу холодного залива... и героиня – почти школьница, и губы ее неподатливы и прохладны как этот таллинский денек, но все так сладко проваливается в груди, так томит, на нее смотреть боязно – так она хороша, высокий лоб, волосы золотистые, с проседью, сиреневые глаза, в пол-лица, до дна не достать, – и такая доверчивость, такая неистовая целомудренность, что все внутри переворачивается, ходит, слезы пробивают – мочи нет сдержаться.

А может, весь контекст похерить? И подтекст заодно? Эх, найти бы лазейку, чтоб сорваться и дать ходу, да хоть что-то решить. Обнаружить эту щель в полу, просунуться среди черноты, не чувствуя боли от острого укуса, короткого писка, не замечая парный след двоеточия передних зубов на кисти или мочке уха, не отсасывать яд; быстрее, не тратя силы на ерунду, кинуться к подземному ходу, он должен быть здесь где-то, подкоп к реке, ход и выход, сделать хоть что-нибудь! – а не менять вопросы и ответы местами, как поршни в рекордовских шприцах, на которых коричневыми буквами по нестораемому стеклу указана их главная особенность: взаимозаменяемость, подлость эта, ложноножка грязная, все обволакивающая и обрекающая застрять.

Давно уже кажется, что связи между людьми, а тем более между предметами и понятиями – не говоря уже о связи между людьми и понятиями, – кем-то выдуманы, чтобы не сказать созданы умышленно, а ведь еще недавно это казалось всем справедливо просто вздором, детским лепетом. Постепенно появились пострадавшие, и выяснилось: все точно, связей нет, потому что их не было никогда, и доказательств не требуется. Недаром их не улавливают счетчики радиоактивности, они не меняют уровень жидкости в океане, не издают шороха; лучшие сторожа не шелохнутся, глядя на них в упор. Да о чем может быть речь, когда – поспрашивайте, полюбопытствуйте в толпе! – большин-

ство ответит с негодованием и патетически, что, например, помощь в трудную минуту так и не приходит; карающую длань не удастся умолить, достается и невинным, это все с легкой руки того парня с досками; а уж если чашу кто понес кому, так и не моли, все равно допить заставит; кто создан для любви, того первого и бросают; да чего там – просто скрестившиеся случайно в трамвае взгляды его и ее – как правило именно за случайными взглядами начинается самое несчастливое скрещение, которое так никогда и не наступает, а наступает другое, дурацкое и якобы несчастливое, от которого и произрастают сторожа, функционеры, строевики и тыловики; а вот эти взгляды, дающие искру, так ничего и не зажигают, гаснут не долетев, и костер не горит, и согреться негде, и губы не дать, и руку не сжать, и не разверзнет лоно... звезда упала...

Ошибка, верно, в том, что нет никаких реалий, сплошные абстракции, как уж тут обнаружить признаки лазейки, когда этот рисователь чем угодно занят, только не тем, что может пропитание дать, накормить-напоить; даже на масло заработать не может, и чистый хлеб пощипывает, и рисует только акварелью; например, пейзажи в портовом городке, как там осень выглядит: внизу люди как куклы, вокруг чинары разноцветные разрослись, охраняющие листья славно опадают, дует ветер несильно, небо повторяет цвета пролива, протекающего тут же, неподалеку, прозрачный ароматный воздух, легко наполняющий все твоё существо, сиреневато-голубой газ такой, вроде кислорода, и все стихии так легко соприкасаются – верхняя, прозрачная, и нижняя, полная тягот и тяготений – и так живо нарисован кислород акварельными красками, да, такими недорогими, на которые еще хватило денег; потому что если живописать кислород маслом, он взорвется.

А может быть, это просто агрессия? Даже если считать вопрос «как», в смысле как бежать – решенным самим собою, потому ли, что все остальные решены единым махом или не будут решены уже никогда, да ведь это все едино; колебания в поисках решения положительного или отрицательного настроены в резонанс, а факт наличия всего явления, подобного этой вакханалии – только что совершенно исключен неопровержимо, причем только нотками, не прибегая к цифрам, смотри немного выше. Резонанс... просто тут подложили свинью: где и с чем совпадать?... просто смешно – все равно что предположить совпадения камня и птицы зимородка или какой-то пацанки, из дома убежавшей и свиста в полутьме; так и уходят последние силы...

А на что? – на решение каких-то пустых вопросов, только тебе и наболевших, остальным – праздных, да на поиски доказательств, что ранее неверный ответ – теперь верен, время родиться пришло, срок вышел, а простая логика подсказывает, что завтра он снова станет такой же грубой ошибкой, как был вчера. Чего было надрываться? Орать? Махать ручищами, пугая птиц: птицу Лямбду, птицу Сигму, птицу Док – они как раз летят надо мною без желанья меня заметить или указать мне на мое место, славные ребята... пугая рыб: скалярий или прыгучего лосося, что торопясь к нерестилищу оставить потомство просто перепрыгивает через пороги, метра на три-четыре может взлететь; а есть еще рыба с чудным именем капитан, хотя что тут чудного, я знал капитана по фамилии Рыба; есть рыба сом – мудрая, усатая, усталая, живет на самом дне вдали от всяких бредней; как тут не позавидовать искателям истины, спотыкающимся о самый низкий порог, даже о болевой, жертвам багров, сетей и бредней, но кто ж им станет завидовать...

Не надо было, ох не надо... есть, видно, какой-то всеобщий отклоняющий момент, чем дольше ищешь, тем он видней, это как дорога в горах, вырастающая по мере подъема, ты тщишься что-то найти, а он забрасывает это ворванью и палой листвой, затопляет в болотах, а то и подсовывает тебе с демонической легкой руки что-то копия то, что ты ищешь, только не из крови, как надо, а из бумаги... папье-маше... вот и сиди, уставясь на муляж... а иногда, чтобы совсем доконать, совсем наоборот – показывает тебе более, чем ты рассчитывал, как бы глубже, чем твой идеал валяется: чтоб ты уже не жаждал, а прочь несея; вместо девочки – старуху, вместо тверди – бездну, вместо чернил – желчь...

Значит все, что собирался исследовать, надо начинать с самого начала и при том иначе. Может быть, менее конкретно? Преуспевают же ищущие абстрактно...

Ничего себе, да? Ночь на исходе, туман рассеивается, жена спит как убитая, лишь изредка постанывая, сын тут же рядом в детской кроватке, нога свесилась, мерцает пятка в темноте алебастровой белизной, он спит и поет что-то про себя, чему ты его научил; а ты бежать собрался... уже совсем готов, одел исподнее, физкультурное трико поверх, красную рубашку хлопчатобумажную, пальто, берет; берешь то, что сберег: кипу бумаг, хватаешь их в охапку и уж готов лететь. А настроение у самого – хоть плачь, да ты, кажется, этого и боишься, это может плохо кончиться, сам захлебнешься и других погубишь, стоит только начать, дать им волю, отпустить, пусть идут, прикидываясь не собою, в пролив по каменным каналам, а оттуда в море, в

океан, откуда пришли; пусть перемешаются и не вздумают возвращаться, даже в ином виде... да порошки какие-то подхватил – и к окну.

Уверен, хитер, брат, что, несмотря на то, что ты все напутал, перемешал, накуролесил, разберется все же кто-то, найдется хоть один такой чудак, он разоблачит тебя, если надо будет, даже защиту твою сорвет, а, может, и разоблачит себя, и встанет под твою защиту неловкую, а, может, и того меньше, просто вздохнет. Во всем-то он разобрался, даже где-то момент силы обнаружил, сейчас его подсчитывает, на полкопейки ли он или меньше и того.

И ты уже почти в это уверовал, хотя падение началось, на лице растерянность и что-то внутри закипает легонько, но все, поздно, это уже совершенно ничего не меняет, несмотря на.

7.

Чтобы меня перестали донимать расспросами про пациенту, кто она, откуда взялась и как выглядит, я сам доложу про эту несчастную больничку.

Детскую больницу построили у нас недавно, на месте прежнего детского кладбища. Конечно, были всякие возражения, народ роптал, но все выступления были правильно расценены где нужно как нелепые суеверия и шум сам собой утих. По всем санитарным нормам кладбище уже не считалось таковым, со времени последних захоронений прошло сто-сто тридцать лет, гипсовые серафимчики, цементные ангелочки и ракушечные херувимчики давно обратились в прах, а уж про прах несчастных рахимчиков, геллочек и рувимчиков и говорить нечего, он просто ушел в землю, мелкими своими частичками пробираясь поодиночке в сторону ядра.

Здание было построено по типовому проекту дома призрения для престарелых, взятому напрокат в порту Потери, и состояло из старого и нового корпусов. Имелись незначительные особенности в работе этого госпиталя, они стали мне известны постепенно в силу того, что ради заработка я дежурил ночью на дому как фармаколог – мало ли, позвонит кто-нибудь из дежурных врачей и спросит что-нибудь очень существенное, что сам забыл: например, как называется то или иное лекарство, или каков его механизм действия, или есть ли противопоказания к применению, не таковы ли они, как показания, которыми он руководствовался, а то и попросту – где можно достать этот препарат. А я, в шлепанцах на босу ногу, легко ступаю к полке, ими у нас весь пол заставлен, внимательно

гляжу на корешки, снимаю томик, содержащий несколько тысяч страниц, чудесная книга, раскрываю по алфавиту на нужном месте и внятно читаю вслух что-либо про декокты и суспензии, а чаще всего про загадочный аспирин в таблетках, чудодейственное лекарство, что не только понижает жар у больных, но и разжижает им кровь, а это очень важно. Несколько раз меня вызывали среди ночи, присылали за мной машину, и я ездил, чтобы приложить мазь собственного рецепта, я, было время, кустарничал, рыская по кустам в горах, накальвая пальцы о ежевику и разрывая рубаху из плотной парусины о ведьмины когти, рвал волчьую ягоду, хотел добыть немного яду извести тещу; но в процессе поисков нашел траву, заговаривающую кровь, а в лаборатории в тот же день в одной из колбочек оказалась мощная мазь, получившаяся как побочный продукт, помогающая при простуде и даже спасающая от заболевания мозга. Наверное, я пришелся там по душе в этой богадельне, и меня пару раз уговаривали там подежурить бесплатно, по замене, я соглашался, один раз даже отдежурил, но потом захотелось чего-то, хотя пациенты-то мне понравились, милые ребятки, правда, все очень бледные и уходят куда-то, и все кричат, иступленно кричат, этот крик до сих пор у меня в ушах, остановить невозможно; мазь, что ли, выдумать, чтоб уши замазывать; таких воспоминаний нелегких у меня немного, три-четыре: про первый визит в анатомический театр, про первые разделанную лягушку, сердце которой пришлось подвесить, зацепив за писчик, и тот начал чертить кривую черной закопченной бумаге, наклеенной на медленно вращающийся барабан; отчего кричат они, конечно, понять трудно, и здоровому человеку это не объяснишь. За маленькими перегородками, разделившими второй этаж на своеобразные клетушки, каждая размером с обычный письменный стол, стоит по несколько деревянных кроваток, как бы недостроенных: боковые стенки выполнены из деревянных прутьев, чтобы больше воздуха входило, и за этими решетками прыгают эти козявки или лежат пластом, не в силах вымолвить ни слова. К счастью, взрослых вокруг никого нет. Специальным приказом министра пребывание родителей строго запрещено, нарушителей можно и привлечь; даже кормящим матерям положено находиться в особой комнате, расположенной по ту сторону пролива, там они сцеживаются, а молочко в особой баночке везут сюда и тут уж разливают уполовником поровну всем желающим. О некормящих матерях и разговору нет: сдала дитя, и ступай на все четыре стороны, ты уж свое дело сделала, дай-ка нам теперь. Надо признать, что многие мамы скандалят, топают ногами, днем нахально

сидят на скамейках в больничном дворике, или норовят как ужи проползти к своим деткам; подставляя сломанные ящики, заглядывают в окна палат, вдавливая свои разбухшие от слез лица в стекла, особенно ночью это производит неприятное впечатление, лучше бы уж филин прилетел, чем такое... но нам выбирать не приходится, дежуришь, и дежурь. А потом стали отмирать и другие взрослые, например, манипуляторши, это целое общество специально разученных девчонок, лет по тринадцать от силы, которые разучились делать что-то, что умели в семнадцать, чему их специально натаскивали где-то, ну, самое элементарное, вроде измерения температуры максимальным термометром – теперь они меряют ее ладонью или вообще на глаз: если бледный – нормальная, если красный – высокая, если синий – очень-очень высокая; манипулируют они также и более грозным оружием, например, иглой, но это им стали последнее время возбранять; что хорошо, так эта их вечная инфантильность, на этой работе не стареешь, многие и на пенсию уходят с соображением тринадцатилетних, ничего не наварив, но это с одной стороны, а с другого берега видна их инфернальность по отношению к тому, что попадает к ним в руки чаще всего совершенно случайно. Нет уж и этих, потому что кто-то, невнимательно прочтя приказ министра о недопуске взрослых к ребенку, решил, что речь идет обо всех взрослых и считая таковыми даже этих девчонок, проверил их паспортные данные и запретил им появляться не только в пределах города, но и в этих маленьких палатах, полубоксах, как их кто-то назвал сгоряча.

Итак, в полубоксах полупусто, матч закончен, ты идешь неспешной походочкой в поздний час ночи к себе во врачевную комнату дезординаторную, где мертвая тишина и лишь слегка урчит холодильник, перерабатывая пустоту. Дежурь я чаще, я бы знал, что прошлой ночью он был первым пристанищем для начавшего свой путь куда-то в сторону ядра тельца; спасая от жары – центральное отопление работает во всю круглый год, температура достигает тридцати семи-восьми, это помогает не так пугаться детских лобиков, случайно задетых наощупь и снижает среднегодовые показатели, бывает она и выше нуля, но это редко – потому что от жары все начинает плавиться, а стоит задача не плавиться, а плыть, и вот чтобы он доплыл в своей люльке куда пожелает, его надо охладить, он сузится и протиснется в щель между стихиями, и покинет нас, благодарно помахивая рукой, раскланиваясь за услуги, оказанные ему столь вовремя; но я этого делал вид, что не знал, хотя и принимал некоторое участие: подсказывал дежуранту по

телефону, куда жаловаться, чтобы этого тельца невинного поместили в большой холодильник, в который и положено; тот находится неподалеку, но туда надо ехать на трамвае, а среди ночи не то трамвай не удалось раздобыть свободный, не то сторож был пьян, и утерев ключи, вместе с другими хануриками веселился сейчас где-то совсем не думая обо всех нас. Да, там тихо, только изредка промарширует по полу таракан-скорпион, или капнет в углу с потолка на пол: там давно протекает крыша и даже еще до постройки здания здесь капало, думаю, что и после того, как оно рухнет, все равно это капанье будет продолжаться. Днем-то в этой комнате стоит шум, я частенько заглядываю сюда из любопытства, гам, гомон, многие произносят непристойные слова, клянут начальство, скандальных мамаш, низкую заработную плату, многое другое, едят хлеб и пьют сладкий сироп; тут немало людей, которые толкутся, орут, размахивают руками, как будто плывут куда-то на месте, топают глазами, выкатив белки, звонят куда-то по телефону, громко осуждают данные назначения, произнося отрывочные и не всегда понятные слова: антибиотики, десенсбилизация, интоксикация, аспирин, иногда даже проскакивает слово кровь, вообще непонятно к чему имеющее отношение. Среди них легко обнаружить неравное отношение людей, всеми считаемых исполнителями, их даже большинство. Эти, в сущности, милые, славные ребята, недавно после многолетней учебы закончившие исполнительский институт, вынуждены порою принимать самые серьезные решения, и отвечать за их исполнение, откуда и пошло наименование их служебности; их большинство я был назвал подавляющим. Есть еще изредка встречающийся, обычно один на весь этаж, а точнее даже на весь город и порт, более того, его может в этой комнате и не быть, когда всем давали, мы спали, и так, в общем-то и есть, сейчас его тут нет, но если бы он был, его легко было бы назвать, хотя и трудно опознать, ибо внешний вид одинаков с окружающей средой, эта мимикрия необходима ему, чтобы не отвечать за свою мимику, с которой он не может совладать; вот он сидит тихо в углу дивана, что-то кропает в бесконечном своем рулоне и ковыряет пальцем в носу. Называется исцелитель. Он-то и совершает самое незаметное, но подчас то единственно необходимое действие, которое и отличает наше ремонтное заведение от того, что было раньше на этом же месте, причем делает это чаще всего даже без особых проклятий и не очень явно: что-то бросил мимоходом спасительное, и все; не выступает он при этом не из благородного происхождения, а скорее наоборот: он, наверно, получил воспитание в какой-то воробьиной се-

мье, где считают, что вредно высовываться в окно трамвая, и прочие дешевые шутки; он потому и сидит смирно в нашей дезординаторной, словно его горб не красит, да так и есть, прикрывшись своим рулоном и что-то там чертит; все прочие проклинают эти рулоны на чем свет стоит — это специальные скорбные исторические рулоны, куда надо занести возможно большее количество звуков и букв для того, чтобы потом эти свитки свалили на чердаке, чтобы она хоть немного впитали воду, что там плещется, чтобы она хоть струей в углу не лилась, а каплями вытекала; свитки эти очень ценные и важные, там записаны важнейшие цифры и значки, все, что касается здоровья ребенка, начиная с того как отделился послед, и далее по следу: историческое описание его жизни, как он развивался, набирал вес и рост, гулил, начал узнавать маму, сел сам, встал сам, сам пошел, сколько детей его окружало в этой семье, а сколько мать выбросила, подумав хорошенько, а потом шли главы, посвященные истории настоящего заболевания, ну, там, где он познакомился с вирусом и при каких обстоятельствах, как развивалась их борьба, комментарии к этим действиям, до поступления сюда; тут обычно содержалось множество такой несусветной чепухи, что хотелось зазмуриться и не читать, но это еще не все, дальше шло описание его настоящего состояния: представляете, как долго?.. все-все, и наружные покровы, и градусник, и давление, и стул, и кашель, про каждое писалось по отдельной главе, вот где можно было разгуляться, а потом шли странные, совершенно ненаучные отступления в этой строго научной грандиозной эпопее свойств человека: например, обоснование диагноза, тут вообще от смеха многие падали под диван, или лаконичные описания ежедневного состояния дел, те были хоть и многословны, но зато изо дня в день повторяли друг друга слово в слово, так что тут можно было пролистнуть поскорее, под конец шли иллюстрации, добытые в лаборатории, назывались анализами — вещь тоже любопытная, знаете ли: сначала их даже не делали, такие они ценные, да и сейчас по месяцу ждем, бывает, дитя в холодильнике, а рулон на чердаке, а они являются из клинической или блинической лаборатории как ни в чем не бывало: вот мы, дескать, и тут... а ведь они иногда, когда взяты не в шутку и в ретортах покипели, как положено, а потом под сильный микроскоп легли, зачастую преинтереснейшие вещи могут порассказать, просто лопнуть можно от смеха. Эти грустные папирусы иногда такие толстые, что на них садятся, поставив на срез; что там пишут все наши ребята, еще никто никогда полностью не прочел, но, наверное, что-то в этом есть, раз они целыми днями маракуют там себе что-то потихоньку,

даже цветные карандаши используют; а наш-то, единственный, которого и нет зачастую, безропотно каракулирует что-то там, и не скандалит, как все остальные, молча сидит, как бы в этот момент ни о чем не думает. Но только он и думает, в этом-то весь и фокус. Не то, чтобы другие уж совсем не соображали, нет, они кумекают кой-чего, и зачастую даже неплохо, но, не в обиду им будь сказано, все это отличается по качеству как путь, проделанный на трамвае и путь, проделанный в собственном автомобильчике: вроде там и надежно, и четко, и маршрут известен, и рельсы не гнутся, и тока достаточно, а все же кто станет спорить против собственного автомобильчика, будь это даже инвалид-победа какая-нибудь: все же мобильнее, и комфорту больше, а уж если турист какой легкой — будь то фиат, или пусть даже криворожского завода комбайнчик, — то и говорить нечего: и скорость, и удовольствие, можно туда, а можно сюда, и всегда сам себе голова. Чувствуешь себя другим, и дорога это чувствует. Это все понимают. Даже заведующий этажом, грузный человек, больной сахарной болезнью, от которой мы уже всех в больничке давно вылечили, за нее мы многое ему прощаем, даже его змеиную сущность; он бы и рад избавиться от горбуна, но не знает, станет ли от этого легче, скорее, работать будет даже трудней, впрочем, он его так и так уже прогнал и пока справляемся без него, речь ведь идет о каких-то случаях, особых в чем-то, а такое бывает не каждый день, и пока не коснулось кого-нибудь из близких самого заведующего, как бы не существует во все. Основная масса вполне удовлетворена, что едет трамваем, это и дешевле, и доступнее, лишь бы доехать до маломальски приличного состояния, выехать за пределы больничного двора, а то brave исполнители и вожатый вагона всегда на чеку, и крепко держат за полу; одно знаю точно: в этой врачебной комнате, все неподкупны, причем это факт — другое дело, почему: то ли некому их подкупать, то ли нечем, то ли просто незачем, но дальше букета цветов или торта в круглой коробке дело не заходило, торт съедают все вместе во главе с вожатым, которому нельзя, а потом остатки дарятся скороканам, чей пир порою заходит далеко за полночь, а частенько и растягивается на многие годы. Хорошо еще, что в этой больничке не производят рассечения тканей, а то бы разговор принял совсем другой оборот.

В пустом коридоре ночью задумываешься, конечно, о том, почему эти детки лежат одни в своих деревянных клетках, почему их клетки вибрируют и не хотят жить обычным образом, но для понимания таких глубинных, надонных вещей, необходим особый склад ума, присущий разве что этому парнишке,

который сидит отдельно от всех или гонит что есть мочи на своем кабриолетике; обо всем этом надо думать не то что день и ночь, но это должно быть естественным времяпрепровождением серого вещества с головного конца туловища, тогда лишь возможны какие-то сдвиги; то есть мысль сама выбирает, кого посетить и кому ответить, надо лишь истинно алкать и непрестанно вопрошать, а уж дальше она, будьте спокойны, сама улыбнется одному из тыщи-полутора, словно кинозвезда, снизошедшая до любви с простым зрителем. Все располагает к разбору сложных предложений и решению уравнений третьей-четвертой степени, во врачебной комнате тихо, все ушли домой; они обычно как придут утром, начнут колготиться, проклинать, отменять, назначать, писать, стирать, целый божий день в поте лица потратят на это, а потом отопрут комнату изнутри, которую заперли, как сбежались – и по домам. Бояться, наверное, детей-то, и то сказать, много ли радости смотреть в глаза страдалец и страдальцев этих бессловесных, похрипывающих да покрикивающих. Хотя, если быть точным, об этом уже никто не думает, то есть дай бог успеть решить деловые вопросы, связанные, скажем, с добычей назначенного, в что касается тонких тонкостей, как общение с этой козлявочкой, пробное или подлинное сострадание, тут уж просто руки не доходят, спрашивать не с кого у нас на этаже и – нечего. Не то, чтобы все зачерствели... нет, все – очерствели, как бывает с хлебом, недолго пролежавшим на ветру или на солнце, ведь он же не стал от этого камнем, он все тот же хлеб, только черствый; его еще можно превратить в сухари и ого-го сколько пользы будет и как надолго хватит; они не виноваты, что все осточертело, а за осточертением является очерствение как раскаяние за обычным деянием, и тут уж ничего не изменишь, так им всем выпало на долю, и они несут свою участь даже с удовольствием, потому что она необременительна; черствея, они становятся легче и проще, они более понятны друг другу и самим себе; есть, конечно, и тут прекрасные исключения, но крайне, крайне редко...

И вот они лежат на дне своих полубоксов, затопленные тьмой, а я прохожу в полутьме и тороплюсь в гудящую тарпионами комнату, где ждет меня диван; были, конечно, и сложности, когда выяснилось, что дети будут лежать совершенно одни, и мамы возражали, и заведующий этажом как-то не очень уверенно стоял на своем, но приказ есть приказ... постепенно привыкли и к такому; мокрых или обделавшихся малышей передевали санитарки, они же научились действовать иглами, это несложно, а в разряд взрослых их не включили;

потому что их как бы всегда не хватало, в штатном расписании их единицы оказались выброшенными, и их зачисляли к нам в виде больных из старшего отделения, заводили им историю существования и мук, скидываясь по мелочи, платили им заработанную ими плату, которая порой достигала высоких цифр. Это было удобно, польза от них все же была – ведь кроме них, к больному, бывало, вообще никто за целый день не подойдет; но был и вред – они становились заносчивы, несносны, прекрасно понимая зависимость больницы от них, иногда даже грубили вагоновожатому, называя его не холощеным козерогом, не то сладкоежкой. Были дети, которые выздоравливали от одного вида такой санитарной помощницы, многие же наоборот, затяжелевали, и тогда их приходилось переводить в особую палату. Этой комнате, созданной в обход всяких приказов, а часто и в нарушение их, удалось возникнуть из настоятельной необходимости путем деления энтузиазма того умника на молчаливое потворство вагоновожатого; об этой палате ходили слухи, что там есть отдельный врач, его должность даже когда-то исполнял тот калека, что придавало ей уже некоторый ореол в глазах мамаш; есть отдельная медицинская сестра, отдельная санитарка; особые легенды сложились об этой старушке-сестре, она была легка колдунья, умела собирать мяту и выращивать волшебный цветок алоэ, причитать и приговаривать, лялькать и гопкать тех, кто шел на поправку; оплакивать тех, кто уходил куда-то; она работала в больнице еще с послевоенной поры и была хранительницей чего-то: напитается от целителя, отдаст потом следующему, проходному, как бы невзначай рассказав, что она раньше делала, потом, даст бог, еще кто-нибудь зайдет с головой над плечами присоветовать что-нибудь дельное, она и к нему прислушается; правда, ее недолюбливал вожатый за ее тайную во что-то там веру, но без нее уж совсем бы все рухнуло, причем без преувеличения, потому что наш корпус, прилепившийся к склону небольшого холма своим вторым этажом, где все и происходит, завис над ее домиком, на него и опирается; она этот домик построила сама еще задолго до нашего здания; и она, буде уйдет из больнички не по своей воле, конечно заберет с собой вместе с заговорами и приговорами и цветок алоэ, и свой дом, перенеся его в другое место – а тогда рухнет левое крыло, важное уже хотя бы тем, что там зиждилась эта самая лечильная палата. Несмотря на грозную репутацию, многие мамы, безрассудно полагая, что там есть что-то особенное, или просто есть взрослые, – втайне желали своему ребенку ухудшения, ну, не настолько, чтоб до конца, а ровно настолько, чтобы хватило на перевод

в эту лечилку, где мест было не так и много, шесть-семь. Мамаш и там нет в помине, но есть хоть кормилка для свиданий, где они вечно ставят стулья, а стбит там поставить хоть один стул, как уже не пройти; они сидят там и ждут чего-то. Кроме обычных кроваток-люлек, похожих на недостроенный карбасик, с боковинами-прутьями, там есть еще полати над батареей центрального отопления, на которых дозревают обычно недоноски, привозимые в чемадане из роддома, расположенного высоко в горах; а зачастую и фигуры, именуемые официально плодами, ибо родились значительно раньше положенного срока, еще до того, как можно было считать их недоносками; выскочили как ужаленные, волоча за собой плаценту и начали орать, а раз кто-либо закричал, значит, он родился, а уж раз родился, надо оставлять жить; плоды эти чаще всего есть плоды молодых мамаш, просто девочек, даже школьниц, те приезжают к нам из разных мест, с гнилых болот и продувных степей, для того, чтобы тайно, укрывшись в горах, разрешиться от бремени, угнетающего их, временно опустошить себя, дав разворотить свое лоно металлическими орудиями, всякими клешнями, совками, скоблilлками, от вида которых может вздрогнуть и выдавший виды мужчина, даже если он сам когда-то работал в пыточном приказе и дело свое разумеет; эти славные бременши и бременки являются и исчезают, зачастую не сказав ни единого слова, даже не назвав своего имени, то есть не в силах его вымолвить, и слезы их, выпавшие случайно и невовремя, напыляют пух-перо и серые простынки в подвалах роддома, где располагается этот вырыварий; а уж о плодах-то и говорить нечего, у них-то явно никаких имен быть не может, разве что плод любви. Или плод насилия. Таковые полати тоже изобрела ведунца наша, сообразила, смотри: эти икринки там зачастую, один на десять-двадцать, глядишь, и выживет; зайдешь ненароком поглядеть, а уж он басом галдит и уписывает за обе щеки слегка подгоревшую манную кашу, запивая ее молоком; как взглянешь на это, как зайдешься от смеха, хорошо, хоть это происходит крайне редко.

Сюда же относится и еще одна комната, где частенько можно заметить стоящего истуканом лечащего врача, суетящуюся сестру, моющую пол санитарку. Тут же стоит шкаф с медикаментами, есть даже банк крови, где стоят банки, куда налита эта непростая красная жидкая среда, ткань; драгоценная разнo-группная по четырем разделенная группам, одна другой стоит, и разнорезусная, а резус, выделенный из какой-то макаки, только один: он либо есть, либо его нет, там же стоят белковые препараты – плазма некая, жидкость драгоценная, золо-

тистого цвета, и прозрачный белок альбумин, готовый кинуться спасти кого угодно по первому зову; ох, хорошие мои лекарсточки, ох, ценные... а хорошего много не водится... их так берегут, что иногда и не успевают применить; они еще и недолговечны, как все живое. Тут же стоит круглый или квадратный стол, особый; к нему фиксируют пеленками того из козляков, кому на этот раз выпало принимать лечение. Для помощи ребенку в этой неравной баталии с возбудителем была рождена идея, по которой лекарственное вещество, чтобы действовать лучше и быстрее, должно попасть в ребеночную кровь, наполняющую красным и голубым два огромных круга обращения ее, двигаясь большей частью по особым каналам периферических и центральных артерий и вен, наполняющих всего человека, нет такого закоулка, где бы они не благодетельствовали бы окружающее, неся голубой газ дыхания и жизни к любой клетке ткани, и забирая почти черный газ болотной кислоты, вынося его вон и продолжая нелегкий труд постоянного поддержания энергичной работы существования жизни. Дальше, размешавшись в крови, оно должно нестись, сломя голову, в голову, освобождать там какие-то клеточки от тяжелой липкой паутины, густого тумана, или в сердце, чтобы оно не колотилось, не штормило, не царапало свою серозную рубашку изнутри, или в почки, продирая их каналы и трубочки наждачным порошком, отбивая шлак изнутри стенок, отламывая каменистые разрастания твердых солей. На корпускулы этого лекарства, мелкие, невидимые, как невидим планктон в воображаемой воде, все возлагают большие надежды — и лечащий человек, и колдунья, и даже посторонние, вроде меня, не говоря уже об основном страдальце или его мамаше. Бывает всяко, что уж тут скрывать. Бывает, что лекарства просто нигде сейчас нет, не завезли или не купили, или просто еще не изобрели его; бывает что действует оно прямо против того, как мы все рассчитывали; бывает, что просто не может попасть, куда ему нужно, и все! Стоит только взглянуть на все это с другой стороны, ну, изнутри, со стороны стенки вены, куда ему так срочно надо, как вся картина совершенно меняется. В самом деле, в живую, дрожащую, наполненную еще недавно вытолкнутой особой волной кровушкой, тонкую трубочку, продырявив ее живую стенку, должно влиться нечто горькое, горячее, жгучее, и как! через металлическую негнущуюся иглу, внутри полую, конечно, с острым срезом, чаще, надо сказать, бывающим тупым, иногда даже загнутым, рвущим и раздирающим все на своем пути, вместо того, чтобы легко отделять клеточки одну от другой и деликатно протискиваться ку-

да послали, бьющий, топчущий, разможающий все вокруг, ранивший соседей и просто оказавшихся поблизости случайных прохожих, и хорошо, когда попадание состоялось с первого раза, а то зачастую это занимает несколько дней, иногда три, иногда, как вы уже догадались, четыре, поле битвы усеяно тысячами трупов погибших клеточек, они проколоты, из них вышла вся душа вон, взорвана во многих местах крепостная стена оболочки, взорваны мембраны, вытекли лизосомы, рухнул изящный коттедж аппарата Гольджи, рухнули какие-то деловые здания, все залито цито или прото-плазмой, слышны крики пострадавших, команды не успевают расчищать завалы, да и об этом ли речь, когда всюду, там и сям, разгораются пожары и усиливается наводнение, начавшееся после первого толчка, не успеваешь схватиться за голову, глядя, во что превратилась оболочка, как понимаешь, что надо спасать главное, хотя это уже почти бесполезно: да, повреждению подверглось даже ядро, само ядро! — добраться до которого казалось столь же немислимо, как до ядра земли... в мелкие больнички митохондрий стекаются толпы раненых, но туда же течет и прорвавшая дамбу вода, затопляет все под самую крышу; не издав ни единого звука, гибнет целый город, формально даже считающийся государством, гибнет с достоинством, смиряясь с тем, что его гибель будет неизвестна, рушится в геенну огненную, и встречается там с другими себе подобными городишками разного калибра и с разных краев, их постигла такая же участь, они полегли в пожаре грянувших военных действий, и количество этих безымянных героических городишек исчисляется астрономическими цифрами, то есть цифрами, призванными подсчитывать бесконечные количества звезд, новых, сверхновых, отстоящих друг от друга на какие-то расстояния, которые и свет-то преодолевает с трудом, хотя движется довольно живо, каких-то карликов голубых и белых, красных и желтых, каких-то новых, сверхновых, каких-то сгустков и черных дыр, прорех в таком серьезном материальном мире, как этот; причем заведомо известно, что сосчитать то, что сотворил некий неизвестный автор, создатель этого дела, невозможно, ибо то, что возможно, не стоит создавать, а рождать нужно только невозможное, немислимое, на худой конец просто не имеющее ни начала, ни конца.

Наконец, в окружении этой злосчастной вены, в которую мы никак не можем попасть, образуются целые детские кладбища детских клеточек, огромные багровые курганы, состоящие из пролитой крови и обломков горящих империй; даже сменив иглу на новую, с хорошим срезом, блестящим на свету своим не-

ржавеющим стальным острием, мы не можем достичь цели, потому что выбрались на неверный путь, тут уж ни транспорт не поможет, ни вброд не перейти. Вот досада! Наконец-то есть реальная цель, и надо ее достичь, и подготовительный период уже позади, и смелости предостаточно, и уверенности хоть отбавляй, а она нейдет, хоть ты тресни. Хоть ты возьми да разойдись по швам – она тычется где-то возле, то на день пути слева от цели, то на два часа полета сверху, бывает, что совсем рядом промахнет, за рубашку зацепит, порвет слегка, думаешь – есть! – ан нет; бывает даже полный обман, когда, попав кончиком в кровавый могильник, игла всасывает капелюку и показывает ее окружающим: вот, мол, кажется, там я, попала... однако начав вливание, все быстро убеждаются в ошибке по тому, как разбухает окружающая среда жировой клетчатки и натягивается возмущенная кожа, исколотая уже до такой степени, что даже не вздрагивает и не сжимается, как это было в первый раз, когда ее лишали невинности; теперь же лежащую бесчувственно и бледно, словно на полу в хлеву, справедливо считающуюся неживой, после того, как над ней покружилась какая-то баба-яга с крючком, потому что одна жизнь уже в любом случае позади, а будет ли другая, сказать трудно, может и не успеет вовсе. Кожа и подкожножировая клетчатка, объединившись в чувстве протеста против этого пыточного приказа, пытаются помешать и в других местах, а не только на локтевом сгибе, где происходили чаще всего выше описанные события; они дервенеют и на кистях рук, и на сводах стоп, где венки просвечивают так заманчиво, суля скорую победу и отдых на бивуаке; даже на голове, куда, после небрежного бритья, тоже вонзается поблескивающее полое острие и начинает шарить то здесь, то там, и начинать поначалу это место, а после и другие – ошибками и отчаяньем. Остающиеся после пробных страданий точки входа-выхода этого предмета потом покрываются тонкой корочкой, заметной меньше, чем синий кровоподтек, в котором и прячется ниточка вены, скрывающаяся от нас уже хотя бы потому, что мы готовим ей насилие и даже не хотим выслушать ее; бедняга даже представить себе не может, что мы не знаем ее языка, не слышим грохота рушащихся городов; она в том же заблуждении, в котором блуждают звезды в черных зодиакальных пространствах, тем тоже неведом наш язык, а нам их, и дело тут плохо, потому что, мало того, что они разнятся, как языки живого и неживого, они еще и не поддаются разгадыванию, потому что созданы в действительности, и, как мы видим, на совесть. Конечно, порой пытаешься объяснить, но что это за

разговор... как огня с морем, как человека с закатом над проливом: спрашиваешь, задаешь вопросы – с оплаченным ответом... пробуешь, между тем, уговариваешь ребеночка, что это ему в первую очередь нужно, молишь его, иногда даже от отчаяния начинаешь заговоры твердить, обращенные к срезу иглы или к клеточкам, скопившимся по дороге к вене, но такое помогает очень редко, даже не могу вспомнить, когда такой раз был последний. А бывает так... так намучаешь и его, кроху, и вену, что уже там игла, внутри, попала наконец, а показать этого она не может. Нет сил. Спалась; слиплись стеночки и теперь делай, что хочешь, иди отдыхай или попиши там в рулончике чего-нибудь умными словами. А еще хуже того – когда начнет тромбироваться, это просто конец света, такие баррикады понастроят из живых и мертвых, и из тех, кто солдатами не рождается, что хоть караул кричи. Преграда вязкая, плотная, багрово синего цвета, внутри нее мощный каркас из сверхпрочной эластической сетки, протянутой во всех направлениях, все это дополнительно укреплено рамами и арматурой, обычно идущей на создание хрящей и даже костей; вся эта защита предельно совершенная, разрушить ее не удастся почти никогда, а если и удастся, то разрушается не только она, а и множество еще державших оборону героев; падая, она увлекает в бездну своего врага, и в поражении своем обретает над ним победу: обратная сторона образования этих баррикад – течение и вытекание крови, поэтому, неосторожно качнув эту конструкцию, скажем, дав таблетку аспирина испить, ты уж теперь не знаешь что делать, как спастись, словно выбирая, утонуть ли в начавшемся потоке или сгореть заживо в костре, разгорающемся за спиной.

Само собой, с какой стати ей помогать нам, но когда это происходит все-таки и медсестра с шумом радости переводит дыхание и славит создателя в пристойных выражениях, используя проходные слова, значащие так же мало в ее языке, как будто они сказаны на языке альфы центавра или коллагена, идущего на формирование каркаса.

Эти бесхитростные соображения промелькнули, пока я брел по коридору, а ведь можно было легко от них отказаться и уж конечно не делать столь далеко идущих выводов. Хорошо еще, мое дело сторона, дал лекарство и пошел, а есть у нас один друг, того заставили заниматься проблемой заражения крови. Вот кто повеселился!

Сначала он определил, что чаще всего в русло поступает на первых порах в скудном количестве, а затем быстро его наводит, элемент неверия. Эта форма является как бы базовой

для других, то есть этот компонент присутствует почти всегда, а дальше наслаиваются различные варианты: может высеиваться и страх, и инстинкт стадности, и суеверная боязнь радости, и с трудом прививаемое молодежи самосохранение; и ослепляющее чувство ревности или праведного гнева, и нестерпимое желание побега, и развязывающий руки голод, и отношение к родившим тебя и рожденным тобой. На первое место по силе конечно выпадала боязнь полного исчезновения, которую не могло вытравить ничто, и было ясно, что поиски противоядия заведомо беспутны и провальны; возможны были местное обезболивание, иногда наркоз ненадолго, но радикальному лечению это состояние не подлежало и отходило в разряд инокурабельных, то есть никогда не могущих быть вылеченными... А вот с остальными удавалось худо-бедно справляться, что-то просто отмирало со временем, что-то принимало не столь агрессивную форму, и страдание становилось легче, человек не замечал его в течение дня, а подчас и года. Все зависело от пациента, конечно; многие вылечивались прямо на глазах, только заслышав, что такое возможно; они-то и болели лишь потому, что так было принято, но иные терзались даже после прекращения дыхания и остановки сердца. Настоящий пациент носил это русло глубоко внутри себя, так что практически невозможно было в него взглянуть и что-то понять. Обычно там циркулировал густой настой, больше смахивающий на одиночество, чем на единственность, слабые возражения на основную тему, воспоминания с вариациями, но туманные и совершенно секретные. В дальнейшем, когда исследование легко соскользнуло в клинику и появились настоящие больные, начиненные личинками гноя, пропитавшего все их внутренности, живущего в костях, в серых клетках мозга, во всех секретах, включая самые интимные, циркулировавшего со все возрастающей мощностью и размахом, проевшим печень и подточившим сверхпрочные механизмы защиты и противодействия, начавшим неостановимое поступательное уничтожение изнутри всего того, что было так драгоценно снаружи для его владельца; испытывая на сжатие и разрыв, давая нештучнейшие нагрузки не только порознь духу и телу, но прежде всего их сцепке и сродству; там-то на перекрестке сильного микроба и слабого его нынешнего хозяина мой испытатель убедился, какое адское взял он на рычаг мероприятие. Только что все вопросы решались теоретически: ну, носил человек в себе что-то, проблемы, разочарования, надежды, а теперь это все смешалось в одних сосудах с грозной силой болезни, пополам с золотистым

стафилококком или синегнойной палочкой и составляло теперь уже смертельный напиток, как бы выпитый и начавший действовать, грозящий разнести все в клочья, что он, кстати, и делает. Как, должно быть, тяжело это знать и хозяину этих сосудов, будь он мал или велик, легче, хотя и не намного, окружающим его, а пуще всего легко создателю того и другого, его, похоже, ничем не проймешь, и даже поговорить с ним невозможно по той причине, что разнятся знаки творений и их творителей; если уж сказать до конца, до чего тот додумался, так выходило, что нет ни одной пары существ, да и веществ, что говорили бы на одном языке, и способны были бы понять один другого — но до конца. Не было двух подобных диалектов, могущих слиться в один язык, отличались они как клетки, как пальцы у людей, как звезды, болтавшиеся вверху и светящие даже после своего конца; свой у рака, свой у девы, свой у близняток; у взрослого и дитяти, у капли воды и искры огня, у молчания, у безмолвия, у отсутствия, у бытия и у небытия. И переход, которого он так страшился, совершается медленно, иногда в хронической форме, то есть начинается с рождения, еще и внутриутробно, бывает, завязывается, а кончается даже спустя многие годы в какой-нибудь необычной ипостаси: на дне его обладатель, или под травой прячется, или с дымом воскурился, а то просто согнулся в баркасе или люльке и поплыл себе к ядру земному, лениво взмахивая руками... стилем во льным...

Да, тут таилось множество коварных ответвлений, микроб мог проникнуть, к примеру, через особо прочный барьер между средой крови и средой спинномозговой жидкости и уже подле нервной клетки начинался его зловещий танец. Поначалу его приплясывания амбулаторные гости на дом, да и ближайšie к жертве соседи расценивают как простую простуду; но злодей все слышит и танцует шибче; начинаются поначалу судороги, а потом такое, что проще лечь и помереть... Вот он заполнил всю жидкость, обычно легко омывающую кору обоих полушарий и через мозжечок вниз, к конскому хвосту, прозрачный, хрустальный ликвор, равный слезе ребенка, легкий, бесцветный, каждая капля — алмаз чистый и простой — нет, все залил желтоватым как скисшее пиво, затем зеленым, вязким, густым отделяемым, похожим на гнездящееся в носу у какого-нибудь гайморитного солдата, не имеющим ни смысла ни пользы страшным содержимым, несущим уничтожение, крах целому человеку, формально считающемуся целым миром, не менее хитроумно затеянным чем астральные лабиринты или микроскопические галактики, на перекрестке которых он и возник,

устроенный мудро и значительно, венец создателя, невиданный шедевр; который вдруг надоед, и по капризу, по прихоти принято решение его погубить, причем для этого избран подлый путь, сочинено что-то склизкое, липкое, ничтожное; всех наблюдающих это дело лишили возможности вмешаться, более того: заставили стать кругом и наблюдать творимое насилие, при этом кляп во рту и руки стянуты за спину, барахтаешься в углу хлева, где творится это чудовищное злодеяние — и ни сказать, ни пошевелиться, только мычать что-то про себя и терпеть насмешки этих ничтожеств, и еще кого-то над всеми вместе, устроившего этот шабаш, вальпургиеву ночь, с чувством глубокого удовлетворения.

А бывает еще и шок! Это вообще ни в какие ворота не лезет, как только ни возмущались, куда только не писали, ничего не меняется. Болевой шок: тихий ужас. Все начинается сразу, по всем возможным системам одновременно: сошедшие с ума болевые импульсы шквальной лавиной катятся прочь от того места, где что-то случилось: укололи, скажем, руку, или, чтобы быть точнее, совершили более масштабное злодеяние: размозжили что-нибудь, раздробили кость, разорвали ткань, глыбу уронили, возможно, нечаянно даже, отсекли, прострелили, прожгли; в оглушительном грохоте, возникшем за этой лавиной, тонут возражения, спасательные команды и спасительные приказы. Тут же, как стоворились, спазмируются все мелкие капилляры, точно сгорают, сжимаются в последней судороге артериолы и вены, рушится передача драгоценной корпускулы дыхания с берега на берег, рушатся в пропасть две девочки, сжав кулачки, не дотянув руки друг к другу, не передав этого розоватого кабанчика; а ведь только там это и происходит, больше нигде этому пребывать. Почувствовав потерю, забьются в истерике клетки мозга, серые и белые, начнут поедать друг друга, метаясь в мрачных лабиринтах и рвясь наружу, воя от отчаяния, покидая с проклятиями эти гекатомбы; от накопления ядов и угнетенного ритма дыханий начнет припадать прежде легко несшееся вперед сердце, оно снизит выброс, сначала минутный, потом часовой, потом вековой, потом и сила удара его станет меньше, и всем станет еще хуже... Но даже раньше этого взбунтуется гвардия гормонов, на которых была вся надежда. С первой секунды они предадут нас. Летая словно ужаленные насмерть гадюкой, они будут носиться повсюду, изрыгнутые, как из пасти дракона, из маленьких желез, приютившихся над почкой; не находя себе места, они кинутся в сосуды, и везде, куда добросит их мутная волна паники,

отступления и отчаяния, они будут крушить, вредить, прожигать перемычки, взрывать коммуникации, казавшуюся неуязвимой ВЧ и казавшуюся нематерьяльной радиорелейную связь, все изведут и аннигилируют; на помощь им кинутся дьяволы, демоны ада, обладающие силой, с которой не может сравниться даже удар молнии, какие-то токсины, яды, одного упоминания вслух о которых достаточно, чтобы отправить на тот свет полчища еще живущих пока существ, какие-то биологические вандалы – гистамин, тьфу, черт, их там тьмы... Вот где пойдет потеха. Эти полчища гуннов усилят спазм капилляров, разорят все внутренности в лабораториях алхимии внутренней секреции, вытопчут обмен веществ, рассекут пополам на скаку, не останавливаясь, тех редких героев, что еще держали оборону в черепной коробке или в сердечной сумке, а потом прокатят по ним каменные катки; горючей смесью зальют они все сосуды, кипящей смолой, и сунут туда по горящему факелу; научившись поджигать и воздух, они сделают это в легких полях; раскрошив все лаборатории, работавшие в почках, растоптав в пыль реторты и колбочки гломерул и юкст, они испепелят корковый слой, и моча перестанет выделяться по положенным ей путям, она повернет вспять, и реки, текущие в гору, желтые ядовитые реки смешаются с кровью, и так уже почти полумертвой, горами трупов лежащей в центральных нижней поллой и верхней поллой венах, обессиленной в крупных стволах, обессточившей клетки, призванные думать, спасать, дышать, выделять и отделять; смешавшись, она выбросит свои богатства – тяжелый азот, ртуть и ядовитый камень-урат – в эту кровь, наполнит ее своим запахом, перемешается с нею и в смертельном объятии они понесутся, перескакивая через пороги, образованные то тут, то там возникающими тромбами, сорвут последние преграды, повалят их, разъедавая хрупкую гроздь поджелудочной железы, бросятся в кишечник и на всем многокилометровом пути его тонкого отдела, некогда бывшего розоватым, а теперь сине-багрового, в черных точках, начнут сочиться с его стенок внутрь просвета и всасываться снова, перемешиваясь в общем котле с мышьяком и напалмом, с тяжелой водой и начавшим уже деление атомным ядром.

Боль от этого станет еще сильней, образуется то, что лишь с легкой степенью соответствия можно назвать порочным кругом, но этот порочный круг начнет вращаться во все убыстряющемся темпе и, наконец покатится под откос, неся на себе человечка, привязанного к нему натуго фиксирующими пленками в позе, хорошо знакомой по известному рисунку одного из корифеев Возрождения, символизирующему эстетическую прог-

рамму Ренессанса: человек вчерчен там в круг, но также и в квадрат, руки и ноги разведены в соответствии с законами золотых сечений и гармоничного отношения к окружающему миру, основанному на гармонии, царящей в душе созерцателя... этот рисунок как бы намекает, что квадратура круга, как одна из возможно не имеющих окончательного решения задач – это просто ерунда, детский лепет по сравнению с той загадкой, что представляет из себя человек, созданный неизвестным творцом и столь же прекрасный, сколь и порочный, столь же идеальный, сколь и материальный, столь предназначенный жить, сколь и совсем наоборот; всего в нем довольноно.

8.

Недавно мне совершенно случайно в одной компании за бутылкой сухого красного удалось столкнуться с этим целителем. Мы были знакомы еще по годам учения; сошлись на желании взорвать только что построенную нами же анатомичку с ваннами из белого кафеля в подвале, над которыми черным кафелем была выложена латинская фраза о том, что, дескать, смерть учит живых, мол, труп – лучший учитель... ну, на первом этаже находился лабиринт учебных комнат, где гремели костями, изучая новые имена – на каждую дырочку височной кости приходилось два названия, на бугорок – два с половиной – три, итого доходило до тысячи-полутора, а всего костей было астрономическое множество, а еще приходилось изучать кровеносную систему, да нервную, да эндокринную... там же раздирались учебными пинцетами особо пахнущие коричневые люди-неподвижники, казавшиеся неживыми, каждый со своим лицом, но не имеющие названий; большей частью, старухи-безмолвницы с вылезшими седыми волосами, но попадались и молчуны-молодцы, какие-нибудь сироты-солдаты, плоды заключения или освобождения, шутники, перебегавшие площадь в один заход, минуя наличие машин; у этих людей не было родни, а были только мышцы, пропитанные сладковатым до дурноты составом и вдетый в мышцы скелет; на втором этаже зиждился музей кафедры, ее гордость, лучший на юго-западе; энтузиасты начали его готовить сразу почти после войны, матерьяла хватало с лихвой, неподалеку находилось захоронение, тогда они находились повсюду, окружая институт плотным кольцом; но работа это была чрезвычайно кропотливая, на каждый орган уходило несколько лет, необходимо было зафиксировать его в специальном растворе, раскрасить необыкновенным образом: в красный и синий цвет ниточки капилляров, в желтый – лимфатические коллек-

торы, нервы в белый и серый; все было отсепарировано с тщанием и изяществом, достойным лучшего применения; препараты трудились денно и нощно, почти не смыкая очей; на все были наклеены крохотные цифры, и к ним шла суровая нитка от указателя с латинским именем для каждой точки... таковые имена разрастались, покрывая скрижали, такие стеклянные страницы, скрытые в стеклянной же банке, целые банки имен — для легких, например, или предстательной железы, без которой мужчине как-то неловко предстать перед окружающими; между этими витринами стояли столы, где зубрили зубрилы и ловчили ловчилы, многие из них, я замечаю, пьют кефир, некоторые с черствым хлебцом, особо отважные ужинают и на первом этаже, в комнатах, где на особых столах из каменной крошки с ложбинками и дыркой в середине для стока жидкости, лежат молчальцы и молчальницы; есть и такие отважные, кто спускается для этого в подвал, держа в руках бутылку и хлебцец, и вечеряет в присутствии лежащих в ваннах неподвижников, залитых с головой слезоточивым формалином, формально могущих считаться утопленниками... слуг у нас не было, мы сами, тогда еще совсем юные, легко вытаскивали эти тела из раствора, бросали на носилки из брезента и с гиканьем тащили его вверх, где сбрасывали на стол со стоком в центре, а в конце недели, устав кромсать его и драть пинцетами, повторяли этот же путь в обратном направлении, пятясь раком;

целитель, как и я, старался там не показываться, — у него открывалась неукротимая рвота, просто как у слабака-астронавта во время увеселительной прогулки по морю, — жалко было на него глядеть... он все учил в библиотеке по журналам и учебнику привеса, шестое издание, и даже экзамен у него принимали на дому, привезя туда все необходимое, включая безмолвника, — так ему бывало плохо при одном упоминании об этом предмете. Чтобы его не укачивало так, мы решили взорвать этот корпусок, чертежи бомб взяв в сборнике архивных документов о braveй деятельности партизан в годы сражений с драконами, они публиковались открыто, и были простыми: особый состав, укладывали в гусятницу, ставили ее на газ и все заведение взлетало на воздух, а некоторые частички даже прободали атмосферу, набирая пусть небольшую, но все же космическую скорость... но в результате гусятницу мы не достали и запихали всю начинку в бутылку с кефиром, на чем и были пойманы; наш план раскрылся и только долгая неуплата профвзносов спасла нас от расправы, мы были срочно выпущены и впущены назад; такие же деяния мы собирались вершить и в других градах и весях, но весы склонялись не в нашу пользу —

там были свои желающие, и музеи чаще оказывались встроенными во что-то огромное, что было жалко портить, небоскреб или госпиталь; а мы, словно близнецы, все ходили рядом и ожидали удачи при следующей попытке.

Он не родился исцелителем, он не из целителей был, его отец был мореплаватель, но от родителя унаследовав четкое видение цели, уже ставшей для него видением, он мчался к ней сломя голову, — или хребет — выжимая все, что мог, из своего горбатенького драндулета, выданного ему в юные годы как инвалиду. В своей полусфере он умел все и знал все, круглые сутки не выходил вон из клиники, читал псевдонаучные и научные книги, выработывая свой взгляд на вещи, отделял с трудом всю шелуху и запоминал крупяцы необходимого, таким образом он постепенно превращался в кладезь, а своего ума ему было не занимать, потому что занимать было вообще не у кого; он дежурил, хотя его никто не просил, сутки напролет, а вместо сна шел в библиотеку реферировать журналы на различных диалектах фауны; возвращался домой, чтобы сменить исходное исподнее и снова бросался вперед; был чуть не год, когда он не спал, не ел и не оправлялся — только бегал, помогал, подносил, относил, замечал, отметал, записывал, отменял, ужасался, негодовал, намечал, убежал; отсутствие семьи тут очень помогало, он как бы перешел в другое немного измерение, там и законы были иные, и представления; вскоре он начал пробовать целиться, потихоньку, но за несколько лет он научился довольно sporo попадать в вену, а если это все же не выходило, то рассечь кожу слегка, где-нибудь у щиколотки, изловчившись, подловить там венку, подсесть ее и ввести эластичную трубочку, другим концом соединенную с теперь уже безвредной иглой и бутылкой, из которой капает бальзам на раны, часто он капает мимо, поэтому все прозрачные трубочки, по которым он струится, и костыль, к которому крепится, называют капельницей; дети обожают, выздоравливая, мастерить из пустых трубочек чертиков, красят их зеленой или иодом, и вытворяют всякие поделки, я даже видел золотую рыбку, ну, как живая, деву с длинными волосами и поросенка розового, окраска раствором марганцовки; хороший метод был лишь тем плох, что вену надо было перевязывать, и после изъятия катетера она медленно погибала...

А потом он научился читать, и начал отличать одно лекарство от другого, и недалек уже был тот день, когда он, наконец, понял, что одному больному можно давать аспирин, а другому ни в коем случае нельзя, и нет двух одинаковых лекарств, и нет двух одинаковых больных... как человек,

подверженный суевериям и знаменьям, он был готов заняться даже иглоукалыванием или хиромантией, но отсутствие наставника в этих многовековых вопросах смущало его, он видел себя звеном в многократно порванной цепи, даже половиною звена, элементарной частицей какого-то дела, но движущейся хаотически, наугад; однако именно по нему приходилось мерять уровень надежд каждого занедужившего случайно или неслучайно, принесенного на руках завернутым голым тельцем в первое попавшееся одеяло совершенно растеряной и ничего не соображающей мамашей, голосащей что-то на одной ноте и даже не знающей, с каким весом она родила свое дитя, и от кого, и как, и тужилась ли при этом, и были ли у нее безводный период, а если нет, то когда и как отошли воды, и если все же отошли, то куда...

Все эти само собой разумеющиеся вещи, которые нам никогда не приходится объяснять друг другу, тут приходится выпытывать, добываясь у ночи, зачем она пала на грады, а у дыма, откуда он взялся без пламя. Это простодушные умозаключения о различных кратких моментах своего повседневного пребывания за больничной стеной и под кровлей, которая протекает, часто даже чернилами, смытыми тальм снегом со свитков, плесневеющих на чердаке; не использовать ли плесень в провизорном смысле?... это горестные заметы и яростные заблуждения малоденцев, несмышленишкой одного помета, — это полезно было бы слышать не нам, к которым это и без того приварено, а кому-нибудь постороннему, кого это могло бы случайно заинтересовать; я не говорю господину министру, не дай боже, но хотя бы господину товарищу министра по вопросам жизнедеятельности; пусть он, так легко отделяющий агнецов от козлиц, ядра от плевел, жизнь от деятельности, а своей деятельностью жизни многих иных друг от друга и от того места, где они совершают переход в обратную сторону, пусть явится к нам хотя бы в виде змея и даст себе труд взглянуть одним глазом на пустые ночные каналы и полные боксы; пусть вырвет у себя один глаз, если некогда лететь и вышлет нам, мы покажем одному глазу все, что сочтем нужным, сами, утаив наиболее существовавшее, и так же авиа вернем его назад, на место; я не склонен полагать, что переменится что-либо после того, но отказать себе в удовольствии внести такое предложение не могу. Да что министр! Еще монарха призови или секача какого-нибудь! Что они, не знают, что ли?.. Они знают все не хуже, а в тысячу-полторы раз лучше, чем их покорные слуги, лучше, больше и страшнее — им доносят со всех концов необъятных побережий, и не так сумбурно и несвязно,

как мы, умеют – четко, лаконично, в порядке расследования докладывают, за душу берет... как дела обстоят все хуже и хуже, как рушится империя оздоровления, вложенная как ядро в клетку еще более великого царствия покоя и процветания; поэтому министерские замашки мы оставим пока что, тем более, что, не приведи бог, конечно, если какую-нибудь микробу случайно подцепит маленький министрик детеныш, ну, не он сам, об этом как-то даже думать неловко, а кто-нибудь из рядового служаки министерских подземелий, буфетчика или шофера... как начнут разворачиваться совершенно иные силы, и лечение, возможно, будет проходить в иных условиях, в провинции это будет даже еще заметнее, найдутся ненужные лекарства, набегут исполнители, даже целителя добудут посоветоваться, возможно, даже мать пустят, жалко, что ли; для невооруженного глаза это будет отличаться как похлебка от борща с булочкой или казенный дом от родного.

Томительна мысль о том, что от этого не застрахованы и трое моих, особенно сын моей первой жены, к которому я очень привязался за последнее время. Хотя по паспорту он пасынок, но я все больше подозреваю, что это мой сын, потому что первый брак у нее только в бумагах, на деле же она встречалась все время только со мной... просто мы собирались когда-то разменять совмещенный санузел и фиктивно развелись, а по правде мы с ней встречались еще и до брака, и вот как-то мы стояли в подъезде и вели разговор, было душно; случайно мы сочинили ему имя, а тут и он вскорости родился; а спустя пару лет мы с ней окончательно поженились – так связал нас этот нежный мольчуган. Однажды подумав, что он может заболеть, жена чуть не сошла с ума, у нее случился острый психоз, долгое время она лечилась в больничке для ненормальных, как сейчас помню, ездил ее навещать, троллейбусная остановка была прямо между больничных барачков и называлась Музей – затем ей стало лучше и мы все вместе дружно зажили на кухоньке. У меня тоже было что-то подобное, но протекало стерто; просто я старался никогда об этом не думать, не дразнить кого не надо, сидишь тихо – и сиди... а где-то поодаль есть тайник, вмурованный под дно, где хранятся запретные темы, о которых нельзя помянуть, секретны их чертежи, даже думать стараюсь об этом в крайнем случае: там, помимо того, что я тут накуролесил, лежит еще мотив романа с моей первой женой, геройское прошлое отца, воспоминание об Альгамбре, несколько муз-произведений, досье на убийцу моего дедушки, зародыш песенки, похожий в этой стадии на ту, что мы разучивали с моим па-

цаном на кораблике в ясную погоду... есть такая стадия, на которой все творения похожи как две капли воды, даже головастика от человека не отличишь...

Но есть и мамы, вот тоже публика, почище каких-то там министров, только с обратным знаком, вот кому было бы нелишне вслушаться в излияния, несомые раскаявшимся в негодном дежурантом, и если не простить его, поняв, то хотя бы подивиться, откуда он такой вообще-то выискался, не домовый ли это, свят, свят; уже прошли все сроки, когда такое могло случиться, это какой-то ужасный рецидив, нельзя было его раскрепощать ни условно, ни досрочно; ему дай волю, он еще такого порасскажет, что встанут уснувшие, лягут не спавшие, а у тех, кто наберется сил это дослушать, волосы вздыбятся, а луковичи повернутся, как в сказке, и перья начнут царапать мантию земную; он еще не все, оказывается, вскрыл, он кое-что скрыл, это ж надо, еще чего-то недопытался чего же это?

А, это воспоминание ребенка о клинической смерти; нет уж, от этого увольте — это, когда месячный-полуторамесячный вспоминает, как лежал синий, туго привязанный к лечебному столу, с капельницей в ногах и в него вливались разные лекарственные частички, одни торопились спасти то, другие сё, гормоны помогали гормонам, альбумин из банка расклеивал капилляры, еще какие-то дезагреганты подключались мудреные, но прохладные и прекрасно полезные, плазма и кровь протезировали русло, вот уже венулки, встав от обморока и едва придя в себя, потащили прочь угольную кислоту, а артериолки побежали сломя голову, таща на себе кислород, голубое дыхание к посеревшим от страха корковому слою, заходящемуся в панике в темнице черепа, от помрачения забывшему, зачем он вообще тут нужен; но все эти труды тысяч, тысяч маленьких благородных лекарственных корпускул были напрасны, напрасны; все угасало, таяло, заканчивалось, истощалось, недуг торжествовал скорую победу, и дело кончилось так неожиданно грозно, как не хотелось и верить: одновременно остановилось дыхание и замер сердечный толчок, исчез пульс на крупных сосудах, расширился зрачок и замутнилась роговица, сон разума стал становиться как бы слишком продолжительным; это был копец; колесо с распятым на нем товарищем докатилось до края и полетело в бездну, раздался тихий звон, треугольник, орган, глас вопиющего раздавался тихой, глаз вопиющего смотрел вокруг и ничего не различал, мерцали звезды, летели редкие снежинки, началась приятная прогулка не то

под водой, не то под землей, во мраке, полет какой-то необременительный, в сторону блаженства и безболития, пришедшим на смену кровопролитной схватке до полного исхода, до исхода, который начал становиться уже летальным, способным к перелету куда-то; но тут-то начали вдвухать воздух изо рта в рот, давить на грудную клетку, вводить длинной иглой прямо в сердце какую-то горькую воду и соду, и все события покатались в обратном направлении, назад, к бредовому жару, не то септическому, не то центральному, не то болевому, в ту агонию, из которой только что тело пыталось улизнуть, но к счастью не смогло... Нет, не надо нам таких воспоминаний, пусть уж рассказывает что-нибудь про кино, охоту или гастроном, только не подымается к нам сюда и не тянет из нас жилы своими разговорами; ну и что, что у него болит, — что теперь, у всех должно то же самое начаться? сам очумел, но и вас зачумлю, так, да? — нет, не надо нам этого, не надо нас дурить. Во, точно! Не надо нас дурить... пусть снашивает свои мысли на другом берегу, обдирает свои бока у других стен, стачивает свои подслеповатые глаза на другом точильном круге, других пусть ищет прослушивателей, в мореходку пусть идет лекции читать или в медучилище, раз уж так не терпится, там его как раз ждали... Да, если вовремя это не пресечь, он может и до вскрытия добраться, скрывание внутренних обсудить и всяких надежд, что гнезятся внутри, опорожнить все вместилища и святилища и выплеснуть все это нам в лицо, в лоб; нет уж, фиг с гармонией; мы и сами знаем, чего хотим, а чего боимся, не хотим мы этого, не хотим, хор поет, яду нам лучше или прочь, долой, головою в каверну, в кратер с обрыва... Вот эти мамы всегда такие, они и знают все, и знать не желают, поди им растолкуй, они все, независимо от веса, роста и окружности груди имеют что-то общее, какой-то свой особый язык, на котором не говорит больше никто, а они, вопреки общим законам об отсутствии коммуникативности языковых систем, могут общаться изредка — то между собой, то с ребенком; может быть, исключение и подтверждает правило, и уже замечено, что они используют этот язык, когда разлучены со своим чадом: например, чадо лежит в чаду полубокса, а мать на другом берегу пролива сцеживается потихоньку; стоит ему в этот миг внезапно помереть, как она несомненно вскрикнет, иногда ей будет явное видение, а иногда и ясное видение, хотя она простая мать, чего случилось с ее дитячком, и как это происходит: суетятся испол-

нители, стоит заведующий как истукан, течет что-то алое, старушка несет алоэ, санитарка тащит, упираясь рогом, кислородный баллон.

Хотя мы встретились за столом случайно, моему собеседнику нечего было мне возразить, он ведь был совершенно во всем со мной согласен, еще тогда, когда нам вместо студенческой вдруг понравилась другая скамья; мы хотели поменять предстоящий нам судный день на день судебного разбирательства, да случай миловал; да и после того, уже в бодяге внешне самостоятельной работы мы убедились в полном тождестве случайного и закономерного, случившегося наугад с полагавшимся по приговору... скоро нам опостылела эта вольная борьба за существование.

Чтобы показать, что он не сердится на меня, он рассказал о своих задачах, решая которые он вынужден был бросить больничку, вернее, его очень кстати выгнали за неуплату членских взносов; он решил переходить в науку, словно узнав, что меня в последнее время все подмывает ее оставить и ринуться в клинику; он теперь сидит у себя в автомобиле, и пишет целыми днями, лишь изредка вырываясь покурить и справить нужду, одновременно три большие работы, в каждой из которых давно назрела нужда в нашей неисправимой бесплодной науке. Первая работа посвящена вагусу – блуждающему нерву; он внезапно обнаружил у людей блуждающий нерв, способный урезать или учащать пульс, производить поиски ответов на вопросы, разогревать на газу остывшие нейрончики, пить напропалую, в случае любви пылко кидаться в ноги, ночами простаивая с виолой да гамба через плечо под окнами небоскребов, в случае тоски затаиться, беречь силы, помогать при отправлении различных церемоний, включая секретные, прибавлять надежду, даже со дна самых горьких событий; что-то перемалывать в крупорушке дряхлеющей души, что-то перемалчивать, что-то разбивать вдеребезги без жалости и раздумий; не связанный административно с верхами, он все же имел там представительские ядра, рассыпанные то в продолговатом мозгу, то в водопроводе, то на мосту варолия, он был замешан во все, а делал вид, что действует бессознательно. Плодотворная идея этой работы задела и меня, но тут была опасность, что она улетучится так же внезапно, как возникла, и, что еще скорее, язык, который она избрала для того, чтобы изъясниться, может оказаться мне неведом, а, буде и разгадан и влит в авторскую речь, так исказит ее, что на выходе будет уже полной тарабарщи-

ной для тех, кому адресован от всего сердца. Эта же опасность подстергала и его, и горячее сочувствие, выраженное мною, кажется, его несколько ободрило; как обезьянка, он улыбнулся, почесав курчавую бородку и прекратив важничать. Вторая шутейная работка, которую он затеял, касалась нешуточной проблемы, по сравнению с которой первая могла показаться детским лепетом; она еще не имела заголовка, потому что жизнь заголовков не дает, это удел критиков и бакалавров, а там редко встречаются благородные люди, все больше щелкоперы да тугодумы. Суть этого исследования в том, как сообщить матери о смерти ее ребенка. Тема это сложная, богатая, раньше не разрабатывалась, поначалу он даже пробовал решить ее в музыкальном ключе, но, истерзав фисгармонию, убедился, что это только отвлекает от работы, а лучше старых мастеров не напишешь; тем более, что речь шла об истинном горе, а оно безмолвно, и приходилось внедряться в столь великую тайну, что просто голова кругом шла, даже укачивало. Он решил действовать поступательно: первая глава называлась «молоть языком» и была посвящена не лингвистическим открытиям, а просто констатировала различные наборы слов, произносимых в подобном случае тем, кому трудно позавидовать, она носила характер классификации: перечислялись наборы – рекомендуемый, обязательный, дневной, ночной, столичный, украинский, безбожный, божный, соболий и многие иные; впечатление, конечно, было гнетущим, потому что слова в каждом наборе были одинаковые, менялась скорость, порядок и эмоциональная окраска; простота этой главы была в том, что все освещалось от исходного, автор как бы нападал – или оборонялся, не важно, настроение у него было как в бою. Вторая глава была короче и называлась «подтекст»; в контексте этой главы содержались слова те же, что и в первой, совпадали даже звуки и знаки препинания, но плюс к тому уже появился подтекст, особая подоплека, может быть объясняемая простым умножением на два: капля, взятая из моря, прозрачна, а стакан морской воды – фиолетов, и сиренев, и черно-зелен, взятый из шторма, и такие там цвета есть, что даже слов не сыщешь в этом на потеху скроенном языке, которым суждено было наградить нас, чтобы удобнее отличать живое от неживого, говорившее от того, чему это и не нужно было никогда. Третья глава была самой осторожной и сложной, она называлась «реакция», и была посвящена другому миру, относящемуся к нашему так, как то место, куда попало ее дитя – от того, откуда только что отчалило. Эта глава еще и не была написана даже –

мешала боязнь воплощения замысла и отсутствие времени и прозрений, необходимых в работе над этой главой. В эпилоге ставились ребром все вопросы, какие можно было придумать, и зная, что эффективность закрытого массажа сердца зачастую пропорциональна количеству сломанных ребер, я самыми горячими восклицаниями заверил своего друга, что не сомневаюсь в издании этого секретного труда и революционном его значении для всего академического сектора. О третьей своей работе он долго не хотел говорить. Было ясно, что тут кроется некая тайна, или ему просто стыдно в этом признаться. Но под конец вечера, когда уже стало ясно, что наступит ночь, кисель и каша были съедены и даже сырники постигла та же участь, он сдался и рассказал мне то, о чем я и сам догадался без малейшего труда еще тогда, когда он упомянул о нашем прошлом. Конечно, он хотел сочинить песенку, короткую как жизнь сома, мудрой усатой рыбы, говорящей редко и по существу, тем более, что жизнь сама подсказывала необходимость такого поступка, кроме того слова «сóма» означало по латыни «тело», многие болезни именовали даже соматическими, а все, что касалось до этого, он знал назубок, и надеялся, что уж тут, на своем поле, он наломает рога врагу, выиграет с разгромным счетом; нервно блуждая по комнате, натываясь на стулья и книжные полки, на которых располагались закуски, вино и ноты, он возбужденно открывался мне в своем самом сокровенном желании. Но и тут дело было плохо: получалась или какая-нибудь молитва, причем сочиненная уже давно и не им, или какое-нибудь фатальное полотно, недостойное подражание читаному и пережитому ранее. Ранние его опыты хранились в отеле Ранна, на окраине Таллина, на берегах залива, сообщающегося с северными морями, и наверное, погибли, нанеся ему незаживающую рану, они были спрятаны в подушку, и там их наверняка приспал какой-нибудь отпускник, и как истинный исследователь, жалеющий пропавший труд, даже если он был бесполезным, не очень значительным, все же он вложил всего себя, с кем-то тягался, как-то пытал свой язык, а страсти, освободившиеся при этом смог обозначить лишь маловразумительными заколючками, не разберешь, до это или ре, какая длительность, да что за тональность, а он все бережет вязкую глину своих соображений и норовит испечь из этого еще что-нибудь необыкновенное... а теперь это среди пуха и перьев в не свежей наволочке, а номер окнами на залив, там все продувает, и там север, а не юг, и вода ледяная, и хоть они и

сообщаются между собой, но вряд ли сольются, придется по суше пилить, а отпуск короткий, едва пол дороги протопал, как уже пора назад возвращаться, а как хочется туда... там же что-то родственное лежит и еще, может, не до конца утрачено, что-то звучит там – что же, пенсии ждать, чтоб поехать разве...

Приблизительно с третьей главы второй работы я почувствовал, что к этому невзрачному человечку у меня возникает особая приязнь, а уж когда он признался мне насчет последнего, так и вовсе родство; но памятуя горький опыт взаимодействий родственной силы, я воздержался взлелеять это чувство: никого мы не терзаем, как ближайших к нам, никого мы не покидаем, как только наидрагоценнейших для нас; и никто не может причинить нам горшкую утрату, покидая нас, как те, с кем мы сроднились по кровному или безмолвному принципу. Нет, само случайное совпадение порадовало меня, пусть неожиданно, но приятно обнаружить единомышленника, чего бы это ни касалось – фенологии или френологии; но дружество вещь непрочная, как родство: повезет – и уцелеет, а вообще, от нас не зависит, не то, что женитьба или бег по утрам с оздоровительной целью. Не высказывая ему этих, довольно плоских, соображений, я дал понять, что разделяю его тревоги, как и свои, разделяю, но властвовать ими не в силах, а об опасениях умолчал – стану я ему рассказывать про свои тайны... или про что там еще... Нет, мы с ним не найдем общей темы: он обожает спорт, а я его ненавижу, он завидует силе, а я ее презираю, от кастета до раком летящего эта, от полчищ, нацеленных на меня, дрожу, прикрываясь газетным листом, а он вообще их не читает, он совершенно не чувствует, как все вокруг излучает опасность, эти лучи, под ура покидающие уран, он совершенно не замечает, точно никогда не смотрел телевизор, с газетой встречается только по нужде, и забыл с утра взглянуть на истощенный календарь, болтающийся у него под задним сиденьем вместо чертика. Грубая работа. Превыше всего он ценит это свое сидение, и реагирует набором пар: наука должна быть научной, а скука – скучной, слезы – горячими, небо – мыльным, отверстие – отверстием, речь – речной, грань – площадной, площадь – бесплощадной. Так получалось у него. Чтобы остановить эту вальпургиеву течь, мне пришлось в голову обнять его крепко и как бы в шутку придушить. Это дружеское пожатие должно было вернуть нам воспоминание о былых годах, когда его ласково называли туристом, а мы жили на одном кефире и хлебе черством и ничего не хотели вза-

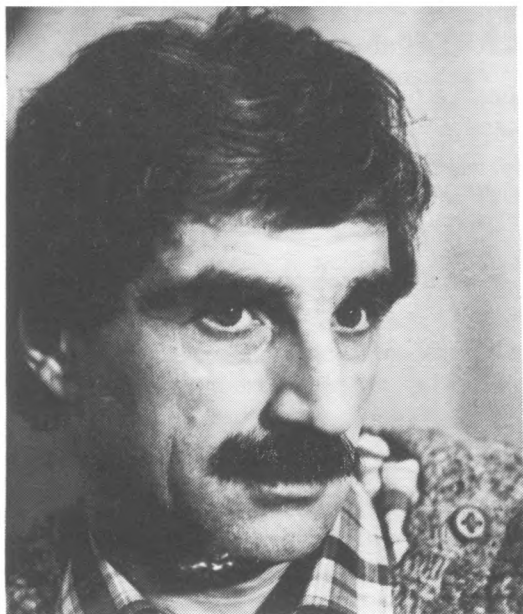
мен. Наша встреча подходила к концу. Чтобы выпить чего-нибудь напоследок, я послал его стогнать в гастроном, но он застрял там надолго, и я как бы прозревал его, сдавленного толпой, способной даже горб ему исправить, если, конечно, сжать хорошенько, не жалея; я между тем остался один, скучая, что не услышу от него рассказов про ловлю сетями, которой его обучали недавно; сидя в маленькой кухоньке за столом, я вдруг обнаружил поодаль свою новую семью, смешанную со старой, и испытал вдруг такой приступ отчаянья, что могу их всех потерять в одночасье, и совершенно беззащитен перед роком, как и они, как и любой человек человеческий из трех-четырех миллиардов, что, не выдержав этой боли, начал вначале скулить, потом скрежетать зубами, потом не выдержал и слегка всплакнул, а потом меня как прорвало, и слеза пошла сплошным потоком, все, что стояло вокруг, начало наполняться штормящей соленой сиреневой водой, вкусом и запахом водорослей напоминавшей морскую, вот вздыбился паркет, вот поплыли книжки и бумаги, вот треснули и начали выдавливаться окна, погас свет — наверно, залило розетки, отключился и перестал ворчать холодильник, захлебнулся ежик, метавшийся под столом, поплавал, и всплыл; я сам уж не знал, что делать — грозилась утонуть и дети, и жена, и теща, которую я хоть и не жалел никогда, но не собирался топить по-настоящему; в панике я начал поглощать порошки, что были под рукой, попытался заклеить веки клейкой лентой, но они были подняты, как назло, их не удавалось сшить суровой ниткой и цыганской иглой, доставшейся мне от бабушки, я не мог не видеть, и понял, что выхода нет: подошел к окну, распахнул его; из окна шквальным потоком хлынула вода, унося вниз многое из того, к чему я привык, а я, брошенный в это случайное плавание, уже собирался в обратную сторону, хотя, вертясь в колесе, трудно понять, чем отличается начало от окончания; я распахнул легкое пальтишко, купленное по случаю за сто тридцать рублей и верно служившее мне долгие годы, подошел к краю кухонного окна, взглянув с шестнадцатого этажа вниз, где блуждала соседка, предчувствовавшая что-то неладное, и шагнул вперед.

В этот момент мне пришла в голову бесхитростная песенка, несложная, быстро запоминающаяся, легко летящая и могущая принести ее сочинителю то, за чем он ее послал; короткая, такой бы позавидовал любой охотник, рыскающий за ней зачастую в течение всей жизни и надеющийся обрести, пусть даже

в последнюю минуту; как способ стирания различных тел простая сама; а какой в ней был мотив... и слова пронзительные.

Я похлопал себя руками по карманам, так что со стороны могло показаться, что, начав лететь из окна, я собираюсь сделать это не вниз, как положено, а вверх, точно я какой-то предмет, могущий набрать необходимую скорость и дать делу... но это впечатление, как и любое другое, было ошибочным.

Просто я искал карандаш и бумагу, чтобы записать явившееся мне, хотя и отдавал себе при этом отчет, что могу не успеть.



Игорь ИРТЕНЬЕВ

«ПОВСЮДУ СМУТА И УМОВ БРОЖЕНЬЕ...»

ГОРОДСКИМ ПОЭТАМ

Люблю я городских поэтов,
Ну что поделаешь со мной?
Пусть дикой удали в них нету,
Пусть нет раздолжности степной,
Пусть нету стати в них былинной,
Пусть погран дедовский завет,
Пусть пересохла пуповина,
Пусть нет корней,
Пусть стержня нет.
Зато они
В разгаре пьянки
Не рвут трехрядку на куски
И в нос не тычут вам
Портянки,
Как символ веры и тоски.

КАМЕЛИЯ

Женщина в нарядном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке?

Ты стоишь, как кукла разодега,
На ногтях сверкает яркий лак.
Может, кто тебя обидел где-то,
Может, кто сказал чего не так?

Почему пошла ты в проститутки?
Ведь могла геологом ты стать
Или быть водителем маршрутки,
Или в небе соколом летать.

В этой жизни есть профессий много –
Выбирай любую, не ленись.
Ты пошла неверною дорогой
Погоди, подумай, оглянись.

Видишь, в поле трактор что-то пашет,
Видишь, из завода пар идет.
День за днем страна живет все краше,
Неустанно двигаясь вперед.

На щеках твоих горит румянец,
Но не от хорошей жизни он.
Вот к тебе подходит иностранец.
Кто их знает, может и шпион.

Он тебя, как личность не оценит,
Что ему души твоей полет?
Ты ему отдашься из-за денег,
А любовь тебя не позовет.

Нет, любовь продажной не бывает,
О деньгах не думают, любя.
Если кто об этом забывает,
Пусть потом пеняет на себя.

Женщина, в нарядном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Не торгуй своим ты больше телом
От большого дела вдалеке.

ПОХВАЛА ДВИЖЕНИЮ

По небу летят дирижабли,
По рельсам бегут поезда,
По синему морю корабли
Плывут неизвестно куда

Движенье в природе играет
Большое значенье, друзья.
Поскольку оно составляет
Основу всего бытия.

А если в процессе движенья
Пройдешь ты, товарищ, по мне,
То это свое положенье
Приму я достойно вполне.

И чувствуя вдавленной грудью
Тепло твоего каблука,
Я крикну: "Да здравствуют люди,
Да будет их поступь легка!"

НЕВОЛЬНОЕ

Я Аллу люблю Пугачеву,
Когда, словно тополь стройна,
В неброском наряде парчовом
Выходит на сцену она,

Когда к микрофону подходит,
Когда его в руки берет
И песню такую заводит,
Которая вряд ли умрет.

От диких степей Забайкалья
До финских незыблемых скал
Найдете такого едва ли
Кто песню бы эту не знал.

Поют ее в шахтах шахтеры
И летчики в небе поют,
Солдаты поют и матросы,
И маршалы тоже поют.

О чем эта песня не знаю,
Но знаю — она хороша.
Она без конца и без края,
Как общая наша душа.

Пою я, и каждое слово
Мне сердце пронзает иглой.
Да здравствует А. Пугачева,
А все остальное — долой!

* * *

Ах, отчего на сердце так тоскливо?
Ах, отчего сжимает грудь хандра?
Душа упорно жаждет позитива,
Взамен "увы" ей хочется "ура!".

Повсюду смута и умов брожение.
Зачем, зачем явился я на свет —
Интеллигент в четвертом приближеньи
И в первом поколении поэт?

Безумный брат войной идет на свата,
И посреди раскопанных могил
На фоне социального заката
Библиофила ест библиофил.

Быть не хочу ни едоком, ни снедью,
Я жить хочу, чтоб думать и уметь.
На радость двадцать первому столетию
Желаю в нем цвести и зеленеть.

Неужто нету места в птице-тройке,
Куда мне свой пристроить интеллект?
Довольно быть объектом перестройки,
Аз есмь ея осознанный субъект!

Москва

Анатолий ГАВРИЛОВ

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОЙ ЖИЗНИ

Повесть

В нашем городе очень развита тяжелая промышленность. У нас крупнейшие домны, мартены и прокатные станы. Много героев труда. Имеются клубы и стадионы. С продовольствием хорошо. К нам за колбасой приезжают из соседних городов.

С матерью и старшим братом я живу на окраине города, в поселке Шлаковом. Это большой и крепкий поселок. Многие имеют машины и мотоциклы. Питаются и одеваются хорошо.

Мы живем в просторном, но еще не совсем законченном шлаконабивном доме. Имеются куры, сарай, огород. Отец три года назад убит в поселковой драке, мать работает на водокачке, брат – в какой-то конторе, а я сдаю последние школьные экзамены и готовлюсь к новой жизни – на весенней допризывной комиссии я подал заявление в военное юридическое училище.

Влечение к юриспруденции я ощутил где-то в пятом классе. Я уединялся на чердаке и устраивал там всевозможные судебные процессы над всевозможными преступниками. Одних я оправдывал, других приговаривал к различным мерам наказания, а наиболее тяжелых выводил за уборную, где и расстреливал.

За день иногда набегало так много расстрелов, что ночью было страшно выйти по нужде.

Позже я стал разрабатывать юридические законы для космического пространства и разработал таковых уже довольно много.

Я хочу стать юристом государственного значения.

Как наша мелкая и мазутная Пиявка где-то впадает в море, так и жизнь моя скоро волеется в океан государственной жизни.

Мать радуется моей мечте, всем объявляет, что скоро я стану прокурором всей страны, однако от домашней работы не освобождает: приходится и огород поливать, и огурцы на рынок возить, и курятник чистить...

Брат же по дому делать ничего не хочет. Вечерами либо в город уезжает, либо лежит на диване.

Он ухмыльнулся, когда узнал о моей мечте.

Посмотрим, брат!

Сдан последний экзамен. Сдан отлично! Мне удалось увязать законы диалектики с Юриспруденцией и Космосом! Меня поздравили и сказали, что меня ожидает блестящее будущее!

И грустно, что школа уже позади, и радостно, что впереди — Новая жизнь...

Жара, пыль, мухи. Завтра — выпускной бал. Подготовка. Тренировался на чердаке танцевать и произносить речи. Волнение.

Мясо, колбаса, овощи, фрукты, конфеты, печенье, торты, сидро, вино, музыка, танцы — все было на бале. За столом мне удалось сесть рядом с Т., которая мне всегда нравилась и которой я намеревался в этот прощальный вечер объявить об этом. Сначала я чувствовал себя несколько скованно, но постепенно разошелся, стал говорить о Юриспруденции и Космосе, и я видел, что мои речи не остаются без внимания со стороны Т. Это возбуждало, и я заявил ей, что в моем юридическом будущем найдется место и для нее.

— Это замечательно, это — прекрасно! — сказала она.

Голова кружилась. Я поднялся и предложил тост за любовь. Меня поддержали.

— За любовь! — воскликнул я, обращаясь к Т.

— За любовь! — ответила она.

Я был счастлив.

Но когда начались танцы, она ушла к Д. и весь вечер протанцевала с ним. Танцевали они слишком вольно, я бы сказал — похабно, и я решил покинуть это развратное пьяное общество, и пошел домой, но вернулся: а вдруг Т. уже не танцует с Д? Но они продолжали танцевать, бесноваться, и я вторично покинул бал, и снова вернулся. Теперь я увидел их в коридоре. Они стояли в темном углу, тесно прижавшись друг к другу. Тогда я вошел в зал и объявил, что у меня имеется для всех сюрприз, а именно: мой родственник работает завгаром, и я договорился с ним относительно автобуса, который сейчас подойдет к школе и на котором мы имеем возможность отправиться в заповедник Чистые ключи, где встретим свой первый рассвет Новой жизни.

Все закричали "ура" и бросились качать меня, и чем выше я взлетал, тем страшнее становилось мне, так как никакой договоренности относительно автобуса у меня не было.

Мне стало плохо, и очнулся я уже днем, в школьном туалете, среди мух, нечистот и жары...

Ладно, не нужно об этом думать. Все это ерунда по сравнению с тем величественным и грандиозным, которое ожидает меня в будущем!

Но и они хороши! Бросили одного в туалете!

Разработка закона об уголовной ответственности за оставление броющего в туалете в условиях космоса.

Ничего, все они когда-нибудь выйдут меня встречать с цветами, флажками и моими портретами.

Жара, пыль, мухи. Работа по дому и подготовка к экзаменам в военное юридическое училище.

Нужно интенсивно готовиться к новой жизни. Нужно срочно овладеть благородными манерами и речью. Нужно научиться правильно сидеть за столом и красиво принимать пищу. В экстренном порядке нужно избавиться от произношения глухого украинского "г". Избегать просторечия и грубых слов. В новую жизнь нужно войти максимально благородным человеком.

Позвольте, пожалуйста, будьте добры, не желаете ли, не угодно ли вам, не стоит благодарности, собственно говоря, в соответствии с вышесказанным, прекрасно, замечательно, красной нитью, , во избежание эксцессов, кворум, до встречи, Галоши, Галька, Галоп, лГун, лаГуна, боГ, Гранит...

Жара, пыль, мухи. Чистка курятника. Вонь, перья, пух, помет, вши. Мать проверяет, чтобы не осталось ни одной соринки. Она стремится содержать курятник в более чистом виде, нежели дом.

Ничего! Когда-нибудь скажут: он был не только выдающимся государственным деятелем, но и не гнушался чистить курятники.

Земля лопается, огород горит. Поливка огорода утром, вечером, ночью. На улицу почти не выхожу. С одноклассниками стараюсь не встречаться. Стоял у калитки, наблюдал закат солнца за бройлерной фабрикой, вдруг увидел, что по улице идет Т. Быстро ушел во двор.

Ничего! Когда-нибудь у меня будут самые красивые и умные женщины!

Раннее утро, мешок с огурцами, автобус, рынок.

Битва матери в автобусе и на рынке за лучшее место.

Брат ночью пришел с какой-то женщиной. Они сидели под навесом, курили, пили вино. Спал плохо.

Вечером пошел к Р. и В., с которыми когда-то поддерживал дружественные отношения. Они уже закончили свои ПТУ и сейчас работают слесарями на металлургическом заводе. Ребята они, возможно, не очень глубокие, но спокойные, с поселковыми хулиганами связей не имеют.

Они сидели на лавочке у дома Р. Приняли меня вполне хорошо, спросили, правда ли то, что я хочу стать прокурором, на что я ответил, что определение "прокурор" слишком узко, а я готовлюсь к более широкой и глубокой юридической деятельности, связанной с Космосом.

Они говорили о рукавицах, которые им не выдают на работе и без которых нельзя работать. Я посоветовал им обратиться по поводу рукавиц в обком или ЦК. Вечер прошел в обстановке дружбы и взаимопонимания.

Ничего, Р. и В., не грустите! Когда-нибудь я назначу вас директорами крупнейших заводов!

Мать и соседка у забора обсуждают поселковые новости. Я поливаю огород, слышу их разговор и думаю: неужели окружающая жизнь состоит только из негативного? Неужели им не скучно говорить лишь о негативном? А где позитивное? Где высшие устремления? Где, в конце концов, поэзия жизни? Что вам нужно, товарищи? Вам хочется колбасы — пожалуйста, она у нас есть! Вам хочется культуры? Идите в библиотеки, в кинотеатры, в клубы! Вам самим хочется делать культуру? Пожалуйста — записывайтесь в кружки, рисуйте, вышивайте, выжигайте, лепите, сочиняйте, пойте, танцуйте! Вам не нравятся недостатки? Боритесь! Вам хочется в другие города и страны...

— Мне ничего не хочется! — отвечала мать. — Мне хочется, чтобы завтра пошел дождь и чтобы куры неслись хорошо!

Вот вам и вся философия! И многие люди нашего поселка подвержены этой философии: только мое, только мои куры и огород!

А страна? А мир? А Космос?

Жара, пыль, мухи. Тайком от матери ел в сарае прошлогоднее варенье, доставая его из трехлитровой банки куском картона. Вдруг вошел брат.

— Жрешь, юрист? — усмехнулся он.

А в чем, собственно, дело? Почему он так? Разве будущий юрист не имеет права любить варенье?

М. дали срок за хищение оцинкованных труб. Разработка закона об уголовной ответственности за хищение труб в условиях Космоса.

Р. и В. продолжают говорить о рукавицах.

Нужно иметь идеалы, мечту, и тогда вопрос рукавиц не будет главным вопросом жизни.

Чистка курятника. Проклятые куры! Недавно чистил – и снова нагадили!

Избегать грубых слов и эмоций. Видеть прекрасное.

Битва матери на рынке в очереди за весами.

Драка у пивного ларька. Кого-то били ногами...

Я приеду сюда инкогнито, в загримированном виде, пойду к пивному ларьку, возьму кружку пива и сяду прямо на землю. Кто-нибудь обязательно ко мне привяжется, станет называть меня ослом, вонючкой, гнидой, пидором, станет плевать и мочиться в мое пиво, и тогда я выну именную пистолет, инкрустированный золотом и драгоценными камнями...

Проклятый огород! Чем больше его поливаешь, тем больше он сохнет!

Избегать грубых слов и эмоций. Нужно учиться в любой обстановке видеть прекрасное...

Брат и какая-то красивая женщина. Где он их берет? Почему он не женится? Прогулка по берегу Пиявки. Когда-то в ней купался весь Шлаковый, когда-то здесь мы втроем устраивали свои ВЛОИ – Всемирные Летние Олимпийские Игры: кто быстрее разденется и прыгнет в воду, кто дольше просидит под водой, кто дальше плонет и т. д. – теперь же здесь совсем безлюдно, шелестят ржавые камыши, по воде плывут мазутные пятна... Зной, тишина, пустота...

Когда я стану человеком государственной важности, я сделаю Пиявку чистой, глубокой, полноводной. Я одену ее в гранит и мрамор. Я соединю ее с крупнейшими портами страны и мира.

Жара, пыль, мухи.

Мать никогда не жарит и не варит яйца – все на рынок, все на продажу.

Приходится тайком пить яйца в курятнике.

Не фиксировать свои мысли на таких мелочах. Стараться думать о высоком, значительном, благородном. Стремиться к прекрасному.

Посетил городскую художественную выставку: портреты героев труда, домны, мартены, прокатные станы. После осмотра выставки оставил в журнале благодарственную запись.

Ходил в магазин за хлебом и сахаром. Подвергся нападению со стороны хулиганов. Домой пришел без хлеба, сахара и денег, в грязном виде.

Чердак. Судебный процесс над поселковыми хулиганами. Расстрел наиболее злостных за уборной.

Утром вышел по нужде и обнаружил нашу уборную лежащей на боку.

В чем дело? Может быть, ночью был ветер?

Брат отказывается помогать мне восстанавливать уборную.

– Ты за нею производишь свои казни – вот и ставь ее сам, – ответил он...

Вонь и черви уборной.

Подготовка к экзаменам, разработка новых законов для Космоса, борьба с глухим "г", поливка огорода, рынок.

Р. и В. говорят уже не о рукавицах, а о том, что нужно изготовить кастеты из алюминия или эбонита.

Опасные устремления!

Их образ жизни есть следствие отсутствия высоких целей и благородной мечты, а нужно ставить перед собой максимальные задачи и добиваться их.

Куда-то пропала одна из наших кур. Поиски, следствие, размышления. Попытка установить местонахождение методом дедукции.

– Херукии! – закричала мать. – Иди искать!

Ходил на пустырь, в известковый барьер, в овраг, на свалку – безрезультатно.

Попытка допроса соседа М. по поводу пропавшей курицы кончилась неприятным эксцессом: М. ударил меня ногой в заднее место...

Судебный процесс над М. Приговор: два года принудработ на рудниках Урана.

Мать сидит на лавочке под навесом и причитает о пропавшей курице:

– Ты ж моя хорошая! Да зачем же ты ушла? Да что ж тебе не жилось у меня? Да разве ж я тебя когда-нибудь обижала? Да разве ж я когда-нибудь выщипывала твои перья? Да ты ж у меня была самая спокойная! Да ты ж у меня была самая умная! Да ты ж у меня была самая несучая! Да на кого ж ты меня покинула? Да где ж ты теперь лежишь? Да где ж ты закрыла свои глазки? Да что ж я теперь без тебя буду делать?

Жара, пыль, мухи. Р. и В. говорят о кастетах. Огурцы кончаются, но зреют помидоры. Земля лопается, вода бесследно исчезает в трещинах земли. Зола. Растет гора куриного помета. Сидеть за столом ровно, не расставляя рук. Говорить стараться

четко и властно. Уборка угольного сарая в преддверии привозки нового угля. Угольная пыль, паутина. Сарай граничит с соседским двором. В щель сарая видно, как соседка что-то стирает в тазике. Платье высоко задралось. Дрожь. Не нужно смотреть в щель. Отойти от щели. Бороться с влечением к щели. Борьба с низменными побуждениями и чувствами. Щель отвлекает от высоких мыслей и чувств. Бороться и побеждать. Бороться, побеждать и снова оказываться у щели. Карбофос, хлорофос. Тюрьма на луне. Закон о тюрьме. Спиральное общество. Ведро вишен на варенье, три – на рынок. Битва на рынке за лучшее место. Толпа, зеваки. Ссора матери с соседкой через забор. Ссора по поводу того, что я застигнут матерью у щели на коленях. Позор. Муха в борще. Брат где-то болтается. Участковый Улот. Жара, пыль, мухи.

Уже вторую неделю дует восточный ветер. Все горит, дрожит, плавится. В раскаленном воздухе сверкает угольная и стальная пыль. Брат за обедом сказал, что в нашем городе началось строительство еще одной доменной печи – крупнейшей в Европе. Он сказал, что скоро нас здесь совсем удушат. Я ответил, что нельзя быть пессимистом, что в ближайшем будущем все заводские трубы будут оснащены самыми эффективными фильтрами. Он ответил нецензурным словом. Я заметил, что его ответ есть нечто иное, как грубость характера и следствие отсутствия позитивного начала. Он плеснул мне в лицо борщом.

Думаю, что он не прав. Дело вовсе не в борще, хотя и данный факт можно инкриминировать, а дело в другом, в более существенном – дело в отсутствии какого-либо позитивного начала, а это уже гораздо более существенно, нежели борщ.

Разработка закона об ответственности за выплескивание борща в условиях Космоса.

Р. и В. приступили к изготовлению кастетов из эбонита.

Не думать об этом. У каждого своя дорога. Посетил городской театр. Посмотрел пьесу о сталеварах. По окончании спектакля хотел лично высказать артистам и режиссеру благодарность и некоторые свои замечания, а заодно и поговорить с интеллигентными людьми, решил пройти за кулисы, но запутался там и оказался в каком-то захлапленном подвале, выбравшись из которого, уже в коридоре, был оскорблен и изгнан каким-то грубым человеком...

Проклятые куры! Недавно чистил – и снова нагадили! Сволочи! Паскуды!

Опять сорвался, а это плохо. Нужно следить за собой и не допускать положения грубости и вульгарности. Нужно более интенсивно готовиться к новой жизни. К вопросу о костюме, в частности, о пиджаке. Оказывается, что без пиджака никуда не следует ходить – за исключением спортивного вояжа. В гостях у близких

друзей можно попросить разрешения снять пиджак, на иных приемах ждем случая, чтобы это предложил сам хозяин. К костюму необходим галстук. В официальной обстановке пиджак застегнут. В застегнутом пиджаке входим в квартиру к знакомым, в ресторан (особенно в обществе женщины), в кабинет на совещание, в зрительный зал театра. Также пиджак должен быть застегнут, если мы сидим в президиуме за столом или же выступаем с докладом.

Разговор с матерью по поводу моего старого костюма, из которого я уже давно вырос – и морально, и физически.

– Денег нет на костюмы. Тебе скоро государство даст хороший костюм, – ответила она.

Жара, пыль, мухи.

Р. и В. уже просверлили в эбоните отверстия и приступили к шлифовке.

Посетил бесплатный концерт симфонической музыки, который состоялся в парке, на летней эстраде. Зрителей было мало, может быть, меньше, чем музыкантов, к тому же пошел дождь, и все разбежалось, и только я остался – будущий юрист государственного значения должен быть гармонически развитой личностью, он должен уметь поддерживать разговор на каком-либо светском приеме, или же на уикенде.

После концерта я подошел к музыкантам и выразил им свою благодарность за то, что их не смутило отсутствие публики и они доиграли до конца.

– Ну что вы! – воскликнул дирижер. – Это мы вас должны благодарить, это мы вам благодарны!

Он поклонился мне, а музыканты заплодировали, и я в приподнятом духе отправился домой и был в таком возвышенном и отстранненном состоянии, что совершенно забыл всякую предосторожность и свое же правило никогда не останавливаться вечерами в нашем рейсовом автобусе на задней площадке, за что и поплатился, подвергнувшись всевозможным хулиганским выходкам: плевкам, пинкам и проч... Да и мать еще дома добавила:

– Где лазишь? Огород горит, поливать нужно, днем напора не будет – быстро включай шланг!

Жара, пыль, мухи.

Р. и В. шлифуют кастеты.

Н. дали срок за хищение сметаны.

Группа поселковых изнасиловала дежурную насосной станции.

Не думать об этом. Все это скоро кончится. Нужно сходить в военкомат и узнать, когда придет вызов из училища. Нужно

сосредоточиться на подготовке к экзаменам и к новой жизни. Нужно продолжать выдавливать из своей речи украинизмы, просторечие и вульгарности. Нужно учиться красиво ходить, стоять, сидеть. Нужно уметь легко и красиво подниматься по лестнице и так же спускаться. Нужно отвыкать на все вокруг смотреть исподлобья. Ежедневно пополнять запас английских слов. Думать о высоком, а не о том, что происходит вокруг. Какое мне дело до Р. и В. и их кастетов!

Взял под клеенкой деньги, поехал в город. Ходил в кино, пил яблочный сок, ел пирожки с горохом. Дома был скандал: мать обнаружила пропажу денег, спрашивала брата, тот отвечал, чтобы она отстала от него со своими вонючими деньгами. Я хотел было признаться, но мать была в таком страшном состоянии, что я не решился и сказал, что не брал.

— Пусть наш юрист и займется расследованием, — сказал брат с дивана.

Произвел над собой дознание и судебный процесс на чердаке. Вывел себя за уборную, но в последний момент подал на кассацию и был помилован с заменой расстрела пятнадцатью годами. Бежал из заключения, скрывался в тайге — в огороде, в помидорах, затем в горах — за кучей куриного помета. Был амнистирован за давностью лет.

Жара, пыль, мухи. Мать и соседка обсуждают поселковые новости. Говорят они о Г., который своими "жигулями" недавно сбил на дороге женщину.

— Много ему не дадут, — говорила мать.

— Конечно, откупится, не первый раз, — отвечает соседка.

Я поливаю огород, слышу их разговор и поражаюсь их юридической безграмотности и мещанскому представлению о строгости и неподкупности Закона...

Жара не спадает, сухой все выжигает, пыль блестит в раскаленном воздухе. Брат за обедом сказал, что на одной из доменных печей лопнула броня, жидкий чугун вырвался из печи, есть жертвы. Я спросил, откуда у него такие сведения — ведь ни в газете, ни по радио сообщений по этому поводу не было.

Он плеснул мне супом в лицо.

Жара, пыль, мухи. Мать после стирки старается вывесить свое нижнее белье, имеющее не очень благородный вид, на самом видном месте.

Р. и В. продолжают шлифовку кастетов.

Статья в газете о разоблачении ученого, оказавшегося шпионом.

Судебный процесс над шпионом на чердаке.

Расстрел за уборной.

Ночью вышел по нужде и вдруг услышал за уборной чей-то стон. Стало страшно, разбудил брата.

А ты побольше суди и расстреливай – еще не то услышишь, – ответил он.

Собственно говоря, птицу нужно есть с помощью ножа и вилки, а апельсины и мандарины никогда не чистим спиралеобразно, что же до персиков, так сначала разрезаем их на тарелке, затем удаляем косточку, затем снимаем кожицу – и все это с помощью ножа и вилки, но никак не руками!

Брат и какая-то красивая женщина. Где он их берет? И почему они соглашаются пить с ним какое-то дешевое вино под нашим ржавым навесом?

Что такое женщина? Как у них выглядит это? Как оно у них устроено?

Приснилась женщина, у которой ниже живота была какая-то жаркая духовка с заслонками...

Нет, нет и еще раз нет! Не опускаться до этого! Бороться с подобными снами! Думать о благородном, а не о заслонках!

Читал книгу и нашел в ней одну замечательную мысль: один видит в луже только лужу, а другой в луже видит отражение звезд. Замечательная мысль! Сказал об этом брату.

– Теперь ты вооружен и очень опасен, – ответил он.

Не понял, брат.

Пошел в военкомат узнать о том, когда придет вызов, но военком, даже не выслушав меня до конца, грубо ответил:

– Жди! Придет! Некогда тут с тобой!

Проклятые куры! Сволочи, скоты! Они не столько пьют, сколько гадят в воду!

Р. и В. шлифовку кастетов завершили и приступили к отработке ударов по дереву.

Капустянка подъедает помидоры.

Посетил краеведческий музей, оставил благодарственную записку.

Посетил окрестности поселка.

Думал о жизни...

Хорошо бы поменять свое несколько простое, примитивное имя на более значительное, благородное, например, Эдуард, Роберт, Артур...

Внимание! Усвоить: коктейль пьется маленькими глотками, с перерывами. Виски – со льдом или газированной водой. Вино отпивается из рюмки понемногу. Ликер маленькими глотками. Коньяк – тоже маленькими глотками, с перерывом. В это время рюмку можно держать в руке – коньяк любит тепло. Шампанское и другие муссирующие вина лучше пить сразу, но можно и понемногу.

В погребке нашел самогон, выпил, блевал за уборной.

Некоторые моменты тоски и грусти. Бороться с этим. Смотреть только вперед.

Вершина холма за водокачкой имеет углубление, похожее на кратер потухшего вулкана. Отсюда открывается вся панорама нашего города и заводов, подковой окружающих город. Вокруг холма растут подсолнухи, кукуруза, просо. Но это не подсолнухи, не кукуруза и не просо. Это миллионы людей разных стран и народов.

– Люди! – обращаюсь я с вершины холма. – Живите честно! Не пейте, не воруйте, не бейте друг друга, не нарушайте общественный порядок! Ставьте перед собой максимально благородные цели и добивайтесь их!

Позор американским агрессорам!
Позор израильской военщине!

Уже пошли третьи сутки, как брата нет дома. На работе тоже не знают, где он. Где его искать, в каком конце города? Ходил, искал – безрезультатно. Мать пошла к участковому, заявила. Участковый ответил, что никуда он не денется, придет, а не придет, так одной сволочью меньше. Мне не совсем верится, что участковый мог так ответить. Наверное, мать сгущает краски, преувеличивает. Решил пойти, узнать, а заодно и поговорить о юриспруденции. Пошел, спросил, правда ли то, что он назвал брата сволочью. Он спокойно ответил – да. На каком основании, спросил я. На том, что он сволочь, а ты – шмакодявка, ответил он. Но это может иметь для вас эксцессы, сказал я. Может, ответил он, поднялся из-за стола, больно схватил меня за ухо, скрутил его и вывел из кабинета, а на пороге дал пинка... Выйдя таким образом из участка, я поднял с земли камень, но не бросил его в окно, а прибыл домой и быстро составил закон об уголовной ответственности за скручивание уха и пинки в условиях Космоса...

Брат появился утром, лег на диван и попросил воды. Я принес ему большую кружку, он медленно выпил, затем выблевал в кружку и протянул мне.

– Стой! – сказал он. – Ты помнишь, как я тебя шпынял в детстве?

– Помню, – ответил я.

– Ты помнишь, как я подвешивал тебя над кипятком головой вниз?

- Да.
- Ты помнишь, как я бил тебя ногой в жопу?
- Да.
- Ты помнишь, как я выпускал тебе газы в лицо?
- Да.
- Все помнишь... плохи мои дела...
- Почему?
- Ну как же... ведь ты скоро станешь государственным человеком... А вдруг тебе захочется все то, что я проделывал с тобой, сделать со мной?
- Полагаю, что этого не будет, – ответил я. – Во-первых, моя жизнь будет до предела насыщена более важными делами и чувствами, во-вторых...
- Ладно, хватит вонять... иди отсюда со своей вонючей кружкой, – ответил он и закрыл глаза.

Жара, пыль, мухи. Поливка огорода утром, вечером, ночью. Р. и В. бьют кастетами по дереву, отрабатывают удары. Чистил курятник, хотел выпить свежего яйца из гнезда, но был застигнут матерью – шум, скандал. Брат хохотал на диване. Ничего, брат, посмотрим, кто будет смеяться последним.

Мать привезла две тонны угля. Ведрами в сарай. Брат от работы снова увильнул, куда-то исчез. Кого-то били на пустыре, на закате солнца. Пыль и кровь.

Чем-то отравился, что в нашем доме не мудрено: мать нуждается есть даже то, что уже явно прокисло. "Вот станешь большим человеком, тогда и будешь есть все свеженькое!" – закричала она в ответ на мое замечание.

Отравление вызвало понос. Впрочем, не понос, а расстройство живота. Нужно избегать низких слов.

Расстройство продолжается. Это тревожит. А вдруг сейчас придет вызов?

Посетил городскую выставку самодеятельных художников. Из-за расстройства живота не досмотрел, благодарственную запись сделать не успел.

Мать сварила какой-то отвар, пил. легче.

Сообщение в центральной газете о новом рекорде сталевара Г.

А ведь сталевар Г. живет в нашем поселке!

Стихотворение поэта Ж. в нашей местной газете, посвященное новому рекорду сталевара Г.

А ведь поэт Ж. живет в нашем поселке!

Вот вам и Шлаковый!

Сказал об этом брату.

– Пошел на х... – ответил брат.

За ужином он злословил по поводу нашей Юриспруденции, называл ее юридикстикой. Я не выдержал его злопахательства и покинул кухню. Он хохотал мне в спину. Посмотрим, брат!

Сидел за разработкой закона об уголовной ответственности за дачу ложных показаний в условиях Космоса. Вошел брат.

— Дай сюда! — приказал он.

Я протянул ему листок с законом он прочитал, усмехнулся, спросил:

— Хочешь, познакомлю тебя с хорошей девушкой?

Мне хотелось сказать "да", но я ответил, что в данный момент знакомство с девушкой не представляется возможным в связи с моей подготовкой к экзаменам в военное юридическое училище.

— Вонючка, — ответил он.

Проклятые куры!

Когда же придет вызов?

После разработки закона об уголовной ответственности за наркоманию в условиях Космоса я подошел к зеркалу и произнес речь по случаю вручения мне Государственной премии за заслуги в области Права. После пышного банкета я отправился в США, где разоблачал мафию, ел ананасы, пил шампанское, виски, коньяк, курил гашиш и заходил в публичные дома...

Вдруг увидел в зеркале брата.

— Все упражняешься? — усмехнулся он.

Жара, пыль, мухи. Куры галдят, огород горит. Р. и В. продолжают отработку ударов кастетом по дереву.

Ссора матери с соседкой через забор. Ссора то затухала, то вновь разгоралась, а кончилась она тем, что соседка ударила мать ведром по голове. Мать пошла с жалобой к участковому, но тот даже выслушать ее не захотел, вел себя хамски, оскорбительно.

Готовился весь день на чердаке к заявлению протеста на действия участкового. Вечером пошел. Он сидел за столом, что-то читал, ел хлеб с колбасой, запивая чем-то из бутылки.

— Здравствуйте! — сказал я. — Приятного аппетита!

— Нежевано летит, что нужно? — спросил он, не отрываясь от чтения, даже взглядом не удостоив.

— Дело в некотором роде заключается в том, что ... — начал я.

— Короче! — вдруг рявкнул он и поднял на меня свое громадное красное лицо с выпуклыми глазами. — Короче!

— Нет...ничего... приятного аппетита, — пробормотал я и выскок из его кабинета.

Жара продолжается, куры галдят, огород горит.

Вечером поливал огород. Брат пришел с какой-то красивой женщиной. Они расположились под навесом. Брат позвал, я подошел.

— Вот это мой младший брат, Нина, — сказал он. — Будущий юрист, законник, великий человек... и когда он станет великим, он сошлет нас с тобой за наши грехи на какую-нибудь безжизненную планету...

— Да ну! — засмеялась женщина. — Он этого не позволит!

– Еще как позволит, – сказал брат. – Он готовится к этому!
– А я его сейчас поцелую, и он этого не позволит! – сказала она и вдруг поцеловала меня, отчего голова моя закружилась, ноги задрожали.
– А ты плесни ему в стаканчик! – сказала женщина.
– На, выпей! – сказал брат, протягивая мне стакан с вином. – Выпей, может, это согреет твою юридическую душу, может, ты когда-нибудь вспомнишь и пожалеешь нас...
Спал плохо, мысли путались, сердце стучало...

Нет, нет, еще раз нет! Вам не удастся сбить меня с толку! Вам не удастся сбить меня с правильного пути! Вам не удастся затянуть меня в трясины разврата и духовной пустоты! Сами погибаете, и меня погубить хотите?!

Жара, пыль, мухи. Подготовка к экзаменам. Подготовка к новой жизни: речь, взгляд, осанка.

Посетил музей-квартиру выдающегося государственного деятеля Ж., именем которого назван наш город. Оставил благодарственную записку.

Р. и В. все еще продолжают заниматься своими кастетами. От отработки ударов по дереву они намерены перейти к осуществлению своих каких-то темных замыслов. Собственно говоря, в ближайшее время они хотят испытать свои кастеты на людях. Все мои попытки как-то отвлечь их от этих опасных побуждений пока результатов не дают. Все мои попытки перевести наши вечерние беседы в русло поэтически-философских изысканий натываются на глухую стену непонимания и нежелания понимать...

Сегодня ночью они хотят выйти на улицу с кастетами и напасть на кого-нибудь. И снова все мои попытки отговорить их от этого не дали положительных результатов. Тогда я сказал, что их действия могут иметь эксцессы.

– Мент вонючий! – вдруг выкрикнул В. и ударил меня кастетом по голове.

Жара, пыль, мухи, головные боли.

Когда же придет вызов?

Мать рано утром поехала в деревню на похороны, оставила на столе записку, в которой мне строго по графику предписывалось кормить и поить кур и поливать огород. Слова "куры" и "огород" были написаны с большой буквы, а мое имя – с маленькой. Позавтракал, дал курам травы и воды и засел за учебники, но из-за головных болей никак не мог сосредоточиться. Выпил анальгину, уснул. Проснулся в обед, дал курам еды и питья, поклонился по

огороду. Жаркий восточный ветер сносил с заводских труб весь дым и гнал его в сторону нашего поселка. Огород поник, куры вскрикивали, в бочке с прокисшей водой медленно надувались и лопались зеленые пузыри, и дергались какие-то организмы, похожие на сапожные гвозди. Сосед слева, недавно вышедший из заключения, рыл в огороде какую-то яму, сосед справа, дважды имевший судимость, бил молотком по железу. Оба они были в одинаковых черных трусах. Я пошел в дом, лег на диван и стал думать о том, сколько же человек из нашего Шлакового побывало в тюрьме. Предварительные подсчеты дали результат — почти каждый третий житель нашего поселка побывал в тюрьме. А сколько их сидит в настоящее время? А сколько сядет? А если умножить это число на число всех городов, деревень и поселков? Получается огромная армия бывших, настоящих и будущих преступников... Почему так получается? Как с этим бороться? Ответа не было... Чтобы как-то отвлечься от этого, я решил наконец-то отремонтировать выдвижной ящик нашего кухонного стола, в котором мать хранит вилки, ложки, ножи. Осмотрев ящик, я пришел к выводу, что лучше сделать новый, чем возиться со старым. С жаром взялся за дело. К вечеру ящик должен быть готов. Это будет ящик не простой, а уникальный. Выдвигаться он будет из стола автоматически, путем нажатия кнопки, и при выдвигении будет звучать какая-нибудь мелодия. Сделан он будет без единого гвоздя, исключительно на шпихах. Это будет супер-ящик, единственный в своем роде. Когда-нибудь скажут: он был не только выдающимся государственным деятелем, но и умел делать вот такие ящики. Однако ящик у меня не получился: шпихи и гнезда боковых стенок не совпали, а выпиливать новые уже не было желания. Наверное, я ошибся при разметке.

Пошел в дом, лег на диван. Снова заболела голова. Выпил анальгин, уснул. Проснулся уже вечером. Куры успели нагадить в воду, сменил им воду и дал лебеды. Полез на чердак, но там было душно. Стал поливать огород, но напор воды был таким слабым, что заниматься этим делом не было смысла.

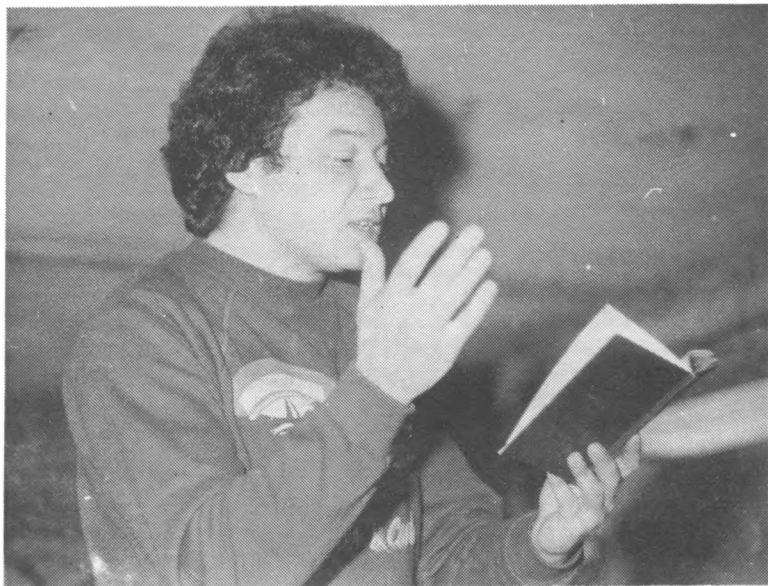
Сделал яичницу, съел, запил водой с вареньем. Лег на диван. Уже вечерело. За окном мертво стояла сирень. Тоска охватила мое сердце. Чтобы избежать ее, я вышел из дому, запер дверь и пошел по улице Резервуарной вниз, к известковому карьеру. Вышел к обрыву. Багровая луна освещала пространство карьера и садов пригородного совхоза. Внизу среди редких верб, преимущественно больных и потому уже совсем голых, и густых высоких камышей петляла наша Пиявка. "Как ты, мазутная, отравленная, где-то впадаешь в море, так и жизнь моя скоро волеется в океан государственной жизни, подумал я. Как твой свет, луна, освещает весь этот ночной мрак, так и мой свет скоро осветит мрак и тьму жизни. Как ты, луна, всегда выползаешь к нам из-за охваченных огнем и дымом заводских труб, так и я скоро выползу из нашего Шлакового... Вдруг кто-то крепко сжал мою шею. От испуга я вздрогнул, вскрикнул. Это был наш участковый. От него разлило спиртным.

— Что здесь делаешь? — спросил он.

— Стою, — ответил я.

– Вижу, что не лежишь, но что здесь делаешь?
– Разве не имею права?
– Имеешь, – ответил он и еще сильнее сжал мою шею.
– Отпустите мою шею, ваши действия противоправны и могут иметь эксцессы, – заявил я.
– Вот гнида, – сказал он и ударил меня в ухо.
Я упал. Он стал бить ногами. Как-то все же я вырвался и побежал.
Бежал, спотыкался, падал и снова бежал и выбежал прямо на поселковых хулиганов, стоящих у забора насосной станции.
С криками "Лови будущего прокурора", "Бей будущего мента" они бросились за мной, и я побежал от них...

Люди! Помогите! Брат! Где ты? Спаси меня!



Алексей ПАРЩИКОВ

МОСКОВСКИЕ СТИХИ

РЕВНОСТЬ

Тот, кто любит тебя, перемены в тебе ненавидит,
но дела государственные — сплошные петли
и выкрутасы; на загородной вилле
аурум клокочет в кубышках; вряд ли,
бродя по жарким спальням, она понимала
наплыв неуверенности и тревоги, —
почему светильник валютный открыл забрало,
и ало озарены на столе "Работница", "Вог", и
предметы колеблются в присущих гнездах,
перебирая черты свои, словно актинии —
бахрому на протоке; о слезы, слезы
душат, а между висками — гул угнетения;
почему она, словно выдыха углекислый газ, —
ненужная, зеленая, злая?
Кто на пороге? Или новый Марс?
Она пьет коньяк, оставленный с юбилея...
Она падает в кресло, и тотчас меркнет
ее сознание, принимая вид

зрячего пузыря, на который сверху
рысь-певица с ножом летит.
Ее мучит ревность и недоверие:
муж и его однокурсница. Их
одних она видит за партой; перья
сцепились в чернильнице, — ну и псих!
Дочь полководца... и вот на стрельбище
они целят в одну мишень, ворошиловские стрелки.
Икры жены подрагивают, как те еще
красные амазонки, нажавшие курки.

Ревность гонится без оглядки
за своей остановкой, детский волчок.
Но где остановка? В беспорядке
разбегается вечность. На чем
ни задержишься — начинается заворот
в беспредельность; ревности необходим
в идеале кадавр, вернее аура,
похищенная у той, кем ты был любим.
Типа колебательной реакции Белоусова
или распространения магнитофонных кассет,
она цитадели проникает, обшаривает русла,
в пустынях на свой налетаете след, —
там та же ревность, как радушный наемник,
что душил подушкой в мертвый час,
там тундра с вороной и горький ельник
мельтешат по дороге в военную часть,
там двое влюбленных катят в штаб
на резком автомобиле в объездах круглых
(ревность метит их крестиком), но... ухаб! —
их рефлексы сжались, словно эры в угле.
Ай, вместо крестика — обидная каракуля!
Из ворот собачка летит, кипя как плевков.
Съехала на бок папаха из каракуля.
Хлопая дверцей, краля выходит, не чуя ног.

Бродит жена по спальням и лопает яблоки. Пенелопа.
Сцены ревности в голове ее вымирают от повторения.
Муж в свое отсутствие стоит у гроба
диктатора, выходящего, теряя управление,
из своей яростной оболочки, что дрожит в кристалле,
и сужаются круги незнакомых улиц —
он уходит в небо; от него остались
лишь скелет да сосед, конькобежец и детолобец.
Диктатор шел через чашу бронзовых камышей,
кривясь на подобие лопасти —
воздуху прикоснуться страшно. Миллионы шей
кивали ему. И екали пропасти.

Он шел на встречу с собой, другими
овладевая по принципу ревности,
он шел, коллапсируя, давка дебилов,
и получалось — по принципу реверса;
он застопорился, с точки зрения жертв его,
и ему покорялись все новые области.
И его ревновали граниты. И мертвого
разрывали вакханки. И екали пропасти.
Это было вполне в его духе; граниты
шли за ним, и он крикнул им что-то в финале.
Но зова не слышали маршалы свиты.
И вел их все глубже товарищ фонарик.

КОТЫ

По заводу, где делают левомоцетин
бродят коты.

Один, словно топляк, обросший ракушками,
коряв.
Другой — длинный с вытянутым языком —
пожарный багор.
А третий — исполинский, как штиль
в Персидском заливе.

Ходят по фармазаводу
и слизывают таблетки
между чумой и холерой,
гриппом и оспой,
виясь между смертями.

Они огибают все, цари потворства,
и только околевая, обретают скелет.

Вот крочится черный, копает землю,
чудится ему, что он в ней зарыт.

А белый — наркотиками изнуренный,
перистый, словно ковыль,
сердечко в султанах.

Коты догадываются, что видят рай,
и становятся его опорными точками,
как если бы они натягивали брезент,
собираясь отряхивать
яблоню.

Поймавшие рай.

И они пойдут равномерно,
как механики рядом с крылом самолета,
объятые силой исчезновения.

И выпустят рай из лап.
И выйдут диктаторы им навстречу.
И сокрушат котов сапогами.
Нерон в битве с котом.
Атилла в битве с котом.
Иван Четвертый в битве с котом.
Лаврентий в битве с котом.
Корея в битве с котом.
Котов в битве с котом.
Кот в битве с котом.

И ничто каратэ кота в сравнении со статуями
диктаторов.

ДАЧНАЯ ЭЛЛЕГИЯ

На море дача. Разлитая чача. Мяуча и хрюча,
цокая и громыхая (меняют баллон в гараже?
ёж и консервная банка? лопнула статуя?),
ночь козырнула ракетой и сетью цвета зеленк
сграбастала воздух.

В результате перестрелки
вертолеты гулкие, как пещеры,
бэтээры и векторные приказы
сразу исчезли,
лишь провода
торчат из углов, точно рачьи усы...

Он остался один
на стуле (такой же в гробнице Тимура у билетерши),
куда убежишь? – только в собственный череп,
подобно спирту.

От солдат — коромысла мочи на стенах.
Хлам повсюду. Где утренняя поверка?
Копошится зеленое море в зеленых евгенах,
золотистая корка на гребне волны, как фанерка.
Сила уходит через распахнутые ворота.
Сила уходит, являясь тому, кто зряч,
в виде короны на моментальном фото,
где в молоко угождает теннисный мяч.
На вертикаль соскальзывают щеколды.
Сила уходит... Крики чаек, скрип.
задыхается вечность

мелькает от этой щекотки
и выбранный мною тип.
Когда покидала сила зернышко на столе,
подымался уровень моря и в окнах — танкеры.
— Вставай, — он услышал, а снилось, что на осле
он в город въезжает. — Вставай, занимайся панками!
Он видит шествия многогоргие.
Густая обволочь перед ним, не проснуться никак.
Скользят они черепными коробками.
Хохол, как вставленный финак.

Дача. Гордый кот, как намытый прибором. Акула
рядом. Меж ними ни духа, ни сна.
Вспомни, начальник, как грело мерцанье посула, —
юность, ватага Катулла, загадка вина!
Можно махнутья любимыми в этом Египте
или заочно для кайфа — скелетами,
может быть, станет политика гибкой,
но продолжал он указами драться с памфлетами.
Раньше был воздух рук вокруг, хоря с подносами,
с отвесными косами, напоминающими сверло,
врачи со шприцами, пионерки с розами,
таблетки японские, чтоб не развезло,
было в походке — высокомерие,
переходящее в сон по секундной стрелке,
и — спортсмен! — он ковал водяные перья,
царя на глоссере по заводи мелкой.
Когда выбегал он к оленю, ножами обросши,
мешкал олень, планом спасенья ветвясь,
потом делал так, словно хлопал в ладоши, —
паф! — обрывая связь
с небом, выкидывая колени, копыт клеммы,
шлёп по голени! — ну, танцор!
А он ценил в себе Голема,
заводную рубашку, снятую с отцов.
Надо было точку ставить, а он — запятую.

Как пятка падающего колосса
за собой оставляет, именно такую.
Он поставил ее во имя прогресса.

А теперь вокруг пальца обводит его вода,
искажаясь, от него отвернулись камни,
цепь логическая — их гряда
исключает его (и этим близка мне).
И его наушница — леди Макбет —
в одеждах из золотой кофирки,
ненавидит его, но как бы
жалеет и подбавляет спирта.
От него отвернулась стенобитная молодежь,
его свет не замечает, звезда не кусает,
всякий атом, что был на него похож,
теперь похож на другого, ему — осанна...

Сила уходит... когда уходил Леонардо,
в обмен насыщались народы, пейзажи щедро,
его пропускали в себя оболочки и ядра,
как сфера пытливая, он прогибался от ветра,
наделяя величием свет, дирижабли, луны,
он шел, будто против взбешённой форсунки,
шел в гору, и словно с собою натягивал струны,
и осуществлялись ореховые рисунки...

Притормозись. Остановись. Поймай центр,
зафиксируй его и тогда тронешься с места.
Шоссе поблескивает, как мечтательный пинцет.
Вечность — только начало уже завершенного жеста.
Вспомни утреннюю, дымчатую, непуганную пойму,
и кристаллы красот от выпаренных богов,
где кусаки качуют (только внешне спокойны),
от наследных красот изнывая, — их жребий таков.
Гравитация — вот кто! — нас держит на привязи.
в чуткой схваченности шелохнешься едва.
Путь сговорчив, а все же не смог тебя вывезти.
На бетонках отчизны изваян твой нрав и права.
Как пузырь, оболочкой боясь наколоться на радиус,
гравитация бродит вокруг тебя, ожидая,
что ты выпрыгнешь в небо, святясь и радуясь,
предаваясь ему и с ним совпадая,
гравитация ждет своей части природы,
чтобы выпрямить нам кривизну осанки,
учащает обороты,
набрякает луна с изнанки.

Он застыл на веранде. Группа каштанов.
На столе дорогой атлас ветер листает.
Колотясь в разное масштаб,
один и тот же план туда-сюда летает
меж небом и страницей, будто картошка,
которую подбрасывают, остужая.
На каждой странице – одно и то же:
дача: маленькая, большая.
Слышишь, осколки стеклянных галерей,
каблуки, моторы, челюсти тлей...

Москва

Зуфар ГАРЕЕВ

ЧУЖИЕ ПТИЦЫ

Рассказ

Старик Фирсов Дмитрий Андреевич был еще крепкий пожилой человек. Иногда, правда, он сам над собой посмеивался, говорил, притворно вздыхая: "Пора уж хоронить старика". Но это было что-то вроде кокетства: он чувствовал себя добротнo и знал, что жить будет еще долго. Несколько лет назад он вышел на пенсию — был комбайнером. Завел с тех пор крепкое хозяйство и жили они с женой хорошо, слаженно. У них была дочь, Нина. Но она давно, лет десять назад, уехала из поселка. Писала редко, о себе ничего не писала. Было как-то понятно старикам, что она там в городе то ли актриса, то ли поэтесса, поскольку знакомые ее, судя по письмам, были сплошь артисты да поэтессы. Была у стариков мысль, что ни то, ни другое, а попросту неудачница, хотя денег она никогда не просила. Фирсовых давно уже про дочь не спрашивали, но когда спрашивали, крепкое чело старика хмурилось и он отвечал односложно: где-то там, в городе, в большом-большом городе... И было ясно, что она никогда не приедет в поселок; да и старики ясно, не очень-то скучали без нее.

Тем более они были удивлены, когда однажды, — а было это в конце июля, — получили телеграмму: выезжает, мол, просит встретить, поезд такой-то...

Старуха Фирсова пожала плечами:

— Соскучилась Нина наша...

— Соскучилась, — ядовито ответил Фирсов, — так вот взяла и соскучилась...

Известие это было ему неприятно. Он повертел телеграмму в руках. Любопытная почтальонша стояла рядом, уже готовая задать вопрос, — с ухмылочкой, как показалось Фирсову.

— Ну, вы идите, Валентина Александровна, — сказал он неприятно, — что ж вы встали?

Почтальонша, — а жила она через дом от Фирсовых, — соседски как бы имела право знать больше, чем остальные, — посочувствовала:

— Не расстраивайся, Дмитрий Андреич. Поживет и уедет: скучно будет ей здесь...

— Ну-ну... — старик ответил мягче, как бы успокоился.

Вечером старики, как всегда, сели смотреть телевизор, — как всегда, при открытых окнах, при приятной прохладе. Эта прохлада шла от мокрых, обтекающих кустов малины и смородины, которые старик поливал после того, как садилось солнце, — поливал он из шланга, а мотор "Кама" был совмещен с ручной колонкой во дворе.

Привычного покоя, однако, не ощущалось. Фирсов сидел на софе, в старых, но чистых шароварах; босые ноги его, как всегда, отдыхали на зеленом ковре какого-то затейливого узора. Но он не мог сегодня углубленно вникать в программу "Время". Как будто бы что-то чужеродное уже находилось в доме, — и теперь надо было напрягаться, чтобы постичь его смысл. Он давно свыкся с мыслью, что у него нет никакой дочери. Город он не любил, боялся города, хотя страх этот и нелюбовь эта не были какими-то уж вовсе дремучими, постыдными для человека нашего времени. Он не любил город и все, что было связано с ним, скорее отдаваясь смутным ощущениям, — допуская мысль, что, может быть, не прав. Дочь он тоже не понимал. Она много и неразборчиво гуляла в ранней молодости, в девушках, была чудачкой, но иногда становилась злой, яростливой: много плакала, чего-то все таилась от родителей, тайно ездила в район делать аборт. А теперь вот еще неудачница — не пришей рукав. Хотя, конечно, Фирсов, наконец, мог плюнуть на какие-то там предрассудки и пройтись с ней по поселку нормально и степенно... до магазина, что ли и обратно, — и с каждым встречным-поперечным, мог, в принципе, достойно поздороваться.

С тем он и уснул. А наутро выкатил свой "жигуленок" и часа через полтора был на станции.

Дочь была без вещей. Только небольшая яркая сумка, — как у пастушка через плечо, что Фирсова покорило. И странно, как-то непривычно одета: все какое-то просторное, с чужого как бы плеча; пиджак — не пиджак, штаны — не штаны; как беженка. Старик Фирсов размышлял: богато это все или от бедности; соригинировался на телевизор и решил: модно. Но поразила его язвочка на верхней губе дочери. Недавно старик был в районной поликлинике и прочитал в "Санпросветбюллетене" про сифилис, — и особенно ему про язвочки запомнилось. Фирсов сразу решил: сифилис! И с обидой, оскорбленно, подумал: как же так — болезнь заразно, а разъезжает. Совесть есть или нету совести?

— Как громко шумят... — сказала Нина.

— Что громко? — не понял Фирсов.

— Тополи... Давай подойдем...

Прибывший поезд уже ушел, на станции было тихо, так что слышался громкий шелест тополей на глиняном отшибе, исполосованном тропинками. Их кроны кипели на серебряном июльском ветру. Их вечная жизнь соседствовала с людской жизнью на станции и наполняла ее каким-то щемительным смыслом.

Нина высоко задрала голову, когда они остановились под тополями.

Впрочем, здесь было грязненько: валялась бумага, консервные банки. Стволы были исписаны непристойными словечками. Старик Фирсов незаметно посмотрел по сторонам: не глядят ли на них люди. Также ему показалось, что где-то здесь рядом должен быть сержант милиции. В прошлый раз, когда Фирсов был на станции, сержант, здесь, под, тополями, все не мог поставить на ноги какую-то пьяную бабу, — так и бросил.

Старик Фирсов вздохнул и промолвил:

— К Ильичихиным дочь приезжала с мужем. Люди солидные, с высшим образованием оба... Ты Лариску Ильичихину помнишь?

— Да, — ответила дочь, да как-то глухо, не смотря на старика.

— Хотя, конечно, — добавил старик, — высшее образование — это, можно сказать, не самое главное, но оно спасает от унижения...

Так сказал старик и призадумался какой вести разговор дальше.

Дочь вновь посмотрела высоко:

— Ну и что же Ильичихины?

— Рады, конечно, — оживился Фирсов и прибавил, — мы бы поехали, что ли... Чего здесь стоять, мы же не бездомные. Я тебе в машине все расскажу...

Дочь посмотрела на станцию и спросила:

— А крушения поездов бывают здесь? А пожары? Или заносы? А может быть, потопы?

— Какие потопы? — пробормотал старик. Чутьем он понял, что с дочерью ему надо вести себя угодливо. Ему казалось теперь, что на них уже оглядываются, а на нее смотрят особенно недружелюбно: нестерпимо ему хотелось одного — увести ее в машину.

— Почему же не бывает завалов и потопов? — капризно переспросила Нина. — На вокзале всегда бывают потопы и другие стихийные бедствия...

— Какие к черту потопы! — прошипел Фирсов; сколько же было можно испытывать его терпение. — Пошли!

Он взял ее под руку, силой прижал локоть, и они, — со стороны вполне прилично, — пошли в сторону машины. Нина вдруг обмякла, что злорадно ощутил Фирсов рукой; только сказала ласково, непонятно, впрочем, что имея в виду:

— Ничего, папа, ничего...

В пристанционном палисаднике играл аккордеон и кто-то

сипло, криво пел, — и голос этот, некрасивый, без выражения, непонятно для чего набирался и набирался в силе. В низеньком окошке парикмахерской, за геранями, мелькнуло красивое женское лицо. Было уже душно — день обещал быть жарким.

Выехали со станции, проехали карьер, некоторое время катили по бетонке, потом свернули на пыльную, проселочную дорогу.

Нина достала из сумки бутылку лимонада и стала шкрябать пробкой по дверце. Пена полетела ей на одежду, она не обратила внимание на это. Она отпивала из бутылки, поглядывая в окно, а Фирсов косился и прикидывал: если скребнула по ручке — оставила глубокий, смачный след; а может и кусок никелировки отлетел, кто знает... "И как она так небрежно, не спросясь" — думал он с обидой.

— Воды хочешь? — Нина протянула бутылку.

Мысль, что к горлышку прикоснулась ее опасная язвочка возмутила старика. Фирсов, однако, подавил раздражение, коротко мотнул головой, спросил:

— Ну и где ты: в общежитии живешь? Или квартира есть? А зарплата какая?

— Это все неинтересно, — вяло ответила Нина после молчания. Конечно, у всякой квартиры есть муж, а вместе у них есть зарплата...

— Ты что: тайком бегаешь от него по своим интересам?

— Нету мужа. И квартиры нет. А зарплата есть. Но бывают сиреневые вечера: небо дышит и ты пьешь его глазами... И понимаешь: не хватает к этому горемычному пьянству под небом мужа с квартирой или квартиры без мужа. Мы бы вместе смотрели на эти вечера, и влачили бы вместе по дымной земле...

— Нет, ты с кем разговариваешь? — психанул Фирсов. — Есть квартира? Где работаешь? Кто муж — если есть? Запомни, — Фирсов резко крутанул руль на повороте, — ты с отцом разговариваешь!

Она медлительно, — откидывая голову, закрывая глаза, — отпивала из бутылки; время от времени она смотрела в боковое стекло. За ним было поле: ярко-зеленое, свежее, как-будто бы оно за долгие-долгие годы нисколечко не устало жить однообразной жизнью: с каждым циклом природы его снова и снова хватало на веселую, беспечную свою жизнь...

— К нам надолго? — задал наконец свой главный вопрос Фирсов.

— Не знаю. Может, на день. Взяла и уехала от друзей, от знакомых...

— Ну и что же, — спросил Фирсов после некоторого размышления, — эти все твои друзья-знакомые — они холостые, что ли? Без семей, без детей?

Старик стал круто выкручивать на повороте. Нину невольно примкнуло к отцу. "Не знаю я об этой болезни ничего, — старику было безразлично, — побежденная она медицинской хоть?"

Для себя он решил построже с ней быть: не целоваться, не дотрагиваться. Он включил транзистор, нашарил музыку, а дочь в каком-то приподнятом тоне сказала:

— А вы как здесь, папа? Как наш дом?

Был этот тон какой-то вычурный, словно она эти слова говорила со сцены, но старик различил в ее голосе тепло. И в его душе стало разгораться наивное доброе чувство, — скованность и раздражение стали будто бы исчезать потихоньку.

Как мы здесь? Да помаленечку... Я в совхозе все работал, на пенсию вот вышел. Был передовиком социалистического соревнования, — добавил он казенную фразу, от которой, впрочем, ему стало как-то неловко. Мне и премию большую перед пенсией дали...

— Ну да?

Фирсов хихикнул от удовольствия.

— Совхоз поощрил. Мы со старухой еще немножко прикопили — и вот машину купили; два года уже прошло... Цветы выращиваем, я в область езжу продавать. И овощей когда в сезон прихватить: хорошо идут, прямо с колес...

Старик и вовсе оживился:

— И для собственного удовольствия, ну и для денег. Когда похоронят на собственные деньги — как-то спокойнее, приятнее перед людьми — не укорят.. Правильно я говорю?

"А может и не болезнь у нее, — тем временем думал он. — С чего это я взял?"

Был Фирсов мнительный, но не любил, когда лишний раз ему кто-нибудь напоминал об этом со смешком. Он смолк, углубился в свои мысли.

— А ты помнишь, — сказала дочь, вновь отвернувшись к боковому стеклу, — у нас стайка сгорела, когда поросят купили? Помнишь? И все шутили вы: наплодятся, торговлю по весне разведем, по шестьдесят рублей...

— Ну?

"Сейчас скажет: я видела, что проводка воспламенилась, могла предупредить, а не захотела почему-то... А я-то знаю, что видела и не сказала... А поросенок тогда еще не было: только собирались их покупать; перепутала ты, матушка..."

— Я видела, как проводка воспламенилась...

Слепень, дремавший на боковом стекле старика, отчаяно дернулся, зажужжал. Старик накрыл его рукой и сказал:

— Знаю.

— А я знала, что ты знаешь: я все эти годы знала... — И она засмеялась сухо, трескуче.

Чувство в старике потухло, вернулось знакомое томительное раздражение, которому, казалось, не будет конца. Теперь они ехали молча. Жара усиливалась. Нина проговорила, копаясь в сумке:

— Жарко... Хорошо бы искупаться, папа... Тут есть где-нибудь? Я и купальник с собой прихватила...

Странные мысли родились в голове старика; он не сразу ей ответил, скрытно ухмыльнулся:

— Подожди маленько, доедем до места хорошего: там вода широкая, тихая...

Вскоре из зелени вынырнула блистающая река. Старик остановил машину повыше места, где она делала мягкий поворот.

Здесь вода была тоже глубокая и темная, — здесь были смертельные воронки.

Дочь зашла за машину, стала сбрасывать одежду; она говорила:

— Тыходишь в воду, она все ласковее и ласковее обнимает тебя: до груди, до сердца... И вот вы растворились друг в друге: без памяти, навсегда, может быть...

Она помахала ему рукой у воды и стала входить. Фирсов смотрел. Вода дошла ей до пояса, — еще несколько шагов и дальше, как знал старик, было круто и навсегда.

Дочь остановилась и помедлив обернулась. Старик похолодел. Ему показалось, что дочь сейчас скажет: "Я знаю, что ты знаешь..." Скажет глубоко и спокойно: папа, я знаю, что ты знаешь...

— Иди, иди... — ласково проговорил Фирсов; их разделяло метров десять.

— Там, у тебя за спиной, ветер... — проговорила Нина.

— Что за спиной? — не понял Фирсов.

— Ветер...

— А, — старик угодливо улыбнулся. — Понимаю, ветер... как же, очень даже ветер... дует, так сказать... ну ты, доченька, иди, иди дальше в воду, поплавай...

Теперь мысли у старика были беспорядочные, — неожиданная возможность покончить со своим беспокойством навсегда, торопила их. И он сипло повторил, уже приказал почти что:

— Иди!

— Там у тебя за спиной промозглый ветер, папа!

Вдруг под небом родился рокот моторной лодки. И тут же сама она выскочила из-за широкой излучины и вскоре поравнялась со стариком.

— Привет, Фирсов! — закричали с лодки.

А Нина уже шла обратно; она как бы убегала от волны. На берегу она коротко бросила:

— Мне что-то расхотелось, папа... Место неудобное...

В машине сидела притихшая, на старика ни разу не посмотрела до самого дома.

Скоро они приехали. Фирсов остался во дворе повозиться с машиной, бросил дочери совершенно равнодушно:

— Иди, мать тебя там встретит...

Старуха Фирсова была сухопарой, молчаливой женщиной. Своих искусственных челюстей она не любила, часто снимала их посреди дня. Тогда ослабший рот ее становился похож на морщинистый мешочек, стиснутый резиночкой. Челюсти она опускала в стакан с холодной водой, за свежестью которой, кстати, тщательно следила. Они покоились там — розовые, как земляничное мыло, облепленные пузырьками. А крошки хлеба и творога медленно выпадали в осадок.

Нина вошла в просторную избу. Старуха Фирсова сидела за пустым столом.

– Привет, мама! – в крепкой сельской избе ее приветствие прозвучало легковесно.

– Здравствуй, Нина – старуха отвечала сухо и как-то высокопарно. Она неловко приобняла дочь, потом сказала.

– Поживешь в маленькой комнате, где гардероб...

Маленькая, затемненная палисадником комната с гардеробом была самая уютная, как помнила она еще из детства. Она вошла и остановилась у окна. В окно рвалась зелень – голубой тюль не пускал ее. Нина отодвинула ткань, забросила ее легкий шлейф на белый куст и спросила, как бы испугавшись того, что сделала что-то не так:

– Можно так, мама?

– Можно, – бесцветно отвечала старуха. – А чего же без вещей?

– Я ненадолго совсем. Да и нет у меня никаких вещей...

– Это обстоятельство заставило старуху замкнуться.

– А я бы сейчас помогла чемоданы распаковать... – проговорила она, будто бы обидевшись.

Постояла сзади, – дочь глядела по-прежнему в затемненное окно и рука ее тянулась к сирени, – и ушла, предупредила:

– Буду чай накрывать.

Еще одно обстоятельство тревожило старика Фирсова, надо сказать. Дело в том, что в поселке гостило областное телевидение. Шли репетиции для того, чтобы заснять на пленку передачу, которая называлась то ли "За чашкой чая", то ли "От всей души", то ли "После страды". Старики Фирсовы тоже были приглашены, старик Фирсов учил наизусть глубоко душевную речь, старуха тоже учила. Через день они ходили в Дом культуры на репетиции. Там молодой оборотистый режиссер вышагивал царьком между столами с чашками и самоварами, в которых пока что, правда, не было чая; и напористо говорил:

– Главное, товарищи, в камеру не тарашиться. Как будто бы вас никто не снимает. Сидим спокойно и достойно, руки на коленях, они отдыхают после тяжелой, самоотверженной страды...

Все в новых топористых костюмах, при орденах, медалях и других почестях, сидели тяжело и чопорно: все, как один, короткостриженные, крепкоголовые. Это-то мимолетное обстоятельство весьма почему-то нервировало режиссера – человека тонкого. Режиссер закатывал глаза, бурно падал в кресло, задирая ввысь руки, – к слову сказать, короткие, пухлые, – и капризно кричал в адрес бедолаги-оператора:

– Не надо с затылков, о господи! Не надо этого странного плана!

И поглядывал на сельскую публику, как в зеркало. Он подмечал в глазах сельской публики восторг, испуг перед его красивым отчаянием.

И теперь Фирсову казалось, что приезд дочери будет иметь какое-то неприятное влияние на будущую передачу, а может быть, и вовсе сорвет ее. Но рассказали старики за чаем про эту передачу степенно. Умолчали только об одном – что всех будут снимать с

сыновьями, с дочерьми, с зятьями, — в общем, богатые трудовые династии.

Нина, однако, никакого любопытства не проявила, — и даже ей скучно было все это слушать, что старика как-то обнадежило. Но все, похоже, было против Фирсова в эти дни. В самый разгар чая появился у калитки режиссер, помахал рукой. Старуха воскликнула, нечто несуразное:

— Махмед Мамлиевич! — и пошла открывать.

Подвижный режиссер, — золотозубый, полноватый, — прямо с порога устремился к Нине:

— Наслышан, Нина Дмитриевна, наслышан. Как же — интересная сульба, прямо хоть фильм снимай. Родители — простые, скромные люди, а дочь в Москве, артистка. Ахмед Агамалиевич, — протянул он руку для знакомства. Необычно ловко для своей конституции изогнулся и поцеловал ее руку, чуть закатил глаза и с легкой игривостью в голосе произнес:

— Узнаю духи "Шанс"...

— Я не душусь вообще, — ответила Нина.

— Я фантазер, — нисколько не растерялся режиссер. — Люблю гипотетические миры. Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман... Итак, какова ваша альма матер, так сказать, — извините, Нина Дмитриевна, что я сразу к делу, профессия обязывает...

— Я кончила философский факультет МГУ, — сказала Нина. Никакая я не артистка.

Это не опечалило режиссера:

— Приходите к нам просто так...

Он, не стесняясь отсутствия стариков, стал шептать ей на ухо:

— Приходите, вы будете украшением передачи. Честно говоря, очень приятно видеть среди затылков и пиджаков такое таинственное, одухотворенное, — если хотите, — лицо...

Вот такое заманчивое предложение получила Нина, но ответила с некоторой неприязнью:

— Это таинственное лицо наполовину заслонено простудным прыщом. Я все-таки женщина и должна, кажется, к подобным вещам относиться ревниво... Но не в этом дело: просто завтра я уезжаю...

— Все понял: отступаю, отступаю... Жалко, — проговорил он вполне серьезно. — Как бы то ни было, — до свидания, Нина...

И он исчез также стремительно, как и появился, даже к чашке чая не притронулся. Но то обстоятельство, что дочь легко, ничем не заслужив, могла попасть в передачу, поставило старика Фирсова в тупик.

В девятом часу вечера жара начала спадать. Старик пошел во двор, было слышно, как он там возится со шлангами — тянул их к парникам, к зацеллофаненной оранжее.

А Нина решила прогуляться. Она вышла в центр поселка,

который так и назывался Центр, и часто сама она говорила в прошлом: пойду в центр, пришла из центра. Некоторое время посотояла она у шумного сельского заведения — пивнушки. Пивнушка эта называлась еще проще в народе — мордобойка. Во дворе мордобойки росло необычное для этих мест дерево — темный пышный кедр. Под кедром этим сейчас стоял Саня Шутов, — личность любопытная, личность в поселке популярная.

Саня Шутов был героем некоторой невероятной истории. В отрочестве он переболел полиомиелитом, но благодаря упорным физическим занятиям, сумел сохранить моторику. Правда, ногу потягивал, и голова заметно тряслась, и были возможны психические срывы, — но в общем, это была победа над собой. Газета "Пионерская правда" поместила на своих страницах фотографию и большую публикацию о мужественном мальчике. Он прославился на всю страну. Тысячи мальчиков и особенно девочек были восхищены его волей к жизни, к деятельности, направленной на то, чтобы быть полезным людям. Года три подряд он получал письма, на некоторые даже ответил, но потом как-то все само собой заглохло. К тому времени он кончил восьмилетку, поступил в ПТУ, но бросил, много пил, — в том числе и всякую дрянь в пузырьках, — жалостливо играл на гитаре, ходил в пивнушку. Мужики частенько его угощали: кружку-две, сигарет или какой-нибудь мелочи. Он уже в те годы был позапущен: опухший, несвежий, ногу волочит, голова трясется, — старая гитара за спиной. Умерла мать, стал он жить с незамужней сестрой в куцем родительском доме. Ругались, часто он ночевал в бане, — и может быть, бывал он даже битым и не всегда сытым, когда сестра обнаруживала в очередной раз какую-нибудь пропажу в доме или в личном ее гардеробе. Потихоньку он крал у нее, продавал в пивнушке или цыганам или армянам-строителям, — и имел с того жиденькую карманную денежку на личные расходы. Было ему теперь лет тридцать пять.

Он стоял под кедром — резиновые сапоги, в их голенища было направлено толстое зимнее трико, — тарашил голубые инфантильные глаза на молодую женщину. Можно было понять, что его удивило в ней больше всего: синие, резко острые клипсы. Наверно, он размышлял: откуда она возникла, непонятно чья и для чего тоже непонятно; встала, стоит и смотрит на него, на Саню Шутова.

— Я Нина Фирсова, — сказала она. — Вы меня помните, Саша?

— Конечно, помню, — обрадовался Саня Шутов.

— А я сразу вас узнала, Саша.

— А чего меня узнавать? Я самая примечательная личность в нашем околотке...

И Саня тут же распорядился ситуацией по-своему. В частности, Саня сказал:

— Простите, Нина, у вас не найдется двадцать пять копеек? Ей богу, не хватило до полного удовольствия одной-единственной кружки пива. Может быть такое?

Нина протянула ему мелочь, а через несколько минут он довольный вышел из пивнушки; постучал кулаком по животу:

— Теперь порядочек. А сигаретку?

Нина угостила его.

— "Ява", — сказал он уважительно. — Я вижу, Нина, вам нечего делать... Пойдемте со мной — вверх, к почте...

Приволакивая ногу, он жаловался на свою жизнь, на козни какого-то начальства, на сестру Алену — дура и все! Второй уже день он ночевал в бане. А сегодня пошел попросить у нее чего-нибудь поесть — не дала, чуть стулом не огрела.

— А посмотреть баню можно? — полюбопытствовала Нина.

— Конечно, — обрадовался Саня. — И даже нужно. Может, ее совесть прорвет перед людьми.

Они прошли по запустелому двору, огородом по тропинке вышли к бане. На полке было набросано какое-то старое тряпье, разодранные болоньи куртки. Широкая скамья у оконца была пуста. На узеньком подоконнике стояла свеча в банке и рядом старенький транзистор.

— Не дала, даже маленького кусочка не дала, — как-то не зло повторял Саня; чувствовалось, что он уже отупел от черствых деяний сестры; снял с плеча гитару и сел. Пахло терпко, пахло вениками, было сухо и вполне уютно.

— А что? — спросила Нина. — Вы баню вовсе не топите?

— А еще воспитательницей в садике работает, — заключил свою горемычную жалобу Саня; помотал головой. Потом ответил:

— Не топим, давно уже... Сестра к соседке ходит, а я у Семена Федорыча.

Как нелеп был, в сущности, их случайный союз. Он ни на чем не основывался, но ей почему-то не хотелось чтоб он распался.

— Я останусь здесь ночевать, места хватит, — вдруг заявила она; почти что просто так, даже не очень-то уверенная, что не передумает.

— Оставайся, — согласился Саня без каких-нибудь особенных эмоций. — Ляжешь внизу, я тебе парочку фуфаяк отвалю, точно...

Нина вытащила деньги и предложила сходить ему в магазин.

— Еще не закрыто? Купи хлеба, купи солянки, — знаешь такая бывает в стеклянных банках, — еще чего-нибудь на свое усмотрение.

Саня, ничего не сказав, выполз из баньки.

Она легла на скамью. Сквозь маленькое квадратное оконце она видела небо. Оно было малиновое, легкое, — умирал, о, умирал красавец вечер... Вспыхивали первые звездочки, они были похожи на крохотные электрические лампочки. Нина улыбнулась долгой-долгой улыбкой.

Саня вернулся скоро — приободренный, уже сожравши треть булки. Он открыл банку, стали есть.

— А ты меня, действительно, помнишь? — спросила Нина.

— Честное слово, помню, — горячо поклялся Саня, он как будто бы боялся уличения.

— Нет, ты можешь и не помнить, — пожалала Нина плечами.

— Да помню я, честное крестьянское! — Он ел быстро. — Ты еще такой была... ну, самая из всех красивая была... И платье у тебя было лучше всех... синее такое...

Тут в баньку вошел старик Фирсов. Нина поднесла спичку к свечке. Старик тяжело завис в дверях; был он угрюм.

— Пойдем, Нинка, домой, — сказал старик.

— Я буду здесь ночевать, папа.

— Почему? — спросил старик.

Нина вздохнула и ответила просто и ласково:

— Потому что мне так захотелось, папа...

Мысль о прошлых абортах, о сплетнях сверлила сознание старика. Он жалобно заговорил:

— Потаскушка ты. Как была, так и осталась. Как будто специально приехала на нашу голову — переспать да напомнить всему поселку, кто ты есть, лишний раз нас припозорить, — эх ты! Ладно бы с кем, ладно бы по-людски, тихо-крыто — нет, на виду у всех, по-собачьи, в бане, с шутком гороховым!

У Сани отвалилась челюсть:

— Ты чего Фирсов — трехнулся? У меня с детства не маячит после полимелита!

— А людям какое дело, — огрызнулся старик, — маячит у тебя или нет! Факт есть факт: укрылись вдвоем в баньке!

— Да вся Боготовка знает: у меня с детства не маячит...

Саня, вообще-то, отстаивал в себе импотента меланхолично, с мыслью: рад бы силу мужскую доказать, да против судьбы не попрешь.

Тут и старуха Фирсова подросла, она заходила в дом за Аленой. Старуха прямо с порога ткнула пальцем:

— Вот что тут происходит!

Алена повела своими тяжелыми, водянистыми глазами, в которых обычно не было никакого выражения:

— А что происходит?

— А вот: соитствуют!

Алена прыснула в большую холодную ладонь:

— Кто же соитствует?

— Эти вот! — У старухи на лице было брезгливое выражение.

— Ну и что? — Алена подумала и сказала. — Мы баню все равно не топим... И вообще, пошли вы все к черту! — Она сплонула у порога. — Сами разбирайтесь: не надо меня впутывать! — И ушла, громко хлопнув дверь. Делать было нечего: старики постояли, помялись и тоже ушли. Перед уходом, правда, Фирсов еще раз предупредил:

— Нинка, пойдем домой, говорю тебе...

Дочь промолчала. Легла на скамью и отвернулась от стариков к окну. И видела сквозь оконце, как старики шли по огороду: Фирсов оборачивался и почти что беззвучно зыкал на старуху; та, в ответ, махала руками.

Там, на полатях своих, Саня уснул быстро, — а она лежала без сна. Наконец, подула на огарок. Огонек метнулся, отразился в ее глазу, — и умер в этом зеркале, никому неизвестном.

Назавтра Фирсов отвез ее на станцию. Он сам пошел покупать билет, буркнув ей:

— Посиди здесь...

Нина села на пустой скамье у буфета и видела потную буфетчицу с химической завивкой. Густая косметика на ее лице, казалося, набухла потом, как бывает пропитан сладкой эссенцией бисквит. Еще секунда – безвкусовые краски начнут отваливаться от кожи.

Закрывать глаза.

Если бы она была буфетчицей, она бы смыла сейчас с лица химическую дрянь, вымыла бы кожу холодной чистой водой, выполоскала бы волосы, сбросила бы с пальцев сальное от пота чеповечье золото... А она все шебуришит и шебуришит липкой мелочью, все роется и роется в куче помятых трешек, – склонилась и колдует свою песню: долгую, однообразную.

Открыть глаза.

Копошится, дергается под носом у буфетчицы маленький, замызганный вентилятор, непонятный какого цвета, – так его обшарпало вокзалом и людьми. Копошится – на последних прожилках разгрести немножко хотя бы вокруг себя, – но как помочь ему? Глаза Нины, – и она чувствует, что нет сил помешать, – наполняются слезами, она подходит к стойке, она без очереди, она говорит простите пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, она просит:

– Вы, пожалуйста, выключите вентилятор, прошу вас... Ну, пожалуйста, женщина...

Буфетчица тянется к кнопке, вентилятор стихает.

И Нина говорит, она объясняет:

– Что-то замыкает: я видела искры; там, внутри, что-то замыкает, понимаете?

– Искры? – буфетчица пугается, но страх прошел, она зычным голосом кричит:

– Ну эти алкаши! Ну братва косорукая!

Она уходит в дверь, она там зовет:

– Николькин! Иди сюда сейчас же, Николькин!

Приходит человек. Он навеселе этот человек Николькин. Он грузчик, он электрик, он слесарь – один во всех лицах, хозяйчик глубокой внутренней жизни и этого буфета, и этого вокзала, и, может быть, этой станции вообще. Человек неунывающий, человек простой и коммуникабельный, незыблемый и понятный без микроскопа в любой дырочке жизни, в любое время года и суток, – и человек кошмарный в своей неунывающей веселости. Он обнадеживает, он бормочет, угодливо загребая вентилятор в охапку:

– Счас поправим, не бойсь; счас починим, мама ты наша до-рогая...

И уносит. Нина отходит, она почти что шарахается, она почти что бежит по залу: на воздух! На воздух – невольница глаз своих, сердца своего. Как-то не так сердце стучит, глаза не то видят, чтобы жить легко-легко, чтобы смеяться, зевать, болтать о том, о сем, вертеть головой по веселым сторонам – и все остальное и все другое, и все всякое-всякое, и долго-долго, каждый день, каждый год, до тех пор, пока не кончится жизнь...

Фирсов, между тем, ломился сквозь очередь, потому что в

кассе крикнули: "На Москву! На проходящий!" Люди не пускали Фирсова со зверским лицом и в ответ строили ему такие же зверские лица...

Но Фирсов достал. В самое последнее мгновение жилистая его рука выплеснула из живого человеческого мяса и первая сунула червонец в окошко:

– Мне один!

До поезда оставалось еще минут двадцать. Они снова стояли под теми же тополями. И на них уже оглядывались, и про них уже думали плохо и подозрительно; и уже здешний сержант шел к ним, расстегивая кобуру, шелкая предохранителем пистолета.

Но Фирсов терпел. Он знал, что все это скоро кончится и, быть может, не повторится уже никогда. Он потому смело и резко обернулся и во все легкие вдохнул холодного колючего воздуха, которым на него пахнуло от ствола пистолета – маленького, поблескивающего в руках белозубого сержанта, который медленно и неотвратимо надвигался на них: на отца и дочь...

Михаил СУХОТИН

ЖОЛТАЯ ПТИЧКА

... сижу я на заборе
и думаю о том,
как дядю милитона
пригробить кирпичом...

... и я упал, как падает мертвец...
(М. Л. "Ад" 5.142.)

Там Русью пахнет,
там ханты-манси,
там скоро жажнет,

там ходят в трансе
колонны пьяниц
в пустом пространстве,

и русский палец
никак не вынет
американец,

там преет вымя
в противогазе,
там скоро хлынет,

сиротка Хася
там пьёт остатки,
там путь опасен,

где в устье матки
лежит в припадке
трёхчлен квадратный.

Там зять проходит
у дома теши
и в окна шкодит,

Там Гоголь хочет
остаться мёртвым,
живя наощупь,

призывом гордым
к свободе вечной
там от абортот

родится нечто
в его шинели
и спит беспечно,

пока из щели
не выйдут дрожжи
поползновений,

великих множа,
и гад ползучий
взлететь не сможет.

* * *

— Скажи-ка, дядя,
не мы ли скифы,
в глаза мне глядя.

– Нет, мы не скифы.

– А кто же скифы?

– Никто не скифы.

– А как же скифы
с раскосой рожей?

– Да так и скифы,

что непохожи,
а мы похожи, —
мы люди Божьи.

* * *

Там чудь с калмыком,
манегр с якутом
и ныне дикий,

на берегу там
торчит запонка,
а по закутам

идёт возгонка,
пока не вяжут
хмыря-сучонка,

он всем покажет
клеша и шляпу,
он всё расскажет:

как маму-папу
зарезал финкой,
как после плакал,

но под сурдинку
душил ширинкой
сестру-кровинку.

Из-под моста там
себе на гибель
ползёт хвостатый

немецкий лидер,
не вор – не пойман,
Иосиф Гитлер,

его дрекольем
пытают наши
и поят пойлом

пока не скажет,
что был евреем,
а стал чувашем,

там свет не греет
у лукоморья,
там след звереет,

ведя в подполье
к спитой крамоле
на хлебосолье.

На дне оврага
ГМЫРЬГОЭЛРО там
ПОТРЕБГУЛАГа,

там ГОСПРИРОДА
в ЧЕЛОВЕК-ЧАСЪе
исходит потом,

пока из грязи
не выйдет боком
ЖИЛТРЕСТПРОМСЧАСТЬЕ,

пока дорога
не хлынет горлом
СОЮЗПОТОКа,

ЗАМКОМПОМОРДу
там ДАЗДРАПЕРМА
вручает орден

к 100-летью НЭПа
по ГОСТу неба
за горстку хлеба.

* * *

- А ты пришел, брат...
- Да, исповедать.
- Благодарю, брат.

Хочу поведать
тебе о том, брат,
что смел наделать.

- Ну, говори, брат
- Я смел наделать,
что говорю, брат.

- Так что же делать,
как не поведать?..
- Не говори, брат...

* * *

Там торч и таска,
там на приходе
ништяк и тряска,

там дринк на йоде
и джеф на водке,
там леший бродит,

там круче ломки,
когда кидают
из-за коробки,

там грызло жарят
на ацетоне
и всех кумарит,

там на ладони
траву мастырят
и дрянь готовят,

там влом машине
узлы и дыры
искать по жиле.

Больному врач там
глядит в отверстие,
читая мрачно

в клочке "Известий"
блатные строки
народной песни,

сорвав уроки
там мальчик Вова
сидит на стройке,

ища Петрову
среди отбросов
на шею провод,

там, как Морозов,
отец солдата
от крови розов,

спина мента там
плюёт томатом
и кроет матом.

Там с толстым плавать
должна худая,
там вяжет лапоть

жена Мазая,
в проём оконный
переползая,

там у зелёной
ограды раком
стоит смущённый

иеродьякон,
там зайцы тонут
за буераком,

там крик и стоны,
там Ржевский ищет,
сорвав погоны,

кровавой пищи,
там ветер свищет
на пепелище.

* * *

– Ведь день грядущий
нам всем готовит
чтоб было лучше?

– Нет, он готовит,
чтоб было хуже,
и приготовит.

– А почему же
мы ждем, чтоб лучше?

– Да просто – лето,

к тому же – Пушкин,
и кстати – Лермонтов,
гуси, снег...

Там чукча тянет
на юкагира,
там ухо вянет,

там палы-выры,
атас и зыко,
там не до жиру,

там в каждой книге
цветут маразмы
и зреют фиги,

там б согласных,
крепясь, друг другу
снимают спазмы,

там терпит муку
герой-Чепурный,
обняв дерюгу,

вздыхая бурно
и нецензурно
в конце амурном.

В дыму пожара
там в то же время
качает жалом

младое племя,
на перепутье
роняя семя,

там кормят грудью
орлят бескрылых,
там что-то будет,

там встать не в силах
лежачий камень,
там крокодилу

значок терзает
больную попу,
там сука лает,

из гардероба
на всю Европу
срывая злобу.

Там летом в поле
видать далече
орла на воле,

там искалечен
звездой падучей
товарищ женщин,

и там в падучей
трясёт кого-то
несчастный случай, –

про илиота
потом он пишет,
там душит рвотой

мальчиш-Плохиша
семья и школа,
там мокрый чижик

уже не молод,
там серп и голод,
там смерть и холод.

* * *

— Я жив и знаю:
ведь ты бессмертна,
душа, — я знаю.

— Да, я бессмертна,
но ты не знаешь
как я бессмертна.

— И не узнаю
уже, наверно?
— Нет, ты узнаешь:

ведь я бессмертна,
и я бессменна
одновременно.

* * *

Там шум клозета —
большое дело,
там ждёт ответа

птах-Филомеда
от птицы-Проклы,
и та несмело

по крыше сопли
несёт на помощь
удоду-рохле,

в глухую полночь
там всем не спится,
там хрен — не овощ,

там ловят птицу
глухие СОВы,
там едет в Битцу

участник ВОВы,
согнув в подкову
живое слово.

Малютки чёрта
там всех страшнее,
там козья морда

с петлёй на шее
в районном морге
деревенеет,

там повар ноги
в компоте моет,
там по тревоге

сперматозоид
когтит добычу
и землю роет,

там есть обычай:
всем скопом слушать
распевы птичьи

и в дождь и в стужу
жене и мужу
душой наружу, —

жёлтая птичка на ветке сидела
и такую песенку пела:

укусила мушка собачку
за большое место, за сра...

зу стала собачка плакать, —
как теперь я буду ка...

к поеду я в Европу
полечить свою больную жо...
лтая птичка на ветке сидела
и такую песенку пела:

.....
.....

Стихи из ленинградского самиздатского журнала «Митин журнал».

Владимир НАБОКОВ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(Из лекций по русской литературе)

В "Моём детстве" Горький подвёл итог своей жизни в доме его деда со стороны матери, Василия Каширина. Это мрачная история. Дед был деспотичным скотом. Двое его сыновей – дядья Горького – хоть и ужасались своего отца, но в свою очередь запугивали своих жён и детей и помыкали ими. Атмосфера складывалась из нескончаемых оскорблений, бессмысленных пощёнок, жестоких телесных наказаний, денежных стяжательств и тоскливых молебствий к Богу.

"Между казармой и тюрьмой, – говорит биограф Горького, Александр Роскин, – в море грязи рядами стояли дома, серые, зелёные, белые. И в каждом из них так же, как и в семье Каширина, люди дрались и бранились из-за того, что сгорела каша или убежало молоко, в каждом из них преобладали такие же мелкие интересы: о мисках и кружках, о самоварах и блинах, и в каждом из них люди, как религиозный праздник, почитали дни рождения и дни поминок, наедаясь до того, что готовы были лопнуть, и напиваясь как свиньи".

Это было в Нижнем Новгороде и в социальной среде наихудшего сорта, – в той, мещанской, по статусу только что выше крестьянина и на низшей ступени мелкой буржуазии, – социальной среде, которая уже утратила благотворную связь с почвой, но ничего не приобрела, чтобы заполнить созданную таким образом пустоту, и, следовательно, стала жертвой худших пороков мелкой буржуазии, ничем не возместив её достоинств.

У отца Горького тоже было тяжёлое детство, но впоследствии он стал достойным человеком. Умер он, когда Горькому было 4 года и поэтому его вдова вернулась с сыном жить обратно в свою ужасную семью. Единственной счастливой памятью тех дней для Горького была память о его бабушке, которая, несмотря на её злое окружение, поддерживала в себе некий род бодрствующего оптимизма и великодушия. Только благодаря ей мальчик узнаёт, что здесь может быть счастье, что всё-таки жизнь была счастьем, несмотря ни на что.

В возрасте 10 лет Горький начал зарабатывать. Он был поочередно мальчиком на посылках в обувной лавке, судомойкой на пароходе, учеником чертёжника, подмастерьем иконописца, старьевщиком и птицеловом. Затем он открыл книги и начал читать всё, за что мог ухватиться. Вначале он читал неразборчиво, но очень скоро достиг тонкого восприятия настоящей литературы. Он испытывал страстное желание учиться, но скоро понял, что у него нет шансов быть принятым в Университет, поступать в который он приехал в Казань. В своей полной нищете он попал в компанию босняков (русские беспризорники) и сделал там те бесценные наблюдения, которыми позже шокировал читательскую публику столиц.

Со временем он опять пошёл на работу и служил помощником булочника в подвале пекарни, где рабочий день длился 14 часов. Вскоре он стал сотрудничать с революционным подпольем, где он встретил больше близких по духу людей, чем среди рабочих пекарни. Он продолжал читать всё, что мог: литературу и науку, книги по социальной и медицинской тематике, всё, что он мог достать.

В возрасте 19 лет он попытался покончить с собой. Рана была опасной, но он поправился. Знаменитое истолкование в его записной книжке начиналось так: "Ответственность за мою смерть я возлагаю на немецкого поэта Гейне, который открыл зубную боль сердца".

Он побрёл пешком через Россию в Москву и так пришёл к дому Толстого. Толстой был в отсутствии, но графиня встретила его на кухне и угостила кофе с булочками. Она заметила, что множество

беспризорников собираются, чтобы увидеть её мужа, с чем Горький любезно согласился.

Вернувшись в Нижний, Горький квартировал в одной комнате с двумя революционерами, сосланными из Казани за участие в студенческом бунте. Когда полиция получила ордер на арест одного из них и обнаружила, что тот улизнул, Горький был арестован для допроса.

"Что за касательство имеете Вы к революции?.. – говорил генерал-жандарм по ходу допроса. – Вы пишете стихи и тому подобное... Когда я Вас выпущу, Вам бы лучше показать свои вещи Короленко". Спустя месяц тюремного заключения Горький был освобождён и, воспользовавшись советом полицейского, отправился повидать Владимира Короленко. Короленко был очень популярным, но довольно второстепенным писателем, любимым интеллигенцией, подозреваемым в революционных симпатиях полицией, и очень уступчивым человеком. Тем не менее его критика оказалась столь суровой, что испугала Горького, и он надолго бросил писать, уехал в Ростов, где устроился на время грузчиком. И не Короленко, а Александр Калюжный, революционер, случайный знакомый по Тифлису на Кавказе, помог Горькому найти свой путь в литературе. Очарованный живыми горьковскими историями обо всём, чему тот был свидетелем в своих нескончаемых скитаниях, Калюжный настоял, чтобы Горький записал их в тех простых словах, которыми он их рассказывал. И тот же самый Калюжный взял написанный Горьким рассказ в местную газету и напечатал его. Шёл 1892 год, и Горькому было 24.

Как бы то ни было, Короленко позже оказал большую помощь – не только полезным советом, но также и тем, что нашёл Горькому работу в канцелярии газеты, с которой сам он был связан. В течение того года журналистской работы в Самаре Горький посвящал себя литературе. Бедняга, он учился, пытался совершенствовать стиль и регулярно писал рассказы, которые печатал в газете. Уже в конце года он стал хорошо известным писателем и получил множество предложений от поволжских газет. Он принял предложение из Нижнего и вернулся в свой родной город. В своих писаниях он грубо бил на горькую правду современной ему русской жизни, но всё ещё каждая написанная им строка была проникнута непобедимой верой в человека. Хоть это и странно звучит, этот изобразитель мрачайших сторон жизни, ужаснейших жестокостей, был и самым большим оптимистом из всех, порождённых русской литературой.

Его революционность и в самом деле была светлой. Это прибавляло ему известности среди радикальной интеллигенции, но это также и усиливало бдительность полиции по отношению к личности, которая уже в течение длительного времени фигурировала в списках подозрительных субъектов. Вскоре он был арестован, потому что его фотография со строкой посвящения была найдена в комнате, снимаемой другим человеком, арестованным за революционную деятельность. Но, как бы то ни было, вскоре он был освобождён за недостатком улик. Он вновь вернулся в Нижний. Полиция установила за ним слежку. Странные индивидуумы всегда ошивались около двухэтажного деревянного дома, в котором он проживал. Иногда один из них, сидя на скамейке, делал вид, что праздно обозревает небеса. Другой, бывало, прислонясь к фонарному столбу, был, якобы, погружён в содержимое газеты. Извозчик, остановившийся возле парадной двери, тоже странно вёл себя: он охотно был готов подвести Горького или кого-нибудь из его посетителей, куда бы они ни изволили, и если потребуется – бесплатно. Но он никогда не взял бы какого-нибудь другого седока. Все эти люди были попросту полицейскими шпиками.

Горький стал погружаться в филантропическую деятельность. Он организовал Рождественское общество для сотен беднейших детей, открыл уютный приют для безработных и бездомных с библиотекой и фортепиано, начал движение посылке альбомов с картинками, вырезанными из журналов, деревенским ребятишкам. Кроме того, он начал принимать активное участие в революционной работе. Так, он тайно перевёз запрещённую прессу из Санкт-Петербурга в Нижне-Новгородскую революционную группу. Это было серьёзным нарушением закона. Он был арестован и заключён в тюрьму.

Общественное мнение, бывшее силой, которую не так-то просто было сбросить со счетов в предреволюционной России, отозвалось о Горьком со всей решительностью. Толстой выступил в его защиту, и волна протеста прокатилась по России. Правительство было вынуждено общественным мнением освободить Горького из заключения и перевести его на домашний арест. "Наряд полиции был приставлен к его прихожей и кухне. Один из полицейских постоянно совался в его работу", – негодует биограф. Тем не менее немного далее мы обнаруживаем, что Горький "привык к такой своей работе, часто писал допоздна", а также, что ему "случалось встретить" приятеля на улице и преспокойно вести с ним беседу о приближении революции. Не Бог весть какое страшное преступление, я бы сказал. Но "полиция и тайная

полиция были бессильны изолировать его". (Советская полиция изолировала бы его во мгновение ока). Встревоженное правительство предписало ему отправиться жить в Арзамас, тихий городок в южной России. "Репрессии по отношению к Горькому вызвали гневный протест Ленина", – продолжает г. Роскин. "Один из передовых европейских писателей, – заявлял Ленин, – единственное оружие которого – свобода слова, был изгнан автократическим правительством без судебного разбирательства".

Его болезнь, чахотка, как и в случае с Чеховым, усугубилась в изгнании, и его друзья, включая Толстого, оказали давление на влиятельных лиц. Горькому было разрешено поехать в Крым.

Перед тем в Арзамасе Горький под самым носом у тайной полиции активно принимал участие в революционной работе. Он также написал "Мещан", пьесу весьма скучную, живописующую однообразную и душную среду, в которой прошло его собственное детство. Она так никогда и не стала знаменитой настолько, насколько его следующая пьеса "На дне". "В тихом Крыму, сидя однажды вечером на веранде в сгущающихся сумерках, Горький размышлял вслух о своей новой пьесе: герой – бывший лакей в богатой семье, которого превратности жизни привели в ночлежный дом, откуда он никак не может выбраться. Всё бесценное имущество этого человека – воротничок рубашки, единственный предмет, связующий его с прежней жизнью. Ночлежка забита битком, там каждый ненавидит другого. Но в последнем акте наступает весна, сцена заливается солнечным светом, и её обитатели покидают своё убогое жилище, забыв ненависть и ободряя друг друга" (Роскин. "С берегов Волги").

Когда "На дне" была закончена, она существенно переросла этот краткий скетч. Каждый обрисованный характер был живым и представлял собой выигрышную роль для хорошего актёра. Театральную постановку осуществил Московский Художественный Театр, снискав огромный успех и принеся пьесе популярность.

Наверное, уместно будет сказать несколько слов об этом замечательном театре. До того, как он появился, все лучшие театральные силы тяготели к Императорским театрам Петербурга и Москвы, которые располагали немалыми средствами и могли ангажировать самые яркие таланты. Правда, администрация этих театров была весьма консервативна в своих художественных вкусах, и постановки в лучшем случае оказывались безнадежно традиционными. И все-таки для любого по-настоящему талант-

ливого актёра вершиной карьеры был выход на сцену Императорского театра. Нищие частные театры ни в каком отношении не могли конкурировать с Императорскими.

Когда Станиславский и Немирович-Данченко основали свой маленький московский театр, положение стало изменяться.

Уже совсем было погрязший в пошлости, театр воспрял, чтобы стать тем, чем он и должен быть: храмом чистого и неподдельного искусства. Московский Театр не был коммерческим предприятием – он стремился к художественному совершенству. В МХТ не было больших и маленьких ролей. Лучшие актёры никогда не отказывались от самых маленьких ролей, и их дарование снискивало им огромный успех в любых ролях. Ни одна пьеса не выходила к зрителю до тех пор, пока режиссёр не был уверен, что актёрское исполнение и все детали постановки безупречны, сколько бы репетиций на это ни потребовалось. Время не имело значения. Дух энтузиазма в этом благородном деле вдохновлял каждого члена труппы, а если какая-нибудь другая цель становилась для него значительнее поиска художественного совершенства, то он покидал театр. Актёры жили одной большой семьёй и работали над спектаклями так, как если бы вся их жизнь была одним большим спектаклем. Их труд требовал самопожертвования, и в то же время это была удивительно согласованная работа. Никому не позволялось заботиться о собственной игре или успехе больше, чем об игре всей труппы, об общем успехе. После подъёма занавеса вход в театр полностью прекращался. Аплодисменты между актами не допускались.

О духе Театра, пожалуй, достаточно. Коснёмся теперь основных идей, которые произвели революцию в русском театре и превратили его из слабого, подражательного, готового следовать лишь надёжным зарубежным образцам, в могучий художественный организм, который сам стал образцом, вдохновлявшим западных режиссёров.

Главная идея состояла в том, что актёр должен был отказаться от устарелых технических приёмов и все свои силы и внимание употребить на то, чтобы проникнуть в душу того героя, которого он собирался изобразить. Готовя роль, актёр должен жить жизнью своего героя: освоить его манеры и интонации, чтобы, когда он выйдет на сцену, эти манеры и интонации были для него совершенно естественны.

Что бы ни говорилось за или против этого метода, важно одно: где бы талантливые люди ни делали искусство с единственной целью искреннего служения ему изо всех сил своего дарования,

результат всегда оказывался положительным. Так было и с Московским Театром. Его успехи были потрясающими. Очереди за билетами выстраивались уже накануне продажи. Талантливые молодые актёры искали возможности поступить в МХТ, предпочитая его Императорским драматическим труппам. Вскоре театр разделился на три студии, каждая из которых начала художественные эксперименты в своём собственном направлении. Одна из студий, Габима, ставила спектакли на иврите, несмотря на то, что её главный режиссёр и некоторые актёры были антисемитами. Все три студии достигли поразительных художественных результатов.

Лидером театра был Станиславский: основатель театра, режиссёр-постановщик и один из лучших актёров, в то время как Немирович оставался лишь очередным режиссёром-постановщиком.

Выдающимися успехами театра были постановки пьес Чехова и "На дне" Горького, которые никогда не исключались из репертуара и, возможно, всегда будут связаны с именем Театра.

В начале 1905 года – года так называемой Первой Русской Революции – правительство приказало солдатам стрелять в огромную толпу рабочих, пришедших с мирной целью: вручить петицию царю. Позже стало известно, что процессия была организована провокатором. Было много убитых, в том числе детей. Горький написал воззвание "Всем русским гражданам и общественному мнению стран Европы", в котором обвинял царя в преднамеренном убийстве. Естественно – он был арестован. Тут же со всей Европы посыпались протесты по поводу его ареста: от знаменитых ученых, политиков, деятелей искусства, и правительство опять пошло на уступки и освободило его, (представьте себе, как пошло бы на уступки нынешнее советские правительство), после чего он отправился в Москву и открыто помогал готовить Революцию, собирая деньги на закупку оружия и превратив свою квартиру в арсенал. Революционно настроенные студенты активно упражнялись в стрельбе у него на дому.

Когда Революция потерпела поражение, Горький ускользнул за границу – в Германию, во Францию, а затем в Америку. В Соединенных Штатах он выступал на митингах, продолжая обличать русское правительство. Кроме того, он написал здесь свою известную повесть "Мать", весьма второразрядное произведение. С этого времени Горький жил за границей, большей частью на Капри, в Италии. Он оставался открыто связанным с

русским революционным движением, посещал заграничные революционные съезды и стал близким другом Ленина. В 1913 году правительство объявило амнистию, и Горький не только вернулся в Россию, но и начал издавать там свой собственный большой журнал "Летопись".

После Большеви́стской Революции на исходе 1917 г. Горький, пользовавшийся большим почётом у Ленина и прочих большевистских лидеров, стал главным авторитетом в литературных делах. Использовал он этот авторитет со скромностью и выдержкой, ясно сознавая, что во многих литературных вопросах его скудная образованность не позволит ему вынести здравое суждение. С 1921 по 1928 он опять живёт за границей, большей частью в Сорренто, отчасти из-за своего туберкулёза, отчасти из-за политических разногласий с Советами. В 1928 г. он был возвращён обратно. С 1928 до самой своей смерти в 1936 г. жил в России, издавал несколько журналов, писал пьесы и рассказы и продолжал сильно пить, что он и делал большую часть своей жизни. В июне 1936 г. Горький сильно заболел и умер на роскошной даче, представленной ему советским правительством. Несомненные улики указывают на то, что он был отравлен советской тайной полицией.

Как художник, Горький ничего особенного не представляет, но как яркий феномен в социальной структуре России он не лишён интереса.

Выберём и рассмотрим типичный горьковский маленький рассказ, например, "На плотях" (1895). Разберём авторский метод экспозиции. Некий Митя и некий Сергей ведут плот через широкую и туманную Волгу. Хозяин плота, находящийся где-то впереди, зло кричит на них, и Сергей ворчит с недовольством в сторону читателя: "Ори! Твой-то чахлый сын соломину о колено не переломит, а ты его на руль ставишь, да и орешь потом на всю реку (чтобы читателю было слышной – В. Н.). Жаль было ещё работника нанять кошев-снохачу (Сергей переходит на монолог – В. Н.). Ну и рви теперь глотку-то!.." Далее автор как бы дорисовывает эту реплику, – и Бог знает сколько авторов пользовались этим специфическим приёмом: "Сергей ворчит уже громко", как если бы он хотел быть услышанным (услышанным публикой, – добавляем мы. В этом случае сцена смотрится прекрасно: как будто на подмостках идёт некая старомодная пьеса со слугой и служанкой, вытирающими пыль с мебели и разговаривающими о своих хозяевах).

Вскоре мы узнаём из длинного монолога Сергея, что отец сначала сосватал своему сыну Мите хорошенькую жену, а потом сделал невестку своей любовницей. Сергей, отъявленный циник, насмеяется над бедным хандрящим Митей, и оба говорят на протяжении всего рассказа в риторическом и фальшифом стиле, который Горький приберегал для таких случаев. Митя объясняет, что он едет вступать в религиозную секту, и глубины старой доброй русской души убедительно открываются читателю. Сцена перемещается на другой конец плота, и теперь отец показан со своей возлюбленной Марьей, женой его сына. Он – сильный и колоритный старик, она – привлекательная женщина. Она движется со звериной грацией кошки (рысь – это более поздний вариант) и склоняется к своему любовнику, продолжающему говорить. Мы не только вновь слышим высоко-бормочущий тон авторской речи, но почти видим самого автора, прокрававшегося к своим персонажам и раздающего реплики, "Грех делаю, точно. Знаю". – говорит старый отец. "Тяжко ему? Я знаю. А мне?" и т. д. Оба диалога – между Митей и Сергеем и между стариком и Марьей – автор старается сделать как можно более правдоподобными, дать своим персонажам слова, как бы это сделал старый драматург: "Было говорено об этом не раз уж". В противном случае автор должен был бы ожидать читательского недоумения: почему необходимо было переносить две пары людей с земли на плот посреди Волги для того, чтоб дать им поговорить о своих конфликтах. Ведь если допустить постоянную повторяемость этой картины, то никто не сможет узнать, идёт ли плот куда-нибудь вообще. Кроме того, люди не имеют обыкновения подолгу разговаривать, когда они плывут в густом тумане через широкую и сильную реку, но здесь это, я полагаю, как раз и есть то, что называется "абсолютным реализмом". Начинается рассвет, а это то, что Горький умеет делать через описание природы: "Бледно-изумрудный ковёр лугов блестел бриллиантами росы" (почти ювелирная выставка). Между тем на плоту отец решает убить Митю, и "загадочная чарующая улыбка" играет на женских устах. Занавес.

Здесь мы должны заметить, что схематические характеры и механическая структура сюжета у Горького выстраиваются в таких же безжизненных формах, как в фавлье или моралите. Мы должны также отметить низкий уровень культуры (то, что мы называем в России "полуинтеллигентность"), губительный для настоящего писателя, чья природная сущность позволяет ему творить чудеса, даже если он необразован. Но логическая

доказательность и пристрастие к рассуждениям, чтобы иметь успех, нуждаются в интеллектуальных границах, а их Горькому, очевидно, недоставало. Желая компенсировать убогость своего искусства и хаос идей, он находит удовольствие в громкой теме, контрасте, конфликте, в ярости и грубости, – и поскольку так называемый "сильный рассказ" сбивает благосклонного читателя с толку, то Горький произвёл сильное впечатление на своих читателей в России, а затем и за рубежом. Я слышал, как вполне разумные люди утверждали, что крайне фальшивый и сентиментальный рассказ "Двадцать шесть и одна" – шедевр. Эти 26 несчастных изгнанников работают в булочной – грубые, вульгарные, сквернословящие люди, окружающие едва ли не религиозным поклонением юную девушку, которая ежедневно приходит за хлебом, а затем неистово оскорбляющие её, когда её соблазняет солдат. Это представлялось чем-то новым, но при внимательном рассмотрении видно, что рассказ – традиционный и решительно являет собой пример старой школы сентиментальной и мелодраматической литературы. В нём нет ни одного живого слова, ни одного живого изречения, если это не рэди-мэйд, он весь – верх слащавости, разве что количество копоты, прилипшей к нему, делает его привлекательным.

Отсюда всего один шаг до так называемой Советской литературы.

Перевод М. Сухотина

АНТИУТОПИЯ НАШИХ ДНЕЙ

Заметки о романе Леонида Латынина «Гример и Муза», вышедшем в 1988 г. в издательстве «Советский писатель» под названием «В чужом городе».

Действительно, не приведи Бог оказаться в том Городе, не имеющим вроде бы ничего общего с Тегераном, Глазго и Вологдой, да и прописки во времени, но, при вчитывании в его неочевидные смыслы, предстающим вдруг Городом-побратимом тех, что были описаны Замятиным, Оруэллом, Хаксли...

Вечный вопрос взаимоотношений между разумным государством и свободной личностью (или пытающейся быть свободной) пронизывает произведения названных авторов.

Я говорю о принципиальной проблеме: общество – личность, не уходя в описание вариантов.

В романе Латынина "Гример и муза" общественное устройство Города подчинено жестко-кастовой схеме. На вершине социальной лестницы – "Стоящий-над-всеми". Его лицо максимально приближено к лицу некоего Образца. Все члены авторитарного общества стремятся уподобиться Образцу, но не всем это удается в равной мере. Многое зависит от природного сходства, но еще больше – от тех, кто владеет искусством изменять лица горожан. Главный герой романа – Гример – принадлежит к этой привилегированной касте: ведь судьба каждого из членов общества зависит от мастерства гримеров.

Страшная, но до мелочей знакомая картина. И при фараоне Тутмосе Третьем в эпоху Нового Царства, и во время Империи Великих Моголов, и когда "Союз нерушимых республик свободных" сделался полигоном для параноидальных амбиций кровожадного Джугашивили – мы встречались со "Стоящими-над-всеми", уже получали примерное представление о том, как действует универсальная система идеологического оскопления

граждан, как из них под предлогом подчинения всех членов общества "высшей идее" вытраивается до последнего остатка то, что человека делает человеком.

А тот, кто попал в диссонанс с мнением Великого Инквизитора (Большого Брата, сотрудника КГБ и т.д.) со временем пожирается "разумным государством". Отступника, пользуясь выражением автора "Гримера и Музы", приговаривают к Уходу.

В романе тема Гример — тоталитарное общество переплетена с не менее важной темой. Темой творчества. Творчества как возвращения Гримера к изначальным нравственным ценностям Человка. Возвращения к Истине, Добру, Красоте.

Гримеру руководством Города, где все время пасмурно, льет дождь и все апокалиптично, "оказано высокое доверие". Он, Гример, должен разработать новый Образец. И для "Стоящего-над-всеми", и для "имеющих имя", и для стоящих на еще более низкой ступени членов общества, тех, кто обладает лишь порядковым номером..

Ни дать, ни взять — в Городе идет грандиозная ПЕРЕСТРОЙКА. Анонимный правитель общества, видимо, почувствовал, что настал час бросить в умы горожан бродильный грибок очередного лозунга об очередной сверхмудрой переориентации масс на новый Образец. Общество взбурлило. У того, кто был ничем, появилась возможность стать всем...

Но, создав новый Образец, Гример погиб. Еще во время Великой Операции в нем пробудился подлинный творец. Творец подошел к созданию нового Образца неформально. Гример поверил в сотворенное и прозрел истину: смена старого Образца на новый повлечет за собой хаос. Хаос повлечет за собою Гримера и в конечном счете его уничтожит (вспомним судьбы многих певцов многих революций; в России это — петля Есенина, пуля — Маяковского, отравление сталинскими псевдоврачевателями Горького). Парадоксально, но Гример выпивает чашу до конца.

Рядом с ним — Муза. Любимая женщина. Печально то, что единственное благо, которое Гример успел Музе оставить перед своим уходом в небытие, это новое лицо.

Читая завершающие строки романа Латынина невольно ужасаетесь тому, что главный герой ничего не сумел изменить в страшном Городе. Суть, конечно, не в том, что Гримеру надлежало заняться революционной деятельностью или пописывать прожекты об общественном переустройстве, посылая их руководству Города. Страшно то, что живой и страдающий Гример живо и беззаветно отдался главному делу жизни, изменению общественного Образца, но и это мероприятие, в сущности, блефовое, не дало Гримеру ответа на вопрос о смысле жизни. Да, любимая Муза осталась жить. С лицом, соответствующим новому Образцу.

Автор романа возвращает читателя к больному вопросу: но, изменив лицо, стоит ли жить? И второе. Всегда ли ждет Голгофа не изменивших лицо?

Данная заметка вовсе не претендует стать литературоведческим анализом романа "Гример и Муза". Она, скорее, из жанра

приятных читательских недоумений, когда вдруг под грифом издательства "Советский писатель" видишь опубликованный несветский роман. Я даже сказал бы внесветский. Ибо роман "Гример и Муза" — роман интервременной, время действия его — вечность, место — родина любого из нас, герои — мы сами.

Говорят, Сулов, читая роман Гроссмана, сказал, что его можно будет напечатать через 200 лет.

Читая роман Латынина, ходивший по рукам интеллектуалов лет семь назад, я думал: это не будет напечатано **никогда**.

Никогда, поскольку роман "Гример и Муза" не антисталинский, а антитоталитарный. Я не берусь судить, вышел роман Латынина в СССР по цензурному недосмотру (в романе нет радующего взор светлого будущего) или настолько в воздухе "полевело", очевидно лишь то, что русскоязычная литература обогатилась ярким талантливым произведением.

Вернусь к авторскому предисловию: "...власть тьмы совершенна, а зажженный человеком огонь только ярчей и различимей".

Человек — раздвигатель тьмы. Человек, гибнущий ради света и остающийся в Любви и Творчестве. Таков, по-моему, ведущий мотив романа "Гример и Муза"

Перед самой смертью Гример повторяет слова: "Ты причина происходящего".

Независимо от времени и пространства Человек именно так смотрит на вещи. Загипнотизированность Гримера новым Образцом отомстила Гримеру смертью. Думается, необязательно эта смерть должна была оказаться физической. Равно как не любой тиран, цивилизуясь и утончаясь, должен соответствовать оценке Сен-Жюста ("Всякий правитель обгагрн кровью").

Многое зависит от согласия сторон, от свойств каждой конкретной личности: абсолютный диссидент Вийон, либерал по четвергам Евгений Евтушенко и, скажем, готовый по соцреалистическому свистку родную мать в содаты сдать, какой-нибудь Юрий Бондарев.

Заканчивая разговор о романе Леонида Латынина, хочется задаться вопросом, как этот роман был написан, учитывая то, что написан он был лет десять тому назад.

Видимо, есть разные формы гражданского и литературного поведения.

Есть разные формы эмиграции. Есть эмиграция внутренняя. Когда художник, покуда удается, не выпускает "Стоящего-над-всеми" в себя, а "Стоящий-над-всеми" до поры не ропщет.

Подчеркиваю, до поры. Попади роман "Гример и Муза" в руки НКВД (да и в КГБ до апреля 1985 г.), полагаю, вполне могло статься что текст его нашли бы подрывным, ни к чему не зовущим, порочащим и т. д.

Слава Богу, пронесло и то, за что могли влечь недавно срок, ныне издано тридцатитысячным тиражом. Я — за такие чудеса.

К сожалению, как правило, советская жизнь ставит нас перед чудесами с обратным знаком.

Евгений Поляков
26 января 1989 г. Москва

Наталья ИВАНОВА

СМЕХ ПРОТИВ СТРАХА

**Книга о смелом и великодушном Чике,
великом тамате Сандро Чегемском,
обманувшем свою смерть Колчеруком,
красавице Тали и прочих героях
ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА,
а также о нем самом.**

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

(Глава из книги)

Задумаемся о плодотворном художественном противоречии, лежащем в основе рассказов Искандера о детстве.

Праздник и юмор, с одной стороны; трагедия и страх — с другой.

Это связано с парадоксальным сочетанием волшебного времени детства и исторического времени (конца 30-х годов и войны).

Волшебное время детства освещено поистине праздничным мироощущением. Двор Мухуса, являющий собою своеобразное гетто отверженных, для детей, однако, райское место, свободное для игр, приключений, забав. Впервые открывается им здесь и мир взрослых человеческих отношений — но взрослые тоже стремятся вернуться к детям доброй сутью, дают им ощущение покоя, защищенности. Бедность не воспринимается как драма — практически все во дворе живут бедно (даже Богатый Портной). Кусок хлеба для ребенка тогда был уже радостью, а чаепитие — пиром.

Историческое же время, в котором пульсирует этот праздник жизни — трагично: "Время, описываемое мной, совпадает с мирным договором с Германией, то есть с 1939 годом. Мне было десять лет. В нас был рано разбужен интерес к политике, и этот интерес, как зажженный бикфордов шнур, шел к своему логи-

ческому взрыву в душе каждого, в ком была душа, — скажет затем Искандер в повести "Старый дом под кипарисом". — Чаще всего это был взрыв внутренний, мало кому заметный из окружающих *трагический взрыв, похожий на взрыв гранаты в детской руке*".

Трагедия и юмор — неожиданный, новый симбиоз, характерный для прозы Искандера второй половины 60-х — начала 70-х годов. "Взрыв гранаты в детской руке" — в этом образе Искандер зафиксировал страшное противоречие между рожденной для счастья, предназначенной для праздника детской жизни, и трагедией действительности, в которой эта детская жизнь существует.

"Трагический взрыв" в душе маленького героя произошел тогда, когда любимая учительница Александра Иванова в 1939 году, после подписания мирного договора с Германией, сказала, обращаясь к ребятам: "Теперь нельзя говорить "фашисты"..."

Именно в этот "прекрасный день" у героя и произошел "тот душевный взрыв, сильнее которого я не знал в жизни".

"Все ждали, что Александра Иванова как-то пояснит свои слова, но она ничего не говорила. Помню, хорошо помню красные пятна, которые пошли по морщинистым щекам нашей старой учительницы. Она продолжала молчать, и края губ с одной стороны ее рта мелко-мелко вздрагивали".

Учительница ощущает позор, униженность и стыд оттого, что ей приходится учить детей фальши и предательству. Ведь совсем еще недавно они с восхищением следили за борьбой испанских коммунистов, скандировали "Рот фронт!", читали книжки про смелых немецких пионеров, обманывающих фашистов.

Чувство стыда охватило и весь класс.

"После этого много раз в жизни мы видели эти повороты на сто восемьдесят градусов, которые никто и не пытался нам объяснить. Казалось, самим отсутствием какого-либо правдоподобного объяснения зигзагов политики тот, кто вершил ее, проверял полноту власти над нами.

— Ничего, схамают, как булочку, — казалось, бормотал он в усы..."

Итак, трагический взрыв в душе ребенка связан с чувством стыда, вызванным вынужденным предательством, в котором участвуют все. А к предательству склоняет сила власти — "страшная сила, которая с неимоверной тяжестью давила на нашу учительницу и вынудила ее, покрываясь красными пятнами, сказать то, что она нам сказала".

В главе, которую я цитирую, речь идет о реакции на пакт 1939 года. Искандер описывает психологическое отношение маленького члена общества к политическому факту, перед которым оно, общество, лишненное какой бы то ни было самостоятельности, было поставлено.

В сущности, Искандер — через начальный класс провинциальной школы и учительницу (как проводника — исполнителя верховной власти) показывает функционирование системы в целом. Как через провинциальное "козлодурство" Искандер показал развертывание смехотворной, казалось бы, кампании в государственных масштабах, кампании, охватившей всю страну,

так через детей он демонстрирует безотказную работу идеологии на самом начальном уровне – уровне начальной школы. Высочайшие, головокружительные сферы политики, встреча Риббентропа с Молотовым, Сталин и Гитлер, позорное соглашение стыкуются Искандером с детским восприятием, со смутно что-то понимающими и оттого еще более напряженно чувствующими себя детьми. Вернее, так (скажем словами из повести "Ночь и день Чика"): "Чик чувствовал, что незнание делает их (детей. – Н.И.) более беззаботными и веселыми, точно так же как знание делает людей более уязвимыми. Чик это знал. Вернее, он это знал, но не знал, что знает".

Дети не знают и знают одновременно – потому что тоталитарный режим пропитывает их существование специфическим мироощущением.

Искандер вскрывает механизм действия сталинщины и воссоздает ее атмосферу через детское мироощущение, по самой сути своей полностью противоположное сталинщине.

Из отдельных деталей, из примет и особенностей складывает Искандер портрет эпохи, над которой простиралась необозримая и казавшаяся неодолимой тень Сталина, чье имя в годы детства Искандера сопровождалось следующими обожествляющими титулами: "Отец Народов", "Гений Человечества", "Величайший Человек Всех Времен и Народов". Искандер не пишет о лагерях и ссылках, бараках и допросах, пытках и фальсифицированных процессах. Он честно пишет свой опыт – опыт детства, выпавшего на тридцатые годы, детства, как всякое детство, счастливого и – как детство 30-х годов – глубоко несчастного и еще не осознающего это несчастье.

Дети словно шли над черной бездной народного горя, веселясь от мысли о предстоящем походе за сосновой смолой. Черный цвет трагедии был еще более мрачным оттого, что он оттенялся смехом. Дети воспринимали катастрофические повороты в политике по-домашнему, снижая, заземляя фальшивый пафос этих поворотов. Ведь детское восприятие настроено на мирный, семейный лад. "Мы как бы подмигивали друг другу по поводу этого договора, – замечает Искандер, – не замечая, что человек, который от имени всех нас, ну уж по крайней мере от имени всех наших взрослых родственников, заключил этот договор, никакого повода к этому подмигиванию не давал и тем более сам, по крайней мере в этом смысле, никому не подмигивал".

В детском сознании поворот в политике и прессе уподобляется "с каким-то симпатизирующим комизмом", то бишь с юмором, "возрастающим и угасающим симпатиям моей тетушки по отношению к соседям". И тем не менее инстинктивно даже у детей возникает ощущение стыда и предательства.

Атмосфера сталинщины пропитывает и внутреннюю жизнь, психологию и поступки детей. Рассказ о детском предательстве, о том, как мальчик донес на сестру, съевшую кусочек свиного сала, и о реакции отца, показавшейся ребенку неадекватной – еще предателей и доносчиков в собственном доме не хватало! –

показывает глубину воздействия на общество (сверху донизу, от взрослых до детей) развращающей силы сталинщины. По сути ябеда-мальчик повел себя как Павлик Морозов: в маленьких масштабах, но именно по этой схеме. Нет ни родных, ни близких, если речь идет об идейной "чистоте". Ради торжества идеи, ради торжества принципа (за которым, как мы помним, на самом деле скрывается червячок подлой зависти) мальчик готов наушничать и предавать. Так новый тип "советского человека" формируется самим временем, выдвинувшим в качестве лозунга отказ от "абстрактного гуманизма". Торжество преданности, "идея преданности" – замечает Искандер, – с неожиданной силой погружала нас в свой уют спокойствия и доверия, уют дружеского вечернего лагеря перед последним утренним сражением". Дети овлечены идеей преданности (часто оборотной стороной предательства) еще и потому, что она обладает силой привлекательности – грядущей борьбы за высокие идеалы, она представляется самой человеческой, самой высокой идеей. О второй, уродливой и опасной ее стороне, дети и не подозревают: "Идея преданности самой идее, которая, по-видимому, из-за отсутствия других воплощений высоких человеческих страстей развивалась в нас с трагической (о чем мы не ведали), а иногда и с уродливой (о чем мы тем более не ведали) силой".

Идею преданности детское сознание противопоставляет позору предательства.

В мире Искандера нет места идеологемам и идеологическим противоречиям в чистом, так сказать, снятом виде. Детское сознание (и сплавленное с ним авторское, воспринимательное, воссоздающее мир глазами ребенка) чрезвычайно чувственно, конкретно. Идеологическое противопоставление "преданности" и "предательства" и их парадоксальное, коварное сходство автор рисует через конкретную детскую реакцию на чтение учительницей Александрой Ивановной пушкинской "Капитанской дочки". "...Предательство, коварство, измена, – размышляет мальчик (его внутренний голос порой сливается с авторским), – всегда заставляли его (Пушкина – Н.И.) или в ужасе бежать, или корчиться с пристальным отвращением". Напротив, преданность – это "величайшее чувство, красоту которого Пушкин столько раз воспевал в стихах". В "Капитанской дочке" подчеркнута детским сознанием конца 30-х годов цепочка преданности – "Командант Белогорской крепости предан царице точно так, как Савельич своему барчуку. Жена коменданта, такая же ворчливая, как Савельич, сама предана до последнего часа своему мужу, как предан своему барину Савельич. То же самое можно сказать о Маше и о юном Гриневе. Одним словом, здесь торжество преданности". И ученики класса начальной школы с восторгом погружаются в мир этой преданности, восхищаясь преданным Савельичем. Детское сознание воспринимает рабство Савельича как внешнюю, не столь важную оболочку его сущности. Ведь что-то заставляет его любить "вопреки ненавистному ... рабству и холопству".

Но парадоксально мыслящий автор незаметно, но упрямо поворачивает эту оправдывающую модель – и рабство становится не только внешним выражением преданности, но и ее внутренним содержанием. Дети, воспитанные в духе безоговорочной и неразмышляющей преданности, гордо пишущие по букварю "мы не рабы", постепенно пропитываются рабской психологией, становятся маленькими рабами идеи преданности, – естественно, сами этого не понимая.

В рассказах о детстве постоянно звучит связанный с преданностью мотив бдительности и подозрительности, и вместе с ним – мотив вредительства, шпиономании, азартно захватывающей детей – как своеобразная игра.

Так, призывы к беспощадной классово-борьбе оборачиваются в детском сознании тем, что школьники "на книжных иллюстрациях, на обложках тетрадей... находили кабалистические знаки, зловещие письма тех вредителей". В рассказе "Чик и Лушкин" дети начинают искать вредительские знаки в тетради, на первой странице которой напечатаны стихи "Песнь о вешем Олеге" и помещен рисунок, изображавший прощание Олега с конем. Извращенное сознание бдительного Севы (таинственная и понимающая улыбка которого намекает на портрет Сталина с девочкой Мамлакат) провоцирует Чика на поиски. Чик "много слышал о тайных вредительских знаках, хитрейшим способом нанесенных на папиросные коробки, на санитарные плакаты, на книги о революции и даже на детские кубики". Но сам он сталкивается с возможностью зримо, доподлинно убедиться с реальностью "ядовитых знаков вредителей, откуда они попискивают: мы есть, мы есть!" впервые в жизни. Искандер показывает, как шпиономания и происки вредителей мгновенно распространяются в толпе, как дети, среди которых есть сыновья и племянники репрессированных, с жестоким и веселым азартом включаются в безумную, беспочвенную и бессмысленную травлю попавшего под подозрение человека. "Пацаны, вон вредитель! – вдруг крикнул кто-то, и все помчались вперед, и Чик вместе со всеми, подхваченный сладостной жутью странного возбуждения. В самом конце пустыря на улице сворачивал какой-то человек.

Ребята уже на улице догнали толстого мужчину с неприятным лицом. Об был в шляпе и с портфелем в руке. Он озирался на кричащих пацанов с ненавистью и страхом. Громко вопя: – Вредитель! Вредитель! – они шли за ним, то окружая его, то отшатываясь, когда он резко, как затравленный кабан, оборачивался на них". Затравленного человека спасает от преследования сумасшедший дядюшка Чика, проявивший больше разума и милосердия, чем дети.

Но и сам сумасшедший дядюшка не избежит пристального внимания и, в свою очередь, обвинения в "шпионстве" со стороны родного и, главное, искренне любящего его племянника. Абсурдность шпиономании и бдительных поисков вредителей не отступает перед такими мелочами, как родство или любовь. Каждый мальчик начинает ощущать себя маленьким майором

Прониным. Чтение разоблачающей "шпионов среди нас" книжонки способствует тому, что мысль Чика "сделала гениальный скачок: я понял, что дядя мой совсем не сумасшедший, а самый настоящий шпион. Единственное, что меня немного смущало, это то, что бабка его помнила с детских лет". Но сознание маленького героя быстро справляется и с этим препятствием; и Искандер вставляет в новеллу пародийный рассказ, предназначенный для "Пионерской правды", под заголовком: "Пионер разоблачил шпиона. Дети будьте бдительны!"

Детская шпиономания возникает под воздействием пропаганды и реализуется как пародия на клише пропагандистской литературы тех лет:

"— Ваша карьера окончена, подполковник Штауберг, — сказал я отчетливо... Не знаю, откуда я взял, что он подполковник Штауберг.

Видимо, я доверял интуиции, как и многие гениальные контрразведчики, о которых я читал, в том числе и майор Пронин... Ни один мускул на его лице не дрогнул. "Железный человек", — подумал я, восторженно содрогаясь и продолжая делать то, что положено было делать в эту минуту.

— Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали, — великодушно отдавая дань ловкости врага, сказал я. *Слова приходили точные и крепкие, они вселили уверенность в правоте дела.*

— Мальчик сумасшедший, — сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения...

"Увеличивает, шельма", — подумал я, задыхаясь от волнения...

— Вы попались на свою удочку, подполковник! — сострил я..."

Мальчик создает клишированную ситуацию и строит речь по стереотипам "бдительной" прозы. Но ситуация резко ломается благодаря тому, что дядюшка реализует псевдометафору, давно отдавшую в клише богу душу:

"— Украл удочку! — кричал он в ярости, пытаясь схватить меня.

— Добровольное признание облегчит вашу участь! — кричал я в ответ, бегая вокруг стола и сваливая ему под ноги стулья испытанным приемом английской разведки.

— Вор! Удочка! Удушью мать! — кричал он, возбуждаясь от схватки.

— Назовите сообщников! — орал я в ответ..."

Безумие охватившего страну страха и мании бдительности действительно несравненно более "безумно", чем домашнее, уютное сумасшествие дядюшки. Более того: дядюшка выглядит гораздо более нормальным, нежели племянник, вообразивший его английским шпионом, или стая детей, преследующая несчастного прохожего. "Охота на ведьм", перешедшая в руки детей, у которых сидят отцы, — это и есть подлинная расправа сталинщины с обществом, поражение общества в его самом нежном и самом ценном органе — детях, то есть будущем.

"— Сумасшедшие, — сказал дядя, кивнув на толпу ребят, и

весело рассмеялся, призывая человека быть снисходительным к этим несмысленным.

— Вот именно какое-то сумасшествие, — подтвердил человек и, горячо пожав дяде руку, стал быстро уходить”.

Все переворачивается, мир наизнанку: дурачок умен, а якобы разумные существа — сумасшедшие. Этот перевернутый мир порождает в сознании людей (что и отражается, естественно, в детях) двуличие — тоже продукт сталинского времени. “Когда Чик был совсем маленький, — читаем в повести “Ночь и день Чика”, — он, слушая, как во дворе один взрослый, разговаривая с другим, говорит одно, а думает про другое, считал, что это такая игра. Чик замечал, что и другой взрослый дядя при этом думает совсем про другое, так что никто никого не обманывает. Он только не понимал, почему они в конце игры не рассмеются и не скажут о том, что они хорошо поиграли”. Двуличие постепенно вытесняет из человеческих отношений честь, порядочность, искренность, прямоту. Меняются даже человеческие лица — на них появляется “выражение политической настороженности”, которое мальчик называет “гримасой” — в силу его неестественности. Готовность догнать и наказать нарушителя, сохранить улики преступления, “всеобщая мобилизация бдительности” являются симптомами умело спровоцированной болезни — “массового”, или “простодушного”, или “вульгарного” сталинизма.

“Тот, кто устроил все это, хорошо понимал одну важную сторону человеческой психологии, — объясняет Искандер. — Он знал, что человеку свойственно жгучее любопытство к потустороннему. Человеку доставляет особую усладу мысль, что рядом с обычной, нормальной жизнью идет тайная жизнь, чертовщина. Человек не хочет смириться с мыслью, что мир сиротливо материален. Он как бы говорит судьбе: если уж ты меня лишила бога, то по крайней мере не лишай дьявола”. Искандер отнюдь не разделяет убеждения тех, кто считает во всем виноватой одну лишь верхушку, тех, кто стоял у руководства партией и страной, Сталина и его приспешников. Виноватым он считает и само общество, лишенное нравственной опоры, дезориентированное в духовном отношении: “Без этой могучей встречной волны, без желания гипнотизируемых быть загипнотизированными предпрятие не имело бы такого грандиозного успеха”.

В обществе, скованном взаимной подозрительностью, освободиться от страха можно только одним волшебным средством — смехом: “...Природа человека, его разум обладают могучим свойством разоблачать дьяволов ночи, и одно из испытанных проявлений этого свойства — смех. Больше петушиного крика дьявол боится смеха”. Искандер сравнивает смех со светом, а улыбку называет “струением смеха”: “Держу пари, что если б у обыкновенного гипнотизера спросить, что ему больше всего мешает во время массовых сеансов, он ответит: смех в зале”.

При этом нельзя не отметить, что Искандер резко разводит подлинный свободный смех, несущий добро, противостоящий

страху и злу, смех освобождающий и раскрепощающий, — и насмешку, ухмылку, то, что Б. Пастернак в романе "Доктор Живаго" назвал "насмешкой дьявола". То, что сам Искандер в повести "Созвездие Козлотура" обозначил как "улыбку", проглядывающую сквозь усы и бородку изображенного на плакате человека. С такой улыбкой-насмешкой, улыбкой-ухмылкой, заключающей в себе нечто фальшивое и издевательское, ничего общего щедрый смех Искандера, его добрый юмор не имеет.

В романе Достоевского "Подросток" есть размышление о смехе, которое можно непосредственно отнести к смеховому началу в прозе Искандера. "Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготную, — рассуждает герой Достоевского. — Даже бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен. Смех требует прежде всего искренности, а где в людях искренность? Искренний и беззлобный смех — это веселость, а где в людях в наш век веселость, и умеют ли люди веселиться?.. Только с самым высшим и с самым счастливым развитием человек умеет веселиться сообщительно, то есть неотразимо и добродушно... Итак: если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, когда он смеется. Хорошо смеется человек — значит хороший человек".

Над Чиком сияет "любящая улыбчивость" Александры Ивановны, противостоящая злomu "гоготу класса". Эта "любящая улыбчивость" и есть воплощенная доброта подлинного смеха, распрямляющая человека, а не унижающая его. Но Искандер анализирует и смех неподлинный, возникающий между "понимающими" детьми как усмешка высокомерия: "Когда в классе надвигалось что-нибудь смешное, а другие участники еще не понимали, что смешное надвигается, они уже переглядывались и кивали друг другу". В таком смехе прячется "дьявол" надменности и исключительности: "Было приятно чувствовать, что они уже знают о приближении смешного, а класс еще ничего не подозревает". Мальчик Сева, который обладает особой способностью замечать смешное "даже лучше Чика" и только поглядывает по сторонам, "где бы высмотреть что-нибудь смешное", вызывает в конечном счете чувство гадливости и отвращения, так как он именно издевательски насмешничает над всем, что ни попадетс ему на глаза. "Повод для веселья" он находит во всем — в физических недостатках, в личной жизни учителя, в неприятных привычках одноклассника. Сева приглашает Чика по любому поводу посмеяться вместе с ним — как Посвященный Посвященного. Именно Сева научил Чика искать лозунг вредителей в тетрадке с "Песню о вещем Олеге" — Севина насмешливость ничуть не мешает его бдительности, а даже способствует ей. Смех Севы не дает очищения — наоборот, эта предложенная им связь Посвященных погружает Чика в одиночество. В конце концов ложное, ни на чем не основанное высокомерие приводит к краху.

Усмешка Севы иерархична – она звучит "над" жизнью, направлена "сверху вниз", тогда как подлинный, "хороший смех" (Достоевский) демократичен, это либо жизнерадостный смех равенства и утверждения, либо смех, направленный снизу вверх – против страха, догматической серьезности, закрепощающей официальности. Этот смех разрушает границы, а не выстраивает их, снижает, заземляет псевдовысоту, а не утверждает новую "лестницу" для Посвященных; и, наконец, это смех не для услуги, а во имя свободы. Подлинный смех – это "трезвая насмешливость в отношении всей патетики господствующей власти и господствующей правды", а не подтверждение этой патетики.

Усмешка иерархичности (насмешливые Посвященные объединены тайно – мир предстает в их глазах уродливым, именно это их и смешит, как андерсоновского Кая, которому попал в глаз осколок дьявольского зеркала; отсюда – усмешка как деформация реальной прекрасной действительности), эта цепочка, к которой подключился наивный Чик, сначала радуется его мнимым избранничеству (режиссер их детского театра, Евгений Дмитриевич, тоже, как кажется Чик, переглядывается с ним, как Посвященный с Посвященным), а потом жестоко мстит ему. Евгений Дмитриевич, отобравший Чика на роль Балды в постановке, постепенно убеждаясь в Чиковой бездарности, низводит его до исполнителя роли задних ног лошади! Чик страдает прежде всего от нарушения уже привычной для него, сложившейся иерархии. Лучший и главный – или низший и даже "задний"? Самолюбие Чика страшно уязвлено, тем более, что все смеются (как Чикку представляется – над ним), и только смеющийся, но и любящий взгляд Александры Ивановны возвращает ему душевное равновесие: "Волна бодрящей благодарности омыла душу Чика. Какая там разница: задние ноги, передние ноги, Балда? Главное, что всем смешно". Чик прозревает – иерархичность мировосприятия рушится в детском сознании, где она уже успела свить свое гнездо. И громкий народный, площадной смех, звучащий на детском лубочном представлении, звучит не как насмешка, а как освобождение. Веселье здесь соединено с искренностью, радостью и свободой. В этом общем веселье-разрешении, веселье-очищении участвует "весь мир" Чика: и взрослые, и дети; и сцена, и зал; и актеры, и зрители; и здравомыслящие, и дурачок дялюшка: "А вокруг все смеялись, и даже сумасшедший дялюшка Чика пришел в восторг, увидев Чика, вывалившегося из брюха лошади".

Предвижу искреннее возмущение читателя, который скажет, что этот балаган вовсе не отражает духа и атмосферы конца 30-х годов, как я утверждала выше.

Для того чтобы ответить такому читателю, придется сделать маленькое отступление.

В последние годы в деле высвобождения исторического знания и десталинизации страны особую роль в обществе сыграла публицистика и проза. Историческая наука в целом в 1987-1988 годах оказалась неподготовленной к процессам демократизации и гласности и не смогла ответить на вопросы общественного мнения.

Это объективно признали сами историки, тревожно заговорившие об отставании своей науки. Сказано — права не дают, права берут; и роль историков в создавшемся "историческом" вакууме взяли на себя литераторы. За короткий период "толстые" литературно-художественные журналы помогли воссоздать близкую к реальной историю страны. Я имею в виду, конечно же, не только публикации работ писателей-современников (В. Гроссмана, Ю. Трифонова, В. Дудинцева, В. Тендрякова, А. Рыбакова, А. Приставкина, С. Антонова, Б. Ямпольского и других), но и публикации находившихся под долгим запретом произведений А. Ахматовой, А. Платонова, М. Булгакова, Е. Замятина, Б. Пильняка.

Нельзя не сказать и о крайне важной роли так называемых человеческих документов, свидетельств участников, жертв сталинизма. Сильнейшими человеческими документами стали и стихи Ю. Домбровского, В. Шаламова, Б. Чичибабина, Б. Окуджавы, Н. Астафьевой, С. Ломинадзе и многих, многих других.

Историческая публицистика, чрезвычайно активно работая, тоже помогла восстановлению реальной картины исторического процесса, деформированной десятилетиями.

Правда, нельзя не сказать и о том, что публицистика поначалу несколько отставала от прозы и поэзии — и в изложении фактов, и в глубине понимания, интерпретации событий. Но постепенно она набирает силу, и вот уже на одной из встреч с писателями мне был задан вопрос о "сравнительной" ценности богатого документами очерка В. Сойфера "Горькие плоды" ("Огонек", 1988, №№1-2) и романа В. Дудинцева "Белые одежды" — и то, и другое сочинения посвящены лысенковщине, и надо сказать прямо, что очерк дает больше информации, чем тысячестраничный роман.

Соревноваться литературе с историей или публицистикой — в плане информативности — тогда, когда история и публицистика смогут располагать полной доступностью архивов и "спехранов" — будет все труднее и труднее. И выиграть это соревнование она сможет за счет специфически художественных способов анализа исторической действительности.

Как это ни непривычно прозвучит, проза Фазиля Искандера о детстве — тоже своего рода *историческая* проза. Действие в ней происходит, конечно, в годы так называемой "ближней" истории, но все же — истории. И точка зрения мальчика-повествователя находится там, в конце 30-х годов; а всезнающий автор лишь организует это повествование, но нигде не вмешивается в него, удерживается от своих современных оценок и комментариев. Автор принципиально устраняет голос "себя-сегодняшнего", но включает специфически литературный способ анализа исторической действительности, не доступный ни исторической науке, ни публицистике, ни политическому роману: смех.

Эпизод с "вредителем", за которым, улюлюкая, мчится стая мальчишек, возбужденных идеей всеобщей подозрительности, не только страшен, но и смешон (или, если угодно, наоборот — не только смешон, но и страшен). Искандер не противопоставляет юмор — трагедии, но соединяет их.

И отступление о том, что гипнотизер больше всего боится

смеха в зале, а также о "могучей встречной волне" желающих быть загипнотизированными смонтировано в тексте "Старого дома под кипарисом" рядом с рассказом о том, как арестовали родного дядю.

Детское сознание, посредством которого Искандер изображает мир, еще не в силах ощутить трагедию исчезновения, не в силах даже понять, что значит "взяли" – он только чувствует "какую-то жестокою безличную силу, заключенную в нем", чувствует атмосферу времени – "люди живут напряженно, в ожидании грозного, как бы стихийного бедствия". Но это не мешает мальчику думать о велосипеде и с юмором относиться к тетушке, "склонной к мелодраме", ожидающей от племянника "каких-нибудь более явных признаков тайного горя".

Даже после того, как отца маленького героя репрессировали, выслали за пределы страны и семья оказалась на грани нищеты, мальчика не покидает ощущение детского праздника жизни, а из повествования в целом не уходит смеховая стихия. Так рассказано о мытарствах матери героя по судам из-за квартиранта, который, пользуясь бесправием хозяйки, перестал платить за квартиру и отказался съезжать.

В смехе Искандера очевидна и пародийная направленность. Пародийно звучит, например, слово адвоката на суде о выселении наглого квартиранта: "Говорят, на суде он так поставил вопрос, что речь шла не о возвращении нашей комнаты, а о том, имеют ли право эти девушки, задавленные вековыми предрассудками своих диких предков (задавленные девушки все как на подбор были мощными, цветущими красавицами), теперь, после революции шагать в ногу со временем и нести свет новой жизни в свои далекие села?" Но пародийность прозы Искандера шире – она направлена ни на какое-то конкретное литературное произведение или литературное направление; она направлена на самое действительность, хотя открыто пользуется приемами пародийного прочтения литературных произведений – в частности, произведений Пушкина.

"Капитанская дочка", "Балда" и даже "Песнь о вещем Олеге" втягиваются в смеховую стихию искандеровского мира. При этом смех здесь окрашен "любящим взглядом" и направлен отнюдь не на Пушкина, а на ситуацию, в которую попадают его произведения. Смех возвращает миру справедливость – через разоблачение, разрушение несправедливых социальных отношений. Смех, пишет Д.С. Лихачев, "отвергает неравенство социальных отношений и отвергает социальные законы, ведущие к этому неравенству, показывает их несправедливость и случайность".

Чик "толком не понимал", почему взрослые "в конце игры не рассмеются и не скажут о том, что они хорошо поиграли" ("Ночь и день Чика"). Он сам, например, не может удержаться от искреннего смеха, если, скажем, учитель русского языка Акакий Македонович заставляет детей заучивать чудовишные вирши собственного изготовления:

Как писать частицу "не"
В нашей солнечной стране?
То ли вместе, то ли врозь?
Не надеясь на авось,
Вы поймете из примера
Нужного для пионера...

За свой открытый смех Чик поплатился вызовом в школу родителей — но привел сумасшедшего дядюшку, с которым и оставил для разговора Акакия Македоновича.

Обо всем этом повествуется абсолютно всерьез. И все перипетии Чика и его друзей, все разговоры и горячие споры о пустяках изложены автором подробно. Автор входит в положение каждого, стремится к полноте изображения каждой ситуации, как бы комична она не была. Смех автора живет внутри этой невероятной серьезности. Например, Чик и его дядя "пойманы с поличным": пасли корову в границах огорода, а это "не положено".

"— Шпионы ходят по стране, — сказал милиционер.

— Знаю, — согласился Чик.

— В том числе под видом сумасшедших, — сказал милиционер.

— Знаю, — согласился Чик, потрясенный тем, что милиционер подозревает дядю в том, в чем Чик сам подозревал его когда-то. — Но он настоящий сумасшедший. Его доктор Жданов проверял.

— Этот номер не пройдет, — сказал милиционер, — я вас всех забираю в милицию. Там все выяснят... Корова не бодается?

— Нет, — сказал Чик, — она мирная.

— Вот и хорошо, — сказал милиционер и отобрал у Чика веревку, за которую была привязана корова. — Я ее поведу.

... Они вошли во двор милиции, и милиционер крепко привязал корову к забору. Там росла густая трава, и корова тут же начала ее есть..."

Смех Искандера естественен, как реакция самой жизни на неестественную формальность официальности. Смех вскрывает и убивает напыщенную фальшь, глупость и самодовольство тех, кто мнит себя наделенным властью над детьми, блаженными и коровами. Официальные "верхи" подвергаются неостановимому и непобедимому, народному смеху.

Смех Искандера лишен назидательности, нравоучительства, морализирования. Если хотите — это плутовской смех, веселый обман лжи, надувательство лицемерия. Он уничтожает, утверждая. Более того — этот смех целителен и спасителен, ибо без него жизнь попросту остановилась бы: трагические обстоятельства времени столь сильны, что человека без ободряющего присутствия этого смеха охватили бы отчаяние и безнадежность.

"Оттенки — это лакомство умных," — замечает автор. За спасительным смехом автора нужно читать оттенки. Проходя мимо страшного бездомного пса с костью, Чик убеждает себя не бояться, воображая, что это капитан с трубкой, "который просто так, чтобы было интересней, напустил на себя свирепость," — и проводит мимо пса детей. Так и автор проводит, спасает своих героев, бесстрашно смеясь над циклопом-временем.

Смех побеждает ложь, предательство, даже смерть.

Смех священен – потому что побеждает все застывшее, мертвое, догматическое. Искандер ненавязчиво влетает в свой текст внутреннюю пародию – например, на знаменитый гоголевский текст, не опасаясь "задеть святое". Вот он описывает речушку ("или канаву, как ее достаточно справедливо тогда называли"): "Обычно воды в этой речушке было так мало, что редкая птица решалась ее перелететь, проще было перейти вброд, что и делали чумазые городские куры" ("Богатый Портной и хиромант").

В этом смеховом мире гипербола и гротеск соседствуют с глубоко реалистическим изображением. Несомненно животворное влияние народного комизма, связанного с изображением тела и всех его забот: приготовления пищи, ее поглощения, отдыха, купания, обнажения. Героев Искандера словно преследует безмерный аппетит и неутолимая жажда: во дворе бесконечно что-то жарится или варится; тетушка Чика прекрашает свое вечное чаепитие, только если оно переходит в кофепитие; в саду Чика вечно зреют какие-то фрукты (Чика радуется сам круговорот поспевающих ягод и фруктов: земляника, вишня, черника, абрикос, персик, груша, айва, орехи, хурма, каштаны); Богатый Портной принципиально пьет кофе только во дворе, Алихан торгует вкусными козинаками; у Чика во время купания крадут трусы; дядюшка подсматривает за Файной... Это веселый, поедающий, плодящийся, растящий детей, радующийся жизни мир, одушевленный смехом, уничтожающим мрачность действительности. Смех торжествует и в ситуациях, и в языке – как в объявлении, вывешенном Богатым Портным: "Ишу хорошего русского старика для сторожения фрукт. Если будет плотник или каменщик, еще лучше. Вторая Подгорная, дом 37, балкон на улицу, кричи: Сурае".

На оплакивании покойной подруги тетушки Чика и сидящую с ним за столом конопатую девочку так и разбирает от смеха ("Чик идет на оплакивание"). За поминальным столом начинается игра и веселье, побеждающие смерть. И взрослые, пришедшие попрощаться с покойной, тоже втягиваются в эту совершенно не приличествующую событиям атмосферу застольных баек. Развязываются языки, старики со смехом вспоминают любовные приключения покойницы – смех у гроба, сама смеющаяся смерть, забывающая о своих прямых обязанностях... Вспоминают они и небезопасные легенды... Начинается стихийный праздник, и вместе с ним торжествует освобождающаяся от страха смерти (да и страха перед жизнью) атмосфера вольности и народного веселья.

Время войны, на которое выпало детство Чика, тоже окрашено смехом – через его восприятие. В рассказе "Богатый Портной и хиромант", композиционно выстроенном как устный рассказ в рассказе, от которого ответвляются истории и байки других рассказчиков, или рассказы по ассоциации с основным событием (отчего композиция рассказов Искандера, как правило, действительно растет и ветвится, как дерево – недаром сам автор говорит об одном из своих рассказчиков: "ветвистость его рас-

сказов только подчеркивала подлинность самого древа жизни, которое он описывал"), говорится о том, как с помощью камней и воды "брали" двух немецких летчиков, вылезших в конце концов к радости и смеху детей – облепленными каким-то пухом и перьями, как "Дедал и Икар после неудачного полета", безмерно обиженных на странные местные способы ведения войны. Враг не только повергнут, но – по-искандеровки – осмеян, и страх побежден навсегда. Смех побеждает смерть, смех побеждает войну, смех побеждает страх.

Смех и детство в художественной концепции Искандера едины. Наивность детского взгляда так же обнажает несправедливость социальных отношений, как и смех. В этом они – смех и детство – глубоко родственны (вспомним андерсоновскую сказку о големом короле). Наивность ребенка как бы "оглупляет", развенчивает", "обнажает" мир, "очищает" его от неподлинных, мнимых величин, надстроек, уничтожает чины и социальные перегородки.

В эссе "Моцарт и Сальери" ("Знамя", 1987, №1) Искандер, показав коренные различия моцартианства и сальерианства, тонко и точно проанализировав пушкинскую драму, безусловно, излагает свое творческое кредо. Глубоко показав основополагающие моменты настоящего творчества, Искандер, однако, не упомянул о смехе и детскости, которыми Пушкин наделил своего Моцарта – в отличие от "серьезного" Сальери.

Действительно, все рассуждения Сальери чрезвычайно серьезны. Это рассуждения "взрослого", для которого Моцарт – вечное "дитя", и дитя неисправимое. "Двумя сыновьями гармонии" Моцарт называет себя и Сальери, – щедро обманываясь в Сальери, он говорит истинную правду о себе. Моцарт ребенок и ведет себя по-детски непринично, с точки зрения Сальери.

Поведение Сальери ритуализировано. Он придворный композитор, он достиг своего *положения* серьезным многолетним трудом, и он знает, как надо себя вести соответственно этому положению.

Вечный ребенок Моцарт всегда ведет себя не так, как положено.

Для Сальери определяющим принципом организации мира является иерархичность. Он мыслит *лестницей*: что выше и что ниже, он знает точно. Сальери ощущает себя *старшим* по цеху. Он согласен быть наверху вдвоем, ибо он прекрасно понимает гениальность Моцарта. Ну что ж, то, что дается Моцарту так просто, он взял с трудом. Он "кивает" Моцарту, как Сева – Чиксу; пытается навязать Моцарту ритуальные отношения Посвященных. "Ты и я..."

Как же поступает Моцарт? Он неосмотрительно приглашает с улицы слепого скрипача. С улицы! В этом весь Моцарт. Это особенно оскорбительно для сурового, уважающего искусство Сальери. Моцартовская ребячливость опасна – она одним махом разрушает многолетними трудами достигнутую вершину. Моцарт словно упраздняет своим демократическим, как мы сказали бы сегодня, жестом то, над постройкой чего Сальери честно и добросовестно трудился всю свою жизнь. Моцарт перечеркивает

этот труд, допуская в Святилище Посвященных нищего бродягу. А ведь "Моцарт включил его (Сальери – Н.И.) в круг избранных, свой особый круг, куда допускаются только мастера высокого класса. И вдруг он тащит туда какого-то нищего музыканта! И тем самым доказывает, – пишет Искандер, – что никогда не делал принципиальной разницы между Сальери и любым случайным нищим музыкантом. Разом вдруг разбивается столь любимая Сальери система знаков, шлагбаумов, перегородок, пропусков, чтобы сразу видно было: кто к какому месту прикреплен". Конечно, такой Моцарт опасен. Солидный Сальери взывает к его "взрослости", пытается "осерьезнить" Моцарта.

Сальери в своих мыслях добирается до самых сокровенных философских антиномий. Он зрит бездну. Он наделен трагическим мироощущением. Но все же Сальери ограничен, а Моцарт – безграничен.

А Моцарт легко перепрыгивает через философские пропасти, даже не задумываясь об их бездонности.

Детскость Моцарта сращена с еще одним его особым качеством – веселостью. Он появляется, смеясь. Ему не терпится угостить Сальери "веселой шуткой". Сальери мрачен – Моцарт улыбочив и смешлив. Он играет и живет радостно, в смехе. Злодейство и смех – вот "еще две вещи несовместимые".

Почему Моцарт смеется?

Потому что он *естественно* радуется всем проявлениям жизни – законнорожденное, полноправное дитя ее. Такой же творец, создатель, демиург, как и она. И столь же бессмертный – несмотря на то, что он, по словам Искандера, "уходит умирать. Моцарт победил, хотя бы потому, что до конца остался Моцартом, остался верен своей жизненной задаче". Он и умирает, творя свой "Реквием".

Смех и детство едины в творчестве Искандера потому, что они, действуя вместе, возвращают жизни ее реальный лик, очищая его от скверны мнимости, преступности, автоматизированной "манекенности". "В маленькой драме, – замечает Искандер, – Пушкин провел колоссальную кривую от возникновения идеологии бездуховности до ее практического завершения. Отказ от собственной души приводит человека к автономии от совести, автономия от совести превращает человека в автомат, автоматизированный человек выполняет заложенную в него программу, а заложенная в него программа всегда преступна". Детское мировосприятие возвращает миру его первозданный облик. Смех возвращает ему изначальный, чистый смысл. Разрушая, смех строит "мир свободы от условностей, а потому в какой-то мере желанный и беспечный... Тем самым он готовит фундамент для новой культуры – более справедливой. В этом великое созидательное начало смехового мира".

Итак, посредством смеха – вернее, с точки зрения смеха и с точки зрения детства – Искандер и пишет трагические 30-е годы, разоблачая "неправедность" эпохи и мира глазами ребенка, прямыми или косвенными монологами которого является повествование.

Но смех, как мы уже говорили, надо отличать от насмешки.

Насмешка всегда направлена только на другого. Она не может быть направлена на себя самого. Это "злой смех". Он подмечает в другом нечто уродливое, нелепое, неправильное – с точки зрения насмешничающего. Насмешка всегда унижает другого.

Смех, даже разоблачая, не унижает.

Смех направлен не только на другого, но и на себя самого. Если "я" или "Чик" этого сделать еще не в состоянии, – автор делает это за них, ставя их в ситуацию смешную прежде всего для них самих. Глубокая серьезность и озабоченность какими-то своими важнейшими делами детей на самом деле и заразительно смешна своею наивной прелестью и чистотой. "Хорошо смешна", как сказал бы Достоевский. Снижение своего образа в смеховой ситуации, саморазоблачение и окончательный *смех всем миром* торжествует в финале рассказа "Чик и Пушкин". И Чик смеется над самим собой, над своими претензиями, над своим в буквальном смысле слова *разоблачением* вместе со всеми. Это смех освобождающий – от иерархических моделей лжепосвященности, от ритуала и сообщества мнимых Посвященных, от знаковой системы, в которую Чик сам себя закодировал ранее.

Смех может и кончиться великой печалью. Как мы уже отмечали, юмор и трагедия в рассказах о Чике, в повествованиях о детстве сплетаются нерасторжимо.

Безо всякой паузы рассказ о дворовых забавах и собачке Белке переходит к трагической судьбе отца и всех высланных за пределы страны в 1939 году. Я не уподоблю Искандера Пушкину, – но по тому же закону детский смех Моцарта внезапно оборачивается "Реквиемом", и в этом нет никакого нарушения художественной цельности. Так и финал повести "Старый дом под кипарисом" – реквием по отцу.

При этом Искандер дает – буквально в двух абзацах – переход от истинной смеховой стихии к трагедии времени через всего одну картинку неуместного смеха, веселья кощунственного. Отец мальчика становится в огромную очередь за хлебом. "На стене какого-то здания рядом с очередью, – замечает мальчик, – висит огромный плакат. Он изображает веселого, танцующего человека, с летящими руками, развевающимися полами черкески, с головой, повернутой в сторону вытянутых рук". Мы уже говорили об особенности зрения маленького героя Искандера – оживлять двумерное, плоскостное пространство. Закон оживления действует и здесь: "Он смотрит на свои улетающие руки с улыбкой, он как бы говорит им: летите, голуби! Человек показывает свое веселье, и чтобы это всем было ясно, под плакатом подпись крупными буквами: "Жить стало лучше, жить стало веселее". Мне кажется, что он это говорит, потому что точно так же в немых фильмах то, что люди говорят, писалось на кадрах.

"Я долго жду отца. Мне скучно. От нечего делать я раз двадцать перечел эту надпись под плакатом. Я чувствую, как постепенно все сильней и сильней меня начинает раздражать этот веселящийся человек с пустующими рукавами черкески. Я чувствую какую-то постыдную неуместность его веселья возле очереди. Я не против его веселья, но мне кажется – лучше бы он веселился где-нибудь возле кино, или в парке, где по вечерам играет музыка, или в

крайнем случае у себя дома”.

Эта неуместность плакатного веселья рядом с мрачной очерредью как бы предвещает драматическую судьбу отца, о которой будет рассказано дальше.

Народный смех, погашенный, вытесненный государственным псевдовесельем, оборачивается народным плачем разлуки с репрессированными. "... Неожиданно весь вагон заревел, и этот страшный рев слился с пронзительным гудком паровоза, словно голоса людей с яростью накинулись на этот гудок, словно они хотели заглушить, заткнуть, затоптать его силой своего отчаянья. И, словно не выдержав, гудок оборвался, и только стало слышно, как мчится и мчится ревуший вагон.

И остались в памяти заплаканные лица женщин, с бессмысленным выражением глаз, с беззвучно кричащими ртами, с растрепанными и отброшенными волосами, словно бил им в лица и запрокидывал волосы невидимый ветер". Этот "невидимый ветер" и есть та гнетущая, давящая, незримая, "жесточкая безличная" сила "грозного, как бы стихийного бедствия", обрушившаяся на народ – и на семью маленького героя, разделившего трагедию народа. Из семьи исчезает и дядя мальчика, а в дворике, где живут социально отверженные, отброшенные, несчастные, пострадавшие, поселяется семья репрессированного "великого танцора" Паты Патараая, который, вероятно, и послужил прототипом плакатно веселящегося человека с отлетающими рукавами черкески.

В смеховом мире рассказов о детстве особую роль играет образ сумасшедшего дядюшки Чика. В его нарушенном сознании неистинный, фальшивый мир, в котором все живут, переворачиваясь, обретаёт истинные ценности, словно становится с головы на ноги.

Дядя Коля существует как бы в своей особой реальности. Он видит, слышит, понимает то, что другим недоступно. Он не столько сумасшедший, сколько юродивый. А мир юродивого, по замечанию Д. С. Лихачева, "двуплановый: для невежд – смешной, для понимающих – особо значительный".

Сознание дяди Коли корректирует мир – ибо то, что представляется в действительности правильным, на самом деле извращено. "Все это было похоже на фантазию, но и время было фантастическое", – замечает автор в "Старом доме под кипарисом". Дядя, например, показывал на изображение значительного лица в газете или на памятник ему же на площади, указывал пальцем на себя и говорил: "Это я". То есть тот, кто изображен, – по-настоящему и есть сумасшедший. И, как показывают опубликованные за последние годы документы и исследования, в том числе и художественные, – дядюшка был недалек от истины.

В ситуации погони за мнимым "вредителем" только дядя Коля верно оценил происходящее. Справку, выданную безумным дядюшкой, дрожащий командированный принимает с благодарностью. "Дети сумасшедшие", – с уверенностью заявляет дядюшка, и он прав.

И когда Чик обрушивает на дядюшку обвинение во вредительстве и шпионстве, дядюшка опять с жалостью говорит: "Мальчик сумасшедший", и он опять прав.

В принципе "безумие" дядюшки и здравый смысл детского взгляда на вещи (не искаженный массовым психозом) совпадают. Именно поэтому Чик и дядюшка столь дружны и хорошо понимают друг друга. Искандер пишет триединство: сумасшедшего дядюшки, мальчика и коровы (природного начала), отмечая здравость их поведения ("Животные в городе") и противопоставляя эту природную здравость безумию официальных установлений: "В сущности пасти корову нельзя было нигде, хотя держать корову разрешалось. Чика удивляло и потрясало это противоречие". Сумасшедший живет в мире, свободном от условностей, "желанном и беспечном", и показывает всю "ненастоящность" лицемерного, несправедливого, не соответствующего человеческим нормам мира. Юродивый живет и действует "не так", как надо, вечно "невпопад", но "говорит и ведет себя как раз, так как должно". В конце концов юродивый – тот же ребенок, только старый; он остался в вечном детстве, и ему, как и Чику, душевное равновесие приносит купанье в море, рыбалка, двойная порция сиропа – самые простые, доступные и чистые радости жизни.

Недаром рассказ так и называется – "Мой дядя самых честных правил..." В этот, только на самый поверхностный взгляд могущий показаться юмористическим, рассказ, при чтении которого, однако, вы не можете удержаться и от смеха, и от тяжелых размышлений о времени конца 30-х годов, и от спазма в горле, Искандер вложил всю силу и мощь своего лирического чувства. От самых смешных и нелепых ситуаций он резко переходит к судьбе и оценке своего нелепого героя, который "оставался человеком" – а это, по шкале этических ценностей Искандера, единственно ценное и великое. "Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над морем. Мы идем в деревню. Это километров двенадцать от города. Я, бабушка и он. Впереди дядя, мы едва за ним поспеваем. Он обвешан узелками, в руках у него чемоданы, а за спиной самовар. Начало лета. Еще не пыльная зелень и не знойное солнце, а навстречу упругий морской ветерок, дорожной сладостью новизны холодящий грудь. Бабушка попыхивает цигаркой, постукивает палкой, а впереди дядя с солнечным самоваром за спиной. И он поет свои бесконечные песенки, потому что ему хорошо и он чувствует бодрую свежесть летнего дня, заманчивость этого маленького путешествия.

Нет, все-таки жизнь и его не обделила счастливыми минутами. Ведь он пел, и пенье его было простым и радостным, как пенье птиц".

"Искусство, – замечал Искандер в "Моцарте и Сальери", – чудо возвращения человека к его истинной человеческой сущности". Через сострадание и понимание сумасшедшего дядюшки Чика искусство Искандера поворачивает читателя к утраченным человеческим ценностям.

"Мы разучились нищим подавать", – было сказано Н. Тихоновым еще в 20-е годы.

Через свой трагический юмор Искандер возвращает к забытому милосердию, к добру, искренности, бескорыстию.



Владимир НАБОКОВ

ЗАБЫТЫЙ ПОЭТ

Рассказ

В тысяча восемьсот девяносто девятом году, в солидном, удобном, как бы фланелью подбитом Санкт-Петербурге того времени, известная культурная организация, Общество Ревнителей Русской Словесности, решила устроить торжественное чествование памяти поэта Константина Перова, умершего полвека тому назад в пылком возрасте двадцати-четырёх лет. Его называли русским Рембо, и хотя французский юноша превосходил его дарованьем, такое сравнение не было совершенно лишено основания. Всего восемнадцати лет отроду он сочинил свои замечательные "Грузинские ночи", длинную, вольно растекающуюся "поэму-сон", иные строфы которой прорывают покров традиционной восточной обстановки, отчего райский холодок истинной поэзии находит точку своего приложения как раз посередине между лопатками читателя.

Затем, три года спустя, появился том его стихотворений: он увлекся каким-то немецким философом, и некоторые из этих стихов производят удручающее впечатление, так как в них он пытается сочетать (с карикатурным результатом) настоящую лирическую

судорогу и метафизическое объяснение вселенной; прочие все так же живы и необычны как и в те дни, когда этот странный юноша выворачивал суставы русского словаря и свертывал шею общепринятым эпитетам, чтобы заставить поэзию захлебываться и вопить вместо того, чтобы чирикать. Большинству читателей нравились больше всего те его стихи, где идея равноправия, столь характерная для русских пятидесятих годов, выразилась в восторженной буре темного красноречия, которое, по словам одного критика, "не столько указывает вам на врага, сколько вызывает желание биться с ним". Лично я предпочитаю его более прозрачную и в то же время менее гладкую лирику, например, "Цыганку" или "Нетопыря".

Перов был сын мелкого помещика, о котором известно только, что он пытался завести чайную плантацию в своем Лужском имении. В юности Константин (говоря языком биографа) проводил большую часть времени в Петербурге, не слишком усердно посещая университет, потом не слишком усердно подыскивая канцелярскую должность — в сущности, очень мало известно об его деятельности, если не считать заурядных сведений, которые легко вывести из быта людей его круга. Отрывок из письма Некрасова, который случайно повстречался с ним в книжной лавке, рисует образ упрямого, неуравновешенного, "неуклюжего и сурового" молодого человека "с глазами ребенка и плечами ломового извозчика".

Упомянут он также в одном полицейском донесении: "тихо переговаривался с двумя другими студентами" в кофейне на Невском. Говорят, его сестра, бывшая замужем за рижским купцом, порицала поэта за его романтические приключения с белошвейками и прачками. Осенью 1849-го года он навестил отца специально чтобы достать у него денег на путешествие в Испанию. Отец его, человек простой и несдержанный, дал ему оплеуху, а спустя несколько дней бедняга утонул, купаясь в местной речке. Его одежду и недоеденное яблоко нашли под березой, но тела так никогда и не об наружили.

Слава его едва теплилась: отрывок из "Грузинских ночей" (всегда один и тот же) во всех антологиях; пламенная статья Добролюбова в 1859-ом году, восхваляющая революционные поползновения в самых слабых его стихах; ходячее в в восьмидесятых годах убеждение, что атмосфера реакции теснила и в конце концов погубила отличный, хотя несколько косноязычный талант — вот, пожалуй и все.

В девяностых годах, вследствие более здорового интереса к поэзии, который, как это иногда случается, совпал с устойчивой и

скучной политической эрой, интерес к стихам Перова возобновился, меж тем как либерально настроенные люди были непрочь последовать по дорожке, указанной Добролюбовым. Успех подписки на сооружение памятника в одном из городских парков превзошел ожидания. Известный издатель собрал по крохам все доступные материалы для биографии Перова и напечатал полное собрание его сочинений в одном, довольно толстом, томе. Журналы посвятили ему несколько статей. Вечер его памяти в одной из лучших столичных зал привлек толпу народа.

2

За несколько минут до начала, когда участники еще сидели в комитетской комнате за сценой, дверь распахнулась и вошел крепкого вида старик в сюртуке, выдавшем — на его или на чьих-то других плечах — лучшие времена. Не обращая ни малейшего внимания на увещания двух студентов-распорядителей с нарукавными повязками, пытавшихся задержать его, он с безупречным достоинством направился к членам комитета, поклонился и сказал: "Я — Перов".

Один мой приятель, в два раза меня старше, последний живой свидетель происшествия, рассказывает, что председатель (который, будучи редактором газеты, имел большой опыт по части навязчивых посетителей) сказал даже не повернув головы, "Выбросьте его вон". Никто этого не сделал — возможно, оттого что принято соблюдать некоторую учтивость по отношению к пожилому, на вид сильно подвыпившему человеку. Он же сел за стол и, обращаясь к выглядевшему безобиднее других Славскому, переводчику Лонгфелло, Гейне и Сюлли-Прюдома (а позднее члену террористической организации), спросил деловитым тоном, внесены ли уже "деньги на памятник", и если внесены, то когда он мог бы их получить.

Все отчеты сходятся на том, как необычайно спокойно он предъявил свое требование. Он не напирал. Он высказал его так, как будто совершенно не допускал мысли, что ему могут не поверить. Больше всего поражало, что в самом начале этого странного происшествия, в этой уединенной комнате, среди всех этих почтенных людей, какой-то человек с бородой патриарха, с выцветшими карими глазами и носом картошкой, спокойно осведомлялся о доходах от сборов, не затрудняясь предъявить даже такие доказательства, какие мог бы подделать обыкновенный самозванец.

— Вы родственник ему, что ли? — спросил кто-то.

— Я Константин Константинович Перов, — терпеливо сказал старик. — Мне сказали, что в зале находится член моей семьи, однако это не имеет никакого отношения к делу.

— Вам сколько лет? — спросил Славский.

— Мне семьдесят четыре года, — отвечал он, — притом я жертва нескольких неурожаев подряд.

— Вам наверное известно, — заметил актер Ермаков, — что поэт, чью память мы чествуем сегодня, утонул в Оредежи ровно пятьдесят лет тому назад.

— Вздор, — возразил старик. — Я разыграл эту комедию, потому что имел на то причины.

— А теперь, любезный, — сказал председатель, — вам следует удалиться.

Они забыли о его существовании и гуськом вышли на ярко освещенную эстраду, где еще один длинный стол, задрапированный торжественным красным сукном, с нужным числом стульев за ним, уже некоторое время привлекал внимание публики бликом традиционного в таких случаях графина. Слева от него был выставлен портрет маслом, одолженный на вечер в Шереметевской картинной галлерее: на нем был изображен двадцати-двухлетний Перов, смуглый молодой человек с романтической прической, в рубашке с открытым воротом. Подставка была целомудренно замаскирована листьями и цветами. Кафедра, с другим графином, возвышалась впереди, а за сценой рояль ждал чтобы его, несколько позже, выкатили для музыкальной части программы.

Зала была битком набита литераторами, просвещенными адвокатами, педагогами, учеными, восторженными студентами обоих полов и так далее. Несколько скромных агентов тайной полиции, посланных присутствовать на вечере, расположилось в неприметных местах в зале, ибо правительство знало по опыту, что самые благонадежные культурные собрания обладают странным свойством превращаться в оргию революционной пропаганды. Тот факт, что одно из ранних стихотворений Перова содержало скрытый, но одобрителный намек на восстание 1825-го года, указывало на необходимость соблюдения некоторых предосторожностей: никогда нельзя предвидеть, что может случиться после того, как будут публично произнесены такие, например, строчки:

Сибирских пихт угрюмый шорох
С подземной сносится рудой.

Как говорилось в одном отчете, "скоро возникло смутное предчувствие скандала в духе Достоевского (автор имеет в виду знаменитую балаганную главу из Бесов) и возникло ощущение какой-то неловкости и безпокойного ожидания". Причиной этому было то, что пожилой господин умышленно вышел на эстраду вслед за семью членами юбилейной комиссии, и сделал попытку усесться вместе с ними за стол. Председатель, желая прежде всего избежать потасовки на глазах у публики, изо всех сил старался его отговорить. Под прикрытием вежливой улыбки, он шепнул старцу, что велит вывести его из зала, ежели он не выпустит спинки стула, которую Славский с непринужденным видом, но стальной хваткой, незаметно старался вырвать из его узловатой руки. Тот отступить отказался, но рука его соскользнула и он остался без стула. Он огляделся, заметил рояльный табурет за сценой и хладнокровно вытащил его на эстраду, на долю секунды опередив руку невидимого служителя, который попытался перехватить его. Он уселся на некотором расстоянии от стола и тотчас сделался главной достопримечательностью.

Тут комиссия совершила роковую ошибку, решив опять игнорировать его: им, повторяю, очень хотелось избежать скандала; к тому же куст гортензии рядом с мольбертом наполовину скрывал от них неприятного субъекта. К несчастью, старик оказался на полном виду у публики, когда опустил на свой неподобающий пьедестал (поминутным скрипом напоминавший о своих вращательных способностях), раскрыл футляр для очков и, по-рыбьи округлив губы, подышал на стекла, совершенно невозмутимый и спокойный, своей величавой головой, поношенной черной одеждой и прюнелевыми сапогами напоминая одновременно обедневшего профессора и процветающего гробовщика.

Председатель направился к кафедре и начал вступительное слово. Перешептывания пробегали по зале, так как людям, естественно, хотелось знать, кто этот старик. Крепко посадив очки на нос и положив руки на колени, он покосился на портрет, потом отвернулся и оглядел первый ряд. Ответные взоры невольно переходили с блестящего купола его головы на курчавую голову портрета, потому что покуда председатель произносил длинную речь, подробности вторжения старца распространились, и воображение иных из присутствующих уже лелеяло мысль, что поэт, принадлежавший к почти-что легендарной эпохе, прочно отнесенный к ней учебниками, существо анахроничное, живое ископаемое в сетях невежественного рыболова, какой-то Рип ван Винкель, — в самом

деле на старости лет явился в этом своем сером воплощении в собрание, посвященное славе его юных дней.

— ... так пусть же имя Перова, — говорил председатель, заканчивая речь, — никогда не забудется мыслящей Россией. Тютчев сказал, что "сердце России не забудет" Пушкина "как первую любовь". О Перове можно сказать, что он был первым российским опытом свободы. Поверхностному наблюдателю может показаться, что свобода эта сводится к феноменальному изобилию поэтических образов Перова, которое оценит скорее художник, чем гражданин. Но мы, представители более трезвого поколения, мы склонны усматривать более глубокий, более насыщенный, более человечный и более общественно-значительный смысл в таких его строках, как

Когда в тени последний снег тает,
В апреле, под кладбищенской стеной,
И отливает синим и лоснится
На быстром солнце круп кобылы вороной
Соседа моего, и столько луж, похожих
На чаши с небом, в чернокожих
Руках земли, — тогда, в худой шинели,
Моя душа проходит по панели
Чтоб навестить слепых, и нищих, и глупцов,
И тех, кто спину гнет для круглых животов,
Чье зренье похоть ли, забота ль притупила —
Ни дыр в снегу, ни кубовой кобылы,
Ни чудных луж не видно им...

Раздался гром аплодисментов, как вдруг хлопанье оборвалось, а затем послышались разрозненные раскаты смеха; ибо когда председатель, еще вибрируя от только что произнесенных им слов, вернулся к столу, бородастый незнакомец поднялся и, в ответ на аплодисменты, несколько раз угловато покивал и неловко помахал рукой, выражая вместе формальную признательность и некоторое нетерпение. Славский и двое распорядителей сделали отчаянную попытку утащить его с эстрады, но из глубины зала стали кричать "Стыдно, стыдно" и "Оставьте старика!"

В одном из отчетов я нахожу предположение, что среди публики у него были сообщники, но я думаю, что массовое сочувствие, возникающее столь же неожиданно как и массовое озлобление, достаточно хорошо объясняет оборот, который начало принимать дело. Несмотря на то, что старику приходилось отбиваться от трех человек, он ухитрился сохранять достоинство, и когда его не слишком решительные противники ретировались и он снова зав-

ладел рояльным табуретом, опрокинутым во время схватки, по зале прошел гул удовлетворения. Однако, как это ни прискорбно, настроение собрания было безнадежно подорвано. Тем из присутствующих, кто был помоложе и побуйней, ситуация начала нравиться чрезвычайно. Председатель, раздувая ноздри, налил себе стакан воды. Из двух углов залы осторожно переглядывались два агента сыскной полиции.

3

За речью председателя последовал отчет казначея о суммах, полученных от различных учреждений и частных лиц на сооружение памятника Перову в одном из пригородных парков. Старик неторопливо достал клочок бумаги и огрызок карандаша и, приладив бумагу на колене, начал отмечать цифры по мере того как они произносились. Затем на эстраде на минуту появилась внучка сестры Перова. С этим номером программы организаторам пришлось повозиться, так как эта толстая, лупоглазая, восковой бледности молодая женщина лечилась от меланхолии в заведении для душевнобольных. Вся в жалко-розовом, с трагически перекошенным ртом, она была наскоро показана публике и потом передана обратно в крепкие руки дородной женщины, которую делегировало заведение.

Когда Ермаков, в те годы любимец театральной публики и, так сказать, драматическая разновидность того, что называют beau tепог, начал читать сливочно-шоколадным голосом монолог Князя из "Грузинских ночей", стало ясно, что даже его преданнейших поклонников больше занимала реакция старика, чем красота исполнения. При строках

Коль верно, что металл не знает тленья,
То, значит, где-нибудь должна лежать
Та пуговица, что мне в день рожденья
(Сельмой) в саду, случилось потерять.
Сыщите мне ее — тогда она
Залогом будет, что вот так любая
Душа отыщется, не погибая,
Сохранна, сочтена, и спасена —

его самообладание впервые дало трещину, и он медленно развернул большой платок и со смаком высморкался, так что густо подведенный, алмазно-яркий глаз Ермакова закопился как у пугливого коня.

Платок проследовал обратно в недра сюртука, и лишь несколько мгновений спустя сидевшим в первом ряду стало видно, что из-под очков у него капаят слезы. Он не пытался отереть их, хотя раз или два его рука с растопыренными пальцами поднималось было к очкам, но опускалась обратно, точно он боялся таким жестом (и это было жемчужиной всего изощренного спектакля) привлечь к своим слезам внимание. Громовые рукоплескания по окончании чтения были, несомненно, скорее данью старику за его игру, чем Ермакову за прочтение поэмы. Затем, едва аплодисменты утихли, он встал и подошел к краю эстрады.

Члены комиссии не пробовали остановить его, и на это были две причины. Во-первых, председатель, доведенный до крайней степени раздражения вызывающим поведением старика, удалился на минуту, чтобы сделать одно распоряжение. Во-вторых, странные сомнения начали беспокоить некоторых организаторов; так, что когда старец облокотился на пюпитр, в зале воцарилась полнейшая тишина.

— И это слава, — сказал он таким хриплым голосом, что из задних рядов раздалась крики "Громче. громче!".

— Я говорю, это и есть слава, — повторил он, сумрачно оглядывая публику поверх очков. — Десятка два ветреных стишков, жонглирование трескучими словами, и твое имя поминают, точно ты принес какую-то пользу человечеству! Нет, господа, не нужно себя обманывать. Наша Империя и трон нашего батюшки царя стоят как стояли, аки гром оцепенелый, в своей неколебимой мощи, и сбившийся с пути юноша, кропавший бунтарские стишки тому назад пол-века, теперь законопослушный старец, пользующийся уважением честных сограждан. Старец, добавлю, который нуждается в вашей защите. Я жертва стихий: земля, которую я вспахал в поте лица своего, агнцы, коих я лично вскормил, пшеница, махавшая мне золотыми руками —

И тут-то двое дюжих полицейских быстро и безболезненно выдворили старика. В публике успели заметить как его быстро выводили — манишка торчала в одну сторону, борода в другую, одна манжета болталась у кисти, но в его глазах сохранялась та же степенность и та же гордость.

В репортаже о чествовании главные газеты лишь мельком упоминали о "достойном сожаления инциденте", омрачившем его. Но бульварные *Петербургские Новости* — лубочный, черносотенный листок, издававшийся братьями Херстовыми для мешанских низов и для полуграмотной, блаженной в своем неведении прослойки

рабочего люда, разразился серией статей, утверждавших, что "достойный сожаления инцидент" был ничто иное как возвращение из небытия настоящего Перова.

4

Между тем старика подобрал купец Громов, очень богатый самодур и чудак, дом которого был полон бродячих монахов, шарлатанов-лекарей и "погромо-мистиков". *Новости* напечатали несколько интервью с самозванцем. В них он говорил ужасные вещи о "лакеях революционной партии", обманом лишивших его собственного имени и присвоивших себе его деньги. Он намеревался взискать эти деньги законным порядком с издателя полного собрания сочинений Перова. Один вечно пьяный литературовед, приживальщик Громова, указал на (к сожалению довольно разительное) сходство между наружностью старика и портретом.

Появилась обстоятельная, но чрезвычайно малоправдоподобная версия самоубийства, инсценированного им будто бы для того, чтобы вести Христианский образ жизни на лоне Святой Руси. Кем он только ни был — разносчиком, птицеловом, паромщиком на Волге, пока наконец не обзавелся клочком земли в отдаленной губернии. Мне попался экземпляр довольно мерзкой на вид книжонки, *Смерть и Воскресение Константина Перова*, которую продавали дрожащие от холода нищие на улице вместе с *Похождениями Маркиза де Сада* и *Мемуарами Амазонки*. Однако, лучшее из того, что я нашел, роясь в старых бумагах, была захватанная фотография бородатого самозванца на мраморе неоконченного памятника Перову, среди опавших листьев парка. Он стоит очень прямо, скрестив на груди руки, в круглой меховой шапке и новых галошах, но без пальто; у его ног сгрудилась стайка сторонников, и их маленькие белые лица смотрят в объектив с тем особым, опупелым, самодовольным выражением, какое бывает на старых фотографиях у толпы погромщиков.

В этой атмосфере здорovenного хулиганства и черносотенной пошлости (столь тесно связанной в России с идеей правления, независимо от того, зовут-ли царя Александром, Николаем, или Иосифом), интеллигенции трудно было примириться с катастрофическим совмещением образа чистого, пылкого, революционно-настроенного Перова, каким он предстает в своей поэзии, с вульгарным стариком в грубо размалеванной свиарне. Трагично было то, что, в то время как ни Громов, ни братья Херстовы сами отнюдь не верили, что развлекавший их забавник был в самом деле Перов, многие честные и культурные люди не могли отвязаться от невыносимой мысли, что они отвергли Истину и Справедливость.

Как сказано в недавно опубликованном письме Славского к Короленке, "Дрожь берет при мысли, что беспримерный в истории дар судьбы – воскрешение большого поэта прошлого, как некоего Лазаря – может быть неблагоприятно отринут – мало того, воспринят как злостный обман со стороны человека, вся вина которого заключалась в том, что он пол-столетия молчал, а потом несколько минут нес чушь". Слог витиеват, но смысл ясен: Российская интеллигенция меньше боялась оказаться жертвой обмана, чем совершить чудовищную ошибку. Но было и другое, чего она еще больше боялась, а именно разрушения идеала, ибо радикал готов разрушить все на свете только не тот банальный пустяк (каким бы сомнительным и пыльным он ни был), который радикализм почему-либо обоготворил.

Передавали, что на тайном заседании Общества Ревнителей Русской Словесности многочисленные бранные письма, непрерывно посылавшиеся старику, тщательно сличались экспертами с очень старым письмом, которое поэт написал в юности. Оно было обнаружено в каком-то частном архиве, считалось единственным образцом почерка Перова, и никто кроме ученых, исследовавших его выцветшие чернила, не знал о его существовании – как и мы не знаем теперь, к какому они пришли заключению.

Передавали тоже, что была собрана некоторая сумма, которую предложили старику в тайне от его непрезентабельных сторонников. По-видимому ему предложили солидную ежемесячную пенсию, с условием, что он тотчас вернется на свою мызу и будет жить там в приличествующем ему молчании и забвении. По-видимому, это предложение было принято, так как исчез он столь же внезапно, как и появился, а Громов между тем примирился с потерей домашнего шута, поселив у себя подозрительного гипнотизера французского происхождения, который года через два стал пользоваться некоторым успехом при Дворе.

Памятник был должным порядком открыт и приобрёл большую популярность у местных голубей. Спрос на собрание сочинений, как и следовало ожидать, сошел на нет посредине четвертого издания. Наконец, спустя несколько лет, старейший, хотя, возможно, и не самый умный житель уезда, где Перов родился, рассказал одной журналистке, что припоминает как отец говорил ему, что нашел скелет в камышевых зарослях местной речки.

На этом можно было бы и кончить, если б не пришла революция, вывернувшая пласты тучной земли вместе с белесыми корешками

разнотравья и жирными лиловыми червями, которые в других обстоятельствах остались бы погребенными. Когда в начале двадцатых годов в мрачном, голодном, но болезненно деятельном городе размножились разные диковинные культурные учреждения (как, например, книжные лавки, где знаменитые, но обнищавшие писатели продавали собственные книги, и тому подобное) кто-то обеспечил себе двухмесячное пропитание устроив Перовский музейчик, и эта затея привела к еще одному воскрешению.

А экспонаты? Все за исключением одного (письма). Подержанное прошлое в убогом помещении. Миндалевидные глаза и каштановые локоны драгоценного Шереметевского портрета (с трещиной в области открытого ворота, как бы от неудавшегося обезглавливания); потрепанный томик "Грузинских ночей", будто бы принадлежавший Некрасову; неважная фотография сельской школы, построенной на том месте, где некогда стояли дом и сад, принадлежавшие отцу поэта. Старая перчатка, забытая каким-то посетителем музея. Несколько изданий сочинений Перова, разложенных так, чтобы занять как можно больше места.

И так как все эти жалкие реликвии отказывались составить одну счастливую семью, пришлось добавить несколько предметов той эпохи, как, например, халат, который известный радикальный критик носил в своем вычурном кабинете, и кандалы, которые он носил в своей деревянной сибирской тюрьме. И опять же, так как ни эти бедные вещи, ни портреты разных литераторов того времени не были достаточно объемисты, то посередине этой унылой комнаты установили модель первого железнодорожного поезда, пущенного в России (в сороковых годах, между Петербургом и Царским селом).

Старик, которому было уже далеко за девяносто, но который не лишился еще дара речи и держался более или менее прямо, водил вас по музею, словно он был там гостеприимный хозяин, а не сторож. У вас было странное впечатление, что вот сейчас он пригласит вас в другую, (несуществующую) комнату, где будет подан ужин. В действительности же ему принадлежали только печка за ширмой да лавка, на которой он спал; но если вы покупали одну из книг, выставленных на продажу у входа, он вам ее надписывал как нечто само собою разумеющееся.

А однажды утром, женщина, приносившая ему еду, нашла его на лавке мертвым. В музее некоторое время жило три сварливых семейства, и вскоре из его коллекции ничего не осталось. И как будто чья-то огромная рука вырвала с громким треском кипу страниц из множества книг, или будто какой-то легкомысленный сочинитель запрятал в сосуд истины эльфа фантазии, или будто...

Впрочем, это несущественно. Так или иначе, в течение последующих двадцати что-ли лет Россия утратила всякую связь с поэзией Перова. Молодые советские граждане столь же мало знают о его произведениях, как и о моих. Без сомнения, придет время когда его снова откроют и будут опять им зачитываться: а все же нельзя отделаться от чувства, что покамест люди много теряют. Хотелось бы тоже знать, к какому выводу придут будущие историки насчет старика и его необычайной претензии. Но это, разумеется, вопрос второстепенной важности.

Бостон, 1944-й год

Перевели с английского Вера Набокова
и Геннадий Барабтарло (1985)

В публикации сохранена орфография переводчика.



После четырнадцатилетнего изгнания в Москве с 6 по 28 января нынешнего года побывал гл. редактор альманаха "Стрелец". Тринадцатого января в московском престижном Доме медиков и двадцать четвертого января в помещении театра-студии "На досках" состоялись беспрецедентные для Советского Союза вечера эмигрантского журнала с участием его московских и ленинградских авторов (несомненное достижение периода перестройки и гласности). На первом вечере перед переполненным залом выступали Александр Глезер, обозреватель журнала "Огонек" Феликс Медведев, назвавший этот вечер чудом, и двенадцать поэтов и прозаиков (в порядке выступлений): Генрих Сапгир, Дмитрий Волчек, Татьяна Щербина, Аркадий Бартов, Виктор Коркия, Владимир Друк, Владислав Лен, Вячеслав Сысоев, Александр Сопровский, Эдуард Пронилов, Михаил Берг и Юрий Карабчиевский.

На втором вечере "Стрельца" участников было меньше, так как хотелось, чтобы слушатели задавали

больше вопросов. Здесь выступали литературоведы Наталья Иванова и, открывший этот вечер, Михаил Эпштейн, поэты Владимир Алейников, Генрих Сапгир и Владислав Лен. Затем более часа на вопросы собравшихся отвечал Александр Глезер. Вопросы эти были многочисленными и разнообразными: о жизни в эмиграции, об авторах "Стрельца", о новых книгах А.И.Солженицына, об отношении к нему в эмиграции. Кстати, по сути вопросов о Солженицыне было ясно, что авторам записок то, что они спрашивают, известно и им лишь хочется услышать мнение человека, приехавшего "оттуда". Стоит отметить, что в некоторых из этих записок наряду с вопросом содержалось и мнение их авторов, которые давали высокую оценку "Красному колесу" и осуждали попытки целого ряда эмигрантских публицистов опорочить великого русского писателя.

Мы предлагаем вашему вниманию несколько стихотворений и рассказов, прозвучавших на первом московском вечере "Стрельца".

Аркадий БАРТОВ

ИЗ ЦИКЛА «В ГОСТЯХ У ЛИТЕРАТОРОВ»

В ГОСТЯХ У ГОРЬКОГО

"В самый, в самый раз к обеду, там все и обсудим", — сказал Алексей Максимович, знакомясь с гостями у виллы Сорито. Поговорить о судьбах литературы народу прибыло много — из дружественных стран Европы и Америки, а также работники советского полпредства и местных властей. Гостей быстро доставлял к вилле из Сорренто на гоночной машине сын Алексея Максимовича Максим Алексеевич. Там их уже ждали — гонг настойчиво сзывал к обеду. На столах среди тарелок пестрели разноцветными наклейками бутылки. Гости шумно рассаживались. И настолько радушен, сердечен оказался хозяин, что буквально через час один молодой английский писатель с чувством воскликнул: "Выпьем за русского Рафаэля, за нашего хозяина!" Алексей Максимович строго посмотрел на молодого гостя и сказал: "Не умеем мы разговаривать с иностранцами, — и добавил, выпивая бокал лакримо кристи, — а я считаю, что Ломоносов ничем не меньше Гете, а как ученый — побольше!". Принесли перемену блюд. Разговор о литературе принял задушевный характер. "Талантливый

человек, — сказал Алексей Максимович, дожевывая осьминога, — будет писать, — и добавил, обводя взглядом столы, — впрочем не-талантивые тоже". Разговор о литературе принял откровенный характер. "Литература — это душа писателя, — сказал Алексей Максимович, — а моя душа кричит как рыжая кошка и шерсть дыбом!". Алексей Максимович выпил бокал кьянти и добавил, — полегчало немношко". Принесли кино. "Кажный, — сказал Алексей Максимович, — должен мой фильм "Мать" смотреть". Посмотрели. Помолчали. Вышли из виллы в темную душную ночь. Видно было море, и Везувий, и столб огненного пара над ним, освещающий синеву моря и лазурный берег. Принесли на берег столы с вином. Зажгли костры. Алексей Максимович выпил бокал чинзано, посмотрел пристально на молодого английского гостя и спросил отрывисто: "Поговорим о любви. Что вы больше любите: огонь или воду?" Тот смутился. Ночь догорала, освещенная Везувием. "Давайте музыкантов пригласим", — предложил Алексей Максимович, помешивая палкой в костре. Хором стали звать. Собрались музыканты, наскоро настраивали струны, смущались. "Выпьем с людьми", — предложил Алексей Максимович. Выпили. Ну и заиграли же они. И полилась, полилась знойная, трепещущаяся неаполитанская песня. Уже всех гостей разморило, стихли разговоры о литературе, а песня все льется и льется.

На утренней заре разносили по комнатам работников советского полпредства и местных властей. Литераторов из дружественных стран Европы и Америки отвозил в Сорренто на гоночной машине сын Алексея Максимовича Максим Алексеич. На лазурном берегу стояли рядом Алексей Максимович и советский полпред, провожая гостей. "Пора, пора на родину, — тихо говорил Алексею Максимовичу советский полпред, — народ ждет своего пролетарского писателя". Алексей Максимович ничего не отвечал, смотрел вдаль. Ветер трепал озаренные Везувием полы его широкополой шляпы и рыжие усы. Молодой английский писатель, перед тем как его внесли в машину, приподнял голову, посмотрел на хозяина и задумчиво сказал, как бы про себя: "Хороший человек, наш Алексей Максимович".

В ГОСТЯХ У ШОЛОХОВА

"В самый, самый раз к обеду, там все и обсудим", — сказал Михаил Александрович, знакомясь с гостями на краю своего степного аэродрома. Поговорить о судьбах литературы народу прибыло много — из ГДР, Болгарии и других дружественных стран, а также работники ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. Гостей быстро доставили к дому Михаила Александровича. Там их уже ждали — на большом лугу в тени деревьев были настланы дорожки, стояли тарелки для ухи, пестрели разноцветными наклейками бутылки. Гости шумно рассаживались за столы. Василий Белов и Олжас Сулейменов сели рядом. И настолько радушен, сердечен оказался хозяин, что буквально через час один молодой венгерский поэт с

чувством воскликнул: "Известно, что Дон впадает в Азовское море, но прошу заметить, что он впадает и в наши сердца". "Торопиться с комплиментами, — сказал Михаил Александрович, — я требователен к молодежи". Михаил Александрович обвел взглядом столы и добавил: "У меня к тому есть основания". Василий Белов и Олжас Сулейменов переглянулись. У Михаила Александровича спросили, что он ждет от молодежи. Михаил Александрович пристально посмотрел на молодого венгерского гостя и ответил: "Я всегда смотрю на молодежь с надеждой, как на яблоню в цвету, когда ждешь от нее первых плодов". Разговор за столом принял задушевный характер. Кое-кто из гостей поинтересовался, куда пошли деньги за сталинскую, ленинскую и нобелевскую премии. Михаил Александрович ответил, что в фонд обороны, а также на покупку пятидесяти овец эдильбаевской породы. Помолчали. "Да что о нобелевской премии вспоминать, — сказал вдруг Михаил Александрович, — вручали мне ее в золотом зале, но в вашем обществе мне веселее сердцу". Принесли перемену блюд. Разговор о литературе принял откровенный характер. "О чем писать? — размышлял вслух Михаил Александрович, — а ты как считаешь?" — неожиданно спросил он у молодого венгерского литератора. Тот поперхнулся и покраснел. Василий Белов и Олжас Сулейменов улыбнулись. "Скажу, как рядовой читатель, — ответил сам себе Михаил Александрович, — я за те книги, которые помогут людям больше видеть и, — Михаил Александрович ласково усмехнулся, — глубже знать".

Июньское солнце заливало своим благодатным теплом землю и вонзало золотые стрелы в донскую небыструю рябь. "Тихая вроде, а какая в ней могучая сила!" — восхищенно воскликнул Михаил Александрович. "Поговорим о наших воинах. Патриотизм надо воспитывать с пеленок, — Михаил Александрович показал на стоящих неподалеку работниц местного общепита и добавил с легкой грустинкой в голосе, — вот и жизнь такая же неудержимая". Василий Белов и Олжас Сулейменов тоже взглянули на работниц. День догорал, все сидели в столовой, слегка усталые, разморенные. "Давайте девчат пригласим", — предложил Михаил Александрович. Хором стали звать. Собрались женщины, наскоро снимали передники, смущались. "Угостите для храбрости", — попросили женщины. Угостили. Женщины держали рюмки в руках, но не пили. "Нашли чем угощать, — усмехнулся Михаил Александрович, — да они коньяк не пьют". Налили водки... Ну и пели же они. Уже всех гостей разморило, кроме Василия Белова и Олжаса Сулейменова, а песня все льется и льется.

Далеко за полночь разносили по комнатам гостей. Василий Белов и Олжас Сулейменов легли рядом. Стихий разговоры о литературе. Уже унесли гостей из ГДР, Болгарии и других дружественных стран, а также работников ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. За столом остались лишь молодой венгерский гость и весь залитый светом Михаил Александрович. Ветер трепал его седой чуб. Молодой венгерский поэт попытался встать из-за стола, посмотрел на хозяина и задумчиво сказал, как бы про себя: "Хороший человек, наш Михаил Александрович".

Дмитрий ВОЛЧЕК

* * *

что ж — и поленницу культуры
надоедает ворошить
тащи абрам мануфактуру
садись-ка саван шить

чтоб эту жизнь недорогую
удав заморский не стянул
ложбинки выточить на пуле
с удавкой влезть на стул

сомнительный пустопорожный
достойно завершая путь
чтоб в сонме ангелов ничтожной
беспечной птичкой промелькнуть

* * *

здесь в обескровленной груди
в предстательной волне содома
иль ненароком посреди
разрезанного тома

такое терпкое пятно
валун захлестнутый потоком
ему и больно и смешно
и бес грозит ему в око
с мечтательным упрёком

Александр СОПРОВСКИЙ

* * *

Кто на пресненских?
Тихо в природе,
Но под праздник в квартале пустом
Бродит полночь меж подворотен
Подколотной гармонике стон.
Вся в звездах запредельная зона.
Там небесная блеет овца,
Или Майру зовет Эригона,
Чтобы вместе оплакать отца,
А на Пресне старик из Ростова
Бессловесное что-то поёт.
Не поймешь в этой песне ни слова,
Лишь беззубо колышется рот.

И недаром обиженный дядя —
Честь завода, рабочая кость —
Вымещает на старом бродяге
Коренную, понятную злость.
И под небом отчаянно-синим
Он сощурился на старика,
Слово ищет, находит с усилием:
— Как тебя не убили пока?
Как тебя не убили, такого? —
А старик только под нос бурчит,
Не поймешь в этой песне ни слова,
Да и песня уже не звучит...
Тихо длятся февральские ночи.

Лишь гармоника стонет не в лад,
Да созвездий морозные очи
На блестящие крыши глядят.
Поножовщиной пахнет на свете
В час людских и кошачьих грехов.
Волопас, ты за это в ответе:
Для чего ты поил пастухов?

1975

* * *

Мы больше не будем на свете вдвоём
Свечами при ветре стоять.
Глаза твои больше не будут огнём
Недобрым и желтым сиять.
Любимая, давешняя, вспомяни
Свечи оплывающей чад.
В длину, в высоту погоревшие дни,
Как черные балки, торчат.
И пусть их болтают, что правда про них,
И сплетни городят горой.
Мы прожили юность не хуже других —
И так, как не смог бы другой.
Я снова брожу в черепковском лесу,
Березовой памятью жив,
И роща свечная дрожит навесу,
Дыхание заворожив, —
Как будто мы снова на свете одни,
И, дятлом под рёбра стуча,
Прекрасное лето в апрельские дни
Упало на нас сгоряча.

1975

ВЕЧЕРНЯЯ ПОВЕРКА

иванов — я
петров — я
сидоров — я
так точно — тоже я

к сожалению — я
видимо — я
видимо-невидимо — я

патефонов — я
мегафонов — я
стереомагнитофонов — я
магнитофонов — я
цветотелевизоров — я

в лучшем случае — я
в противном случае — тоже я
в очень противном случае — опять я
здесь — я, тут — я
к вашим услугам — я

рабиндранат тагор — я
конгломерат багор — я
дихлорэтан кагор — я
василиса прекрасная — если не ошибаюсь — я

там, где не вы — я
там, где не я — я
песня последняя,
песня бескрайняя

я— як-истребитель
я — член профсоюза
и мною гордится страна

я-я — хали-гали
я-я — трали-вали
и я из окошка видна

сначала справа я
а после слева я
такая нежна-я
и перезрела-я
такая тонка-я
и непрозрачна-я
така-я бе-ла-я,
така-я мрач-на-я

летает Я – МОЯ
не просто Ё – МОЁ!
такая явная
такая стремная

но я другое я...
я семь на восемь я...
я восемь на семь я...

не сравнятся со мной
ни леса ни поля
мирные люди – я
и бронпоезд – я

и везувий – я
и вергилий – я
и василий – я

и скажу вам не тая
мистер твистер – тоже я

чем более я
тем менее я
тем не менее – я

а ты?
а ты такой холодный
а ты такой красивый
а ты такой свободный
такой точь в точь как я

ну вылитый я
ну выбитый я
ну выбритый я
ну тыбритый я
забритый, забытый, брошенный я
хороший и очень хорошенькая

шпрехен зи дойч? — я
шпрехен зи дойч — я
шпрехен зи дойч — я
их-бин-я-зи-нихт-
фор-фершпрехен-
ферботен-гут-я!
КТО ЕСЛИ НЕ Я?
Я ЕСЛИ НЕ Я!

Расслабьтесь,
это я
пришел...

«НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ПОНЯТЬ, ЧТО МЫ ВСЕ-ТАКИ СДЕЛАЛИ»

Беседа с Виктором Кривулиным

Из авторов "Стрельца", живущих в метрополии, вы, наряду с Генрихом Сапгиром, старожил журнала, и знакомы со многими его номерами. Мне хотелось бы услышать ваше мнение о нем.

"Стрелец" представляется сейчас одним из самых симпатичных и в художественном отношении наиболее нужных, полноценных журналов русского Зарубежья. На мой взгляд, именно потому, что там действует принцип эстетического отношения к публикуемому, то есть нет той политизации материалов, которая часто встречается в русских эмигрантских изданиях. "Стрелец" в этом смысле, по-моему, совершенно новый журнал, такой журнал, какого и в Союзе и в Зарубежье пока что еще не было. Но нужно сказать, что не все материалы "Стрельца" меня одинаково устраивают с художественной точки зрения.

Меня, естественно, тоже.

Хотелось бы, чтобы уровень журнала был выше. И самое главное, пожалуй, если говорить о том, чего хотелось бы и чего в журнале пока нет, это критики высокого уровня. Ну, собственно говоря, ее нигде нет, ее и в Союзе сейчас нет.

В первом номере альманаха "Стрелец", с этого года, как вы знаете, журнал превратился в альманах, в беседе с Сергеем Юрьененом я как раз говорил о том, что главная беда нашего журнала, как и всех остальных журналов русского Зарубежья, это критика. И когда я читаю журналы советские, где публикуются статьи Рассадина, Золотусского, Анненского, Ивановой, то меня просто гложет черная зависть. Хотя это, может быть, еще и не тот уровень, о котором вы говорите, но все-таки по сравнению с тем, что есть в эмиграции, это — критика.

Что касается художественного отдела "Стрельца", то меня устраивает, практически, ну, процентов семьдесят вещей, что очень много. А вот критический отдел, повторяю, и то, что называется осмыслением эстетического процесса, здесь нужно что-то предпринять.

Может быть, вы, как новый член редколлегии "Стрельца", мобилизуете, как говорится, ленинградских критиков на это дело. Я с удовольствием буду публиковать их статьи и эссе.

Мы создали недавно ассоциацию независимых писателей, которая называется "Новая литература". Она по своим задачам, по направленности своей, ближе к "Стрельцу", чем к каким-либо другим зарубежным русским изданиям. Почти ведь нет журналов, ориентирующихся на проблемы культуры, и в этом плане "Стрелец" — отрадное исключение.

И, знаете, вот хорошая новость: впервые парижский магазин "Глоб", который прежде продавал только литературу, изданную в Советском Союзе, недавно, под влиянием, очевидно, процесса гласности, стал брать для продажи и книги некоторых эмигрантских издательств, в том числе "Третьей волны". Взяли они и несколько номеров альманаха "Стрелец".

Отношения властей в Союзе к эмигрантской литературе, видимо, стало более мягким. Скажем, "Стрелец" теперь свободно доходит по почте. Мне вот посылали его из Парижа, и все дошло.

Хотя бывают в "Стрельце", конечно, и острые политические материалы...

Сейчас проблема политической остроты воспринимается у нас не так остро. Зачастую материалы, которые там печатаются острее, чем то, что я читаю здесь.

Интересно, что в номере альманаха, который взял на распространение "Глоб", полностью воспроизведена Международная конференция, посвященная Солженицыну, проведенная недавно в Нью-Йорке, Литературным центром "Стрелец". И вот, несмотря на это...

Теперь вообще начинается очень интересный процесс внутри страны. Перед отъездом сюда, например, мне предложили вступить в Союз писателей по книжкам, изданным в Париже. В этом процессе "Стрелец" играет довольно важную роль и еще большую

может играть в будущем. Именно потому, что культурная направленность "Стрельца" оказывается ныне очень актуальной для России.

Я уже как-то говорил, что из России редакция получает много писем. Кто-то отмечает прозу Юрьенена, кто-то — Мамлеева, кто-то — Фалькова, кто-то — стихи... Но почти во всех письмах особенно выделяются разделы "Литературный архив", "Наше интервью", "Воспоминания".

По-моему, просто замечательно, что часто публикуются в "Стрельце" ленинградцы, что публикуется прекрасная проза Мамлеева, она должна дойти до советского читателя... Конечно интересны очень и архивные материалы. И жаль все-таки, что "Стрелец" проникает к нам, так сказать, микроскопическими дозами. А есть громадная читающая Россия, которой нужна литература.

Может, стоит подумать о возможностях свободного распространения "Стрельца" и в метрополии? И чтобы там была вторая редколлегия, которая подбирала бы московских, ленинградских и других авторов для альманаха.

Я хочу предложить вам чисто конкретный шаг. Одна из целей нашей ассоциации — объединение всего живого, что есть в русской литературе. И мы хотим обрести возможность свободного распространения нашего издания на территории России. Собственно, такая же направленность постоянно присутствует и в "Стрельце", и она мне очень симпатична.

Поэтому мы можем подумать и о распространении "Стрельца".

Мне хотелось бы перейти к поэзии. Вы относитесь к старшему поколению ленинградских неофициальных поэтов. Что интересного делается в ленинградской поэзии сейчас?

Я, наверное, отношусь все-таки к среднему поколению. Первая волна в Ленинграде — это пятидесятые годы: Ерёмин, Виноградов, Уфлянд, Рейн, люди, которым сейчас за пятьдесят лет. А среднее поколение пришло в начале шестидесятых годов. Даже Бродский на грани где-то... Вообще, если говорить о Ленинграде, то, на мой взгляд, существовало три волны в неофициальной ленинградской поэзии, впрочем, как и в официальной. Для ленинградской поэзии характерна эстетизация абсурда. А, с другой стороны, вы, наверно, это заметили, ленинградские стихи отличаются повышенной патетичностью. У Бродского есть и то и другое. Вторая волна связана как раз с Бродским и Бобышевым, с теми, кого я называю "ахматовскими сиротами". Это люди, прошедшие период неоклассицизма, и до сих пор существующие как бы в тени классики. Бродский, пожалуй, единственный из этого поколения, кто преодолел тяжесть классического наследия. Бобышев очень хороший поэт, но я не знаю, что сейчас с ним происходит.

На мой взгляд, он интересно работает. В первом номере альманаха "Стрелец" опубликованы его стихи,

которые, по-моему, написаны в новом ключе.

Нет, Бобышев серьезный, настоящий поэт. Он принадлежит к началу второй волны, а я отношусь к поколению, сложившемуся где-то на грани второй волны и последующей. Эта последующая волна тоже имеет два крыла. Тут прежде всего нужно сказать о поэзии абсурда. Ну, в той или иной степени у нас всех, даже когда мы пишем серьезно, присутствует элемент абсурда, в отличие от московской поэзии. В Ленинграде нет и никогда не было такого "вивризма", скажем, восхищения жизнью, как в Москве. Наша жизнь – провинциальная, жизнь жуткая, страшная и человека никогда не удовлетворяющая. К ней нужно относиться либо как к классическому памятнику, либо просто все зачеркивать, ставить иронический знак. Поэтому в конце шестидесятых-начале семидесятых годов возникла совершенно особая поэзия, которая соединяла в себе черты поэзии религиозной и абсурда. К таким поэтам я отношу и себя, и Елену Шварц, на мой взгляд, одного из самых интересных современных русских поэтов, настолько интересных, что Ахмадулина постоянно, во всех своих интервью, говорит о ней.

И это не случайно, потому что Елена Шварц – уникальное явление, и именно поэтому на Западе, то есть в эмиграции, она не приживается. Ведь Шварц выходит из рамок привычных представлений, она ломает их. Ее творчество – соединение мистической поэзии с абсурдом, что как бы несоединимо для людей, мыслящих прямолинейно. Вам известен, наверно, Олег Охупкин, поэт религиозный, очень интересный, в семидесятые годы, видимо, ведущий ленинградский поэт. Очень интересен Александр Мионов, поэт удивительный, такой современный Кузмин.

Я много о нем слышал, но стихи его дошли до меня только в прошлом году, причем всего два стихотворения, написанных от руки, невозможно прочесть...

У меня с собой есть, я вам покажу. Его надо печатать. Но я хотел бы сказать о странном явлении: выяснилось, что перестройка убийственно действует на поэзию. Казалось, все должно цвести, поэты должны развиваться, но, видимо, было какое-то напряжение духовное в семидесятые годы, чувство избранности, противостояния, ощущения, что мы как бы владеем богатством культуры, а вокруг существует советская литература – бондаревы, исаевы и т.д... Когда же журналы стали печатать Ходасевича, Гумилева, когда это стало объектом массового сознания, вдруг оказалось, что мы словно потеряли аудиторию...

На самом деле аудитория должна была бы стать больше.

Нет, потому что все "отсасывает" публицистика, это основное, что мы сейчас читаем. Ну, там упомянули Бухарина или Троцкого, скажем, обругали Горького, "покрыли" соцреализм... Это читается, это смотрят по телевидению. Иными словами, собственно поэтическая проблематика отходит на второй план. То напряжение, которое питало поэта, как бы снимается. По-ви-

димому, поэзия существует, главным образом, в каких-то все-таки экстремальных условиях. Поэтому на Западе очень трудно писать стихи. В общем, для многих происходящее оказалось настолько неожиданным, что они очутились в шоковом состоянии. Миронов замкнулся, перестал общаться. Единственно, что он делает, читает газеты и смотрит телевизор. Стратановский говорит, что он не понимает своих стихов семидесятых годов. То есть в новые времена – нужен новый язык, старый – перестает работать. Но наш опыт все-таки очень важен. Это опыт существования культуры в тяжелой экологической обстановке, выживания культуры в крайних условиях. Мы не привыкли к свободе.

Кто-то сказал: "Свободе и демократии надо учиться".

Особенно поэтам, которые волей обстоятельств оказались буквально изолированными от читателя. Отсюда двойственное сознание: с одной стороны, собственной загнанности, с другой – собственного превосходства. Сейчас же это разрушается, тот мир, который был, гибнет прямо на глазах.

Я думаю, что подлинное все же устоит.

Приходится как-то меняться, ломка какая-то идет. Хотя, если говорить о себе, например, если говорить о Лене Шварц, то наша аудитория пока только увеличивается. Теперь я читаю на уличных митингах, чего раньше не бывало, на каких-то мероприятиях, скажем, экологического характера. Кому не повезло, так это поэтам "третьей волны", которые сформировались в начале семидесятых годов. Я имею в виду Владимира Эрля, классического абсурдиста, вокруг которого сложилась целая школа. К ней, кстати, принадлежал и Миронов. К этому же поколению относится Борис Куприянов, один из наиболее талантливых поэтов этой генерации. Сейчас появляется новое поколение, которое совсем неизвестно. Среди них есть талантливые люди, к примеру, Василий Филиппов, поэт, по-моему, замечательный. Это, если угодно, арт-брют, искусство сумасшедших, но доведенное до высочайшей тонкости. Филиппов совершенно сумасшедший человек, который не выходит из психушек. Он живет в полуфантстическом мире, но дело в том, что этот мир он накладывает на мир газет, и тексты получаются поразительные.

К сожалению, вы совсем немного сказали о себе. Над чем вы сейчас работаете? Когда-то пародист Архангельский писал: "Читатель трезв, но пьян поэт, и перекочевал на прозу". Не начинаете ли и вы писать прозу?

У меня был период, когда я обратился к прозе, даже написал роман "Шмон", но теперь для меня главное – стихи. Хотя я пишу и много статей о литературе. У меня такое ощущение, что пока не появится русская эссеистика, поэзия не сможет пережить новое возрождение. Сейчас очень важно не только писать стихи, но и говорить о стихах. Вот я и пишу довольно много статей, эссе, работ, которые связаны с попыткой осмыслить, что произошло и

происходит в литературе. Наступило время понять, что мы все-таки сделали. Тынянов в 1921 или 1922 году сказал, что пришла пора, когда говорить о стихах стало труднее, чем писать стихи. Для того, чтобы снова можно было писать о стихах, нужно уничтожить это затруднение.

Сейчас примерно такая же ситуация.

Париж, декабрь 1988 года

«БЕЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ БОРЬБЫ ЛИТЕРАТУРА НЕ РАЗВИВАЕТСЯ»

Беседа с Натальей Ивановой

В феврале прошлого года, когда открылся Литературный русский центр "Стрелец" в Париже, тема "Литературный процесс в метрополии в период перестройки и гласности" стала в ходе дискуссий одной из основных. На эту тему выступали и западные специалисты и писатели-эмигранты. Но это все люди, которые смотрят на процесс снаружи. Мне очень бы хотелось услышать от вас, участника этого процесса, что здесь происходит, тем более, что, судя по советской прессе, которую я регулярно читаю, в метрополии сложилась примерно та же ситуация, что была в период хрущевской оттепели, только с переменной некоторых важных акцентов.

Действительно, получается так, что какое-то сходство между шестидесятыми годами и периодом, который мы переживаем се-

годня, есть. И я сама сейчас работаю над книгой, подзаголовок которой "От шестидесятых к восьмидесятым". Эта книга о теперешнем литературном процессе. Почему именно такой подзаголовок я выбрала? Потому что существуют определенные черты сходства в либерализации шестидесятых годов /под шестидесятыми годами я понимаю время, начавшееся с 1956 года, естественно/и нынешним днем. Но, как мне кажется, процесс сейчас пошел вглубь и очень сильно вглубь. И, публикуя теперь, скажем, какие-то произведения, мы понимаем, что во время хрущевской оттепели они не могли увидеть свет – и не смогли, как мы знаем. К примеру, "Доктор Живаго", чья трагическая судьба пришлась именно на эпоху хрущевской оттепели, "Жизнь и судьба Гроссмана", роман, тоже столько претерпевший в те времена, роман Бека "Новое назначение"... вот хотя бы три примера... Да, и четвертый, и пятый я могу вам привести – роман Рыбакова "Дети Арбата", первая треть которого тоже была создана в шестидесятые годы, роман Трифонова "Исчезновение", увидевший свет только в 1987 году, а созданный в конце шестидесятых. Поэтому, говорить о том, что сегодня есть какая-то аналогия шестидесятым годам, конечно, можно, но, повторяю, теперь процесс пошел гораздо глубже. Что касается журналов, то сейчас и "Октябрь", и "Нева", и "Огонек", и "Знамя" и "Новый мир" и "Юность" и "Московские новости" делают, хоть в чем-то и по-разному, но, тем не менее, общее дело. Сегодня, об исторических процессах, о сталинизме, мы думаем, по-моему, гораздо интереснее, чем то, что нам могли предложить историки и литераторы шестидесятых годов. И сравнивая тот и этот периоды, я считаю, что в отличие от того, который был довольно быстро свернут, в этот период, наша новая литературная гласность стала процессом во многом необратимом. Процесс этот вышел из-под контроля. Сейчас свобод у издательств, у журналов, у газет намного больше.

Не надо, по-моему, забывать и о том, что сейчас стали печатать произведения, написанные в эмиграции.

Это тоже очень важный процесс. Должна сказать, что в шестидесятые годы, это тоже начиналось, но печатали только тех эмигрантов, которые уже умерли. А особой меткой 1988 года, литературной меткой, литературным знаком этого года, я считаю именно публикацию писателей из эмиграции, причем не только мертвых, с них у нас опять все началось, скажем с Набокова или Ходасевича, но и живых. Сейчас печатаются произведения и Войновича, и Бродского, и Владимова, и Кублановского, в журнале "Вопросы литературы" выступает Ефим Эткинд, Андрей Синявский и Мария Розанова дают интервью "Московским новостям". Насколько я знаю, произведения Синявского рассматриваются в редакциях нескольких журналов. Это процесс, на мой взгляд, абсолютно здоровый, и я сама приложила много усилий для того, чтобы эти публикации у нас имели место. Я полагаю, что лучшее из того, что создано на русском языке, должно быть доступно русскому, советскому читателю.

У меня создается впечатление, и я говорил об этом года два назад, когда мы беседовали в Нью-Йорке

с Беллой Ахмадулиной, что процесс этот почему-то не задел авторов, живущих в Москве и Ленинграде, тех авторов, которые в недавнем прошлом считались неофициальными. Вот только что впервые напечатали Генриха Сапгира...

У меня тоже лежат его стихи. И мы тоже собираемся его печатать у нас, в "Дружбе народов". Вопрос с Сапгиром сложен отнюдь не по политическим мотивам. Дело в том, что во время стагнации, но и намного раньше, во время торжества моноидеологии, суживался и эстетический кругозор. Эстетические взгляды редакторов даже очень либеральных журналов довольно узки. Для них сапгировская поэзия есть нечто противопоказанное по мотивам чисто художественным. Я с этим сталкивалась много раз. Напечатали мы в прошлом году большую подборку Айги. Мы были первые, кто напечатал Айги после пятнадцати лет его молчания на родине. Он очень необычный поэт. Для традиционной, скажем, поэтики, он — нарушитель спокойствия. Понимаете, структуралисты считают, что существуют два типа культуры: холодная и горячая. Холодная культура эта та, которая репродуцирует уже найденную, канонизированную, что ли, культуру. Мы развивались и во многом продолжаем развиваться в рамках канонизированной культуры. А горячая культура это та, которая все время создает какие-то открытия, все время приносит новации... И напечатать произведения, написанные в этом ключе, донести их до читателя, объяснить их, очень сложно.

Кроме Сапгира, есть и другие поэты, к примеру, Елена Шварц в Ленинграде. Или ее земляки — Виктор Кривулин, Олег Охупкин и многие другие...

У нас очень мало журналов. В период хрущевской оттепели было создано около десятка новых литературно-художественных журналов. Сегодня же, несмотря на все прогрессивные явления, новые журналы практически не создаются. У нас, в "Дружбе народов" столкнулось огромное количество публикаций: "из письменных столов", из большого потока произведений из эмиграции, как ушедших уже писателей, так и живых, и, условно говоря, наших молодых... Нет, просто необходимы новые журналы!

А чем объясняется, что их не открывают — сложностью с бумагой или отсутствием разрешения сверху?

Этого я не знаю. Сложность с бумагой?... Наши издания приносят очень большой доход государству. Я думаю, что если бы сегодня открыли, скажем, пять новых журналов в Москве, то они тоже стали бы приносить большой доход. Поэтому проблем с бумагой не было б, можно было бы какую-то часть денег тратить на приобретение бумаги. Мне кажется, что просто существует еще какая-то боязнь. Кооперативные журналы нужны, а только что принято решение, что кооперативных издательств у нас не будет.

Чем объяснить такое странное для периода гласности решение?

Для меня оно необъяснимо. Я затрудняюсь ответить на это вопрос, так как считаю, что это просто необходимо для развития свободной художественной, ну скажем, конкуренции в стране. К

примеру, откроется кооперативный журнал, что тут страшного? В конце концов, если он не выдержит конкуренции, то прогорит. Но если он открывает какие-то новые направления в художественной жизни, дай ему Бог. Я-то как раз целиком и полностью за кооперативные журналы и не один раз об этом писала. Мне решение против кооперативных издательств кажется недалевидным. Я думаю, что все равно мы к этому придем.

Сейчас идут переговоры о том, чтобы "Стрелец" распространялся и в метрополии. Может быть, можно всех прозаиков и поэтов, чьи произведения эстетически неприемлются здесь, публиковать сначала в "Стрельце".

Это хорошая мысль, очень хорошая. Но среди этих писателей тоже есть люди очень неравноценные. К ним тоже надо относить "гамбургский счет". Есть поэзия, а есть имитация поэзии, есть литература, а есть имитация литературы.

В первом номере альманаха "Стрелец" опубликовано интересное эссе Бориса Тираспольского о "Гамбургском счете"...

Я прочитала вчера. Да, эссе интересное и, главное, что оно затрагивает как бы и наши здешние проблемы, то, что происходит сегодня здесь. Ведь изнутри ситуации очень трудно определить "гамбургский счет", как таковой. Это очень хорошо, если журнал "Стрелец" начнет издаваться и для Советского Союза и для зарубежного читателя. Я сторонник того, чтобы и журнал "Синтаксис" продавался здесь тоже. По-моему, процесс культурной интеграции не должен идти в одну сторону: то есть мы печатаем эмигрантов — и все. Интеграция должна быть взаимной. То, что мои статьи напечатаны и "Синтаксис", и "Стрелец", с точки зрения этого процесса, дело хорошее. И если этот процесс будет продолжаться и какие-то, назовем их неофициальными, московские и ленинградские авторы увидят свет в "Стрельце", а потом перейдут в наши журналы, это будет ко благу развития отечественной литературы. Но, конечно, неизбежен и отсев. Выживать будут самые сильные, будет идти естественный отбор.

Хотелось бы услышать вашу оценку словосочетания "литературная война", которое ввел в обиход Юрий Бондарев. Как вы считаете, из-за чего сражаются противоборствующие силы в нашей литературе?

Я всегда была сторонником литературной борьбы, так как, по-моему, без литературной борьбы литература не развивается. Как мы знаем из истории литературы XIX века, в то время происходили очень сильные схватки между западниками и славянофилами, между почвенниками и либералами... Сегодня у нас тоже как бы идет серьезная литературная борьба, но дело в том, что в этой литературной борьбе, как мне кажется, одна сторона занята действительно проблемами развития литературы, а другая — озабочена тем, что у нее уходит почва из-под ног, сокращается возможность публикаций. Я вам уже перечислила журналы, которые принципиально не будут публиковать плохую литературу, кто бы ее не написал. Поэтому на самом деле, со стороны, скажем, "Молодой гвардии" идет откровенная борьба не за идейные ценности, хотя

прикрываются часто "гвардейские" критики словами о идейных ценностях социализма, а за жизненное пространство. Кроме того, если судить по большому счету, это война и за наше будущее. Либо победит догматическое изоляционистское направление развития страны, и тогда страна обречена, как я считаю, на очень и очень глубокий кризис, и я не представляю каким путем она из него выйдет, либо страна будет развиваться нормальным путем, который исповедует сейчас большая часть интеллигенции. И теперь под видом литературной критики, конечно, во многом идет борьба политическая. Борьбы эстетических направлений теперь нет, потому что смешно говорить об эстетическом направлении журнала "Молодая гвардия" или прозы и поэзии сегодняшнего "Нашего современника", в прошлом славного своей прозой, скажем Распутина или Астафьева. Ныне там литературы, как таковой, нет, а в отделе критики ведется не литературная борьба, а делается попытка скомпрометировать авторов другого направления, попытки копаться в прошлом того или другого автора. Меня, например, спросили в редакции после публикации одной из таких статей: "А незаконорожденных детей у тебя, Наташа, нет?". Получается, что их волнуют не литературные проблемы, а нечто иное, они все время пытаются бросить тень на Трифонова, на Рыбакова, на Бека, на Гроссмана... Разбор романа "Жизнь и судьба" на страницах журнала "Наш современник" проходит только с точки зрения национальной: почему, например, Гроссман не пишет о страданиях русского народа, а пишет только о страданиях народа еврейского? Произведения передеформируются для того, чтобы скомпрометировать автора, цитаты вырываются и komponуются так, как это в традициях критикам противоположной стороны. Поэтому на страницах журналов этого направления идет не литературная борьба, а война против определенных людей, которые пытаются осуществить те или иные перемены в литературно-критической жизни.

И как вы заметили, тут личные интересы часто преобладают над интересами литературы.

Безусловно. Если, скажем, журнал "Наш современник" так радеет о русской культуре, то почему же он не напечатал ни Набокова, ни Гумилева, ни Ахматову, ни последние произведения Твардовского? Почему их возвращают русскому читателю те журналы, которые объявляются органами быстрого реагирования, журналы на которые навешиваются всяческие оскорбительные ярлыки?! Почему, грубо говоря, именно левое, либеральное направление вернуло их в русскую культуру? Почему именно эти журналы занимаются возвращением сюда и лучшего, что создано в эмиграции? Почему это не делает "Наш современник", который должен был бы протянуть руку как бы уж на национальной почве этим авторам? Нет, с их стороны это борьба не за литературу?...

Когда речь идет об этой борьбе, то мне понятны, например, помыслы, которые заставляют разных бездарных авторов участвовать в "литературной войне" на стороне "Нашего современника" и "Молодой гвардии", писать такие статьи-доносы, обращенные, практически, к начальству с тем, чтобы оно обрушило свой гнев

на либеральные журналы. Но меня удивляет, что в их лагере оказались талантливые, известные, не нуждающиеся ни в какой начальственной поддержке авторы, такие, как Распутин и Астафьев. Особенно Распутин. Зачем ему принимать участие в этой войне на стороне черносотенных, даже просталинистских изданий?

Это вопрос очень сложный. И если я могу сказать о просталинистском направлении журнала "Молодая гвардия", то "Наш современник" называть просталинистским я бы не стала, потому что там идет критика сталинизма. Но в то же время там считают, что в сталинизме виноват не столько Сталин, сколько те, кто его окружал и подталкивал. Идет какая-то странная игра вокруг этой фигуры. А отвечая прямо на ваш вопрос, я скажу так: мне кажется, что Распутин пережил серьезный, чисто художественный, кризис. Следы этого кризиса я находила уже в его рассказах 1982-83 годов, в его повести "Пожар". После создания замечательных произведений — "Прощание с матерой", "Живи и помни", "Последний срок" — у Распутина, по-моему, в определенной степени исчерпался тот опыт, о котором он хотел поведать городу и миру. И, как я себе представляю, его развитие после кризиса могло пойти двумя путями — либо он двинулся бы вглубь ситуации и стал бы действительно всерьез заниматься и писать, скажем, о трагедии коллективизации, а он ведь и впрямь писатель, который озабочен судьбами русского крестьянства, и я понимаю, что все, что он делает, он делает искренне, как талантливый человек, либо пошел бы по какому-то внешнему пути, по пути поисков виновных в трагедии народа где-то на стороне. К сожалению, и Распутин и Астафьев не пошли вглубь. Вместо того, чтобы обратиться к корням происшедшего они как раз стали искать, а это легче всего, виновных на стороне. Распутин, я читала его выступления, начал утверждать, что во всем виноваты какие-то чужеродные силы, начал употреблять выражения "бездородность", "великодержавный космополитизм" (это говоря о Сталине и его окружении), то есть он полагает, что во всем виноваты инородцы. Легче всего, повторяю, думать именно так, считать, что в твоих бедах виноват кто-то другой. Отсутствие национальной самокритики, я думаю, и толкнуло Распутина в лагерь тех, кого мы называем национал-радикалистами. Это национал-радикалистское крыло втянуло в себя замечательных в прошлом художников — Белова, Распутина, в какой-то степени и Астафьева, хотя я считаю, что Астафьев более свободная личность, чем двое предыдущих. Очень жаль, что сегодня в литературе отсутствует Федор Абрамов. Убеждена в том, что он бы противостоял этому и не дал бы себя ассимилировать национал-радикалистскому течению.

И в метрополии, и в эмиграции мне приходилось присутствовать при многих спорах о романе Анатолия Рыбакова "Дети Арбата" и выслушивать зачастую весьма недоброжелательные мнения об этом произведении, а порой и этакие снисходительные: дескать, это беллетристика, средней руки чтиво... На мой же взгляд, "Дети Арбата" не заслуживают столь суровой оценки. Конеч-

но, с точки зрения стиля, это, в общем, произведение не выдающееся, но много ли выдающихся произведений создается в наши дни... В то же время роман Рыбакова поднимает вопросы прошлого страны и общества. Это, собственно, первый роман о Сталине и сталинщине, который имеют возможность читать миллионы. Ведь Солженицын, увы, доступен лишь узким кругам, да и то в основном в Москве и Ленинграде. А как вы оцениваете роман Рыбакова?

Ну, я писала о нем в журнале "Вопросы литературы" в ряду других произведений, которые вышли в свет в это же время, в ряду Дудинцева и Трифонова. Я считаю, что публикация этого романа сыграла огромную роль в развитии самосознания общества. Этот роман очень многим открыл глаза на то, что происходило у нас в тридцатые годы. Конечно, "Дети Арбата" вещь традиционная, написанная по определенным канонам нашей литературы, но не думаю, что в романе есть то, в чем его обвиняют: излишняя легковесность, беллетризованность... У нас его некоторые критики сравнивали даже с Пиккулем. Подобного рода оскорбления слышали многие. В свое время Трифонова уподобили пасквилянту Шевцову, известному своим романом "Тля". Оскорбить писателя снисходительным отношением или разговорами о том, что его вещь антихудожественная или малохудожественная, пользуясь термином Зошенко, легче всего, труднее понять художественную специфику произведения. В "Детях Арбата" за внешне яркосюжетным повествованием, в чем-то следующим, как я уже сказала, канонам советского романа, кроется очень серьезный и очень глубокий анализ личности Сталина. Подобного рода анализа в нашей литературе до сих пор не было. Прежние попытки в этом направлении бывали, как правило, завуалированы, как скажем, в произведениях Трифонова. Насколько я знаю, Трифонов мечтал написать роман о Сталине, но не успел. Рыбаков же успел и в его романе Сталин является главным действующим лицом. По крайней мере, Рыбаков снял со Сталина табу, табу с него, как с исторической фигуры, которая не может быть главным героем литературного произведения. Самое важное — писатель демифологизировал эту фигуру. Может быть, в чем-то с ним можно согласиться, в чем-то нельзя, но он раскрыл ее психологию. Он не только рассказал об ужасах времени, о тех процессах, которые были инспирированы Сталиным, но и о том, как принимались те или иные решения. Для миллионов людей Сталин из памятника, который существовал в их сознании, в независимости от того с белой или черной окраской, стал реальным живым лицом, был снят с пьедестала. Сталин пришел к читателю таким, каким он был на самом деле даже в чисто физическом плане. И я считаю, что эффект этого присутствия незаменим ничем, тем более, что наши официальные историки к этому моменту оказались, собственно говоря, с пустыми руками. Наша официальная историография ничего нам предложить не смогла. А вот Рыбаков предложил свое прочтение Сталина. Что касается оценки романа с художественной точки зрения, то, как и вы, я считаю, что это произведение стоит в од-

ном ряду с произведениями, которые приходят к нам сегодня. Оно ничем не хуже этих произведений, а если сравнивать роман Рыбакова с романом Дудинцева "Белые одежды", например, то, по моему, Рыбаков гораздо интереснее с чисто художественной стороны, так как роман Дудинцева произведение вялое, размытое, что ли. Конечно, нам из 1989 года многое уже может видаться гораздо глубже. Но это не моя и не моих товарищей заслуга, это заслуга всего общества. И Рыбаков в этом прозрении сыграл очень большую роль, в том числе и в прозрении тех, кто сегодня пошел намного дальше, чем он.

В заключение несколько слов о критике. На мой взгляд, и не только на мой, в эмиграции профессиональной критики, практически, не существует. И почему бы при такой ситуации критикам, живущим в метрополии, не высказываться, к примеру, в "Стрельце" о творчестве тех писателей, о которых, к сожалению, в советских журналах писать еще нельзя. Вчера вы мне говорили, что на нью-йоркской Международной конференции, посвященной А.И. Солженицыну и его творчеству, серьезного анализа произведений не было. Тут, как говорится, и взяты бы за дело критикам и литературоведам из метрополии

Я думаю, что это вполне возможно, но пока Солженицына у нас не печатают, большинство критиков лишено возможности знать его творчество в полном объеме. Полное представление о творческой индивидуальности Солженицына у нас мало кто имеет. А что мы знаем о творческом развитии Аксенова, о книгах Максимова?... Отсутствие информации сказывается плохо на нашем восприятии эмигрантской литературы в целом. На встрече в Дании Василий Аксенов сделал весьма любопытный доклад о развитии эмигрантского романа, но мы не могли с ним вступить ни в какую дискуссию. Я не имею в виду дискуссию с целью опровергнуть его, нет, в дискуссию плодотворную, потому что он говорил о том, что меня как раз очень интересует, о поэтике. Но как же дискутировать, если мы не знаем текстов?!

Москва, январь 1989 г.

«МНЕ ЭТА ЗЕМЛЯ ОЧЕНЬ ДОРОГА

Беседа с Генрихом Сапгиром

Когда на Западе говорят о Лионовской группе, то имеют в виду лишь художников. А ведь Лионовская группа это отнюдь не только живописцы, но и поэты, ибо патриарх Лионовской группы, Евгений Леонидович Кропивницкий, был поэтом и художником, и наставником молодых, порою совсем юных поэтов и живописцев. История Лионовской группы – часть истории современной русской культуры и мне бы хотелось подробнее поговорить о том времени.

Наша беседа происходит через день после того, как мы отпраздновали, отметили десятилетие со дня смерти нашего учителя. Когда я сказал отпраздновали, то не оговорился, потому что вчера на вечере памяти учителя, у его сына Льва Кропивницкого, я увидел большие фотографии Евгения Леонидовича и понял, что он не ушел, он – с нами. Был стол, как обычно произносили тосты, пили за всех, а я, немножко опоздавший, сел и стал смотреть на фотографии, которые вывесил Лев. Вот Евгений Леонидович на фоне своих абстрактных картин. Вот с одной стороны от него совершенно молодой Лимонов с темной шевелюрой и его Леночка Щапова, оба счастливые... Это вообще было какое-то счастливое время. Этот человек, учитель, которого любили, и видно, что они приехали сюда именно потому, что любят друг друга и его, Евгения Леонидовича, который как-то удивительно нес всегда с собой свет и тепло и какую-то надежду, хоть все это и было несомненно

сдобрено хорошей порцией скепсиса. На одном из вчерашних портретов он иронически улыбался и мне казалось, что он хочет мне что-то сказать. Я не мог уйти от его взгляда и подумал, что, может быть, с каких-то позиций, человеческих, что ли, осталась память о нем, остались мы, остались его картины, стихи, рисунки... Но думалось и по-другому... Все мои сентенции вольного плана сводятся к тому, что у меня есть ощущение, что душа эта жива до сих пор – в картинах, рисунках, изречениях, фотографиях, в наших воспоминаниях. Наверное, какая-то эманация существует... А что касается твоего вопроса о поэтах Лионозовской группы, то ты прав – всегда почему-то говорят о художниках-лионозовцах, хотя все начиналось с поэтов. Да и сам Евгений Леонидович считал себя прежде всего поэтом, это известно. Я был ему завещен Арсением Анненковым, переводчиком Петрарки, который умер во время войны. Помню, как я пришел в Дом эстетического воспитания. так он кажется назывался. Так вот. в 1944 году, приехав в Москву, я оказался совершенно один. Все мои мужчины были на фронте, а мама – в эвакуации. Сначала я просто умирал от голода, а потом сообразил и пошел в этот Дом эстетического воспитания. Пришел и узнал, что Анненков, у которого я занимался там прежде, умер. Но меня встретил удивительный человек, который сказал, что знает меня, что меня ему завещал Анненков. Это был Евгений Леонидович. Я как-то сразу испытал к нему доверие, и, зная, так сразу и понял – мне тогда было четырнадцать лет – что завещан ему. Евгений Леонидович, в Доме эстетического воспитания был руководителем художественной студии, где я впервые увидел Оскара Рабина. Как сейчас вижу Оскара и мне кажется, что с той поры он нисколько не изменился. Он сидел и писал маслом картину, точнее что-то на васнецовскую тему, где рыцарь стоит перед камнем, а перед ним три дороги. И мне это как-то символически запомнилось. Оскар, пишущий рыцаря. Такое задание было – сказку изобразить, и он изобразил рыцаря, стоящего с опущенным копьём перед камнем, на котором написано: По этой дороге поедешь – голову не сносить, по этой дороге поедешь – коня потеряешь, по этой дороге поедешь – счастье найдешь. Это почему-то врезалось в память на всю жизнь. И я считаю, что тот день нечто вроде точки отсчета, такой неофициальной точки, откуда Лионозовская школа началась. Ну, не началась еще, но это было тем, что ее предворяло. Позже Евгений Леонидович вел и художников и поэтов. Сначала была только студия живописи, а потом мы решили организовать и поэтическую студию. Она существовала два года и туда ездило много разных людей. Когда эта студия закрылась, то мы, ученики, продолжали ездить к Евгению Леонидовичу в Долгопрудную, где он жил в двухэтажном бараке. Когда Оскар женился на его дочери Вале, то они стали жить неподалеку, в Лионозово, и много позже туда начала ездить вся Москва во главе с Эренбургом, которого пригласил в Лионозово Борис Слуцкий. Но эти годы ты, наверное, помнишь, а я тебе рассказываю о совсем-совсем далеком времени, когда еще не кончилась война. В те годы проходило мое обучение у Евгения Леонидовича, и оно было своего рода академическим, да, я

прошел целую академию, но академию платоновскую, то есть не какую-то Высшую техническую или художественную, а единственную, с моей точки зрения, настоящую. Я приезжал в Долгопрудную к Евгению Леонидовичу, мы ели что было, что Бог послал, а то и крапивные щи. Пили? Пили, потом научились пить, пили водку, если было на что ее купить, а если нет, то просто чай. Потом Евгений Леонидович собирался на этюды. Мы брали с собой томик Блока или Пастернака, или Хлебникова, или Тютчева и шли в парк. Он нес этюдник, я – мольберт и томик. В парке он писал этюды, и мы разговаривали о жизни, читали и обсуждали стихи. Конечно, он больше говорил, а я слушал. Когда-то Платон, гуляя по парку, говорил со своими учениками. Так вот и мы гуляли по парку, который ты, конечно, помнишь, и я проходил науку. И я счастлив, что учился в такой академии!

Кого еще из поэтов можно причислить к Лионовской школе?

Когда нам было по 16-17 лет, то есть в самом начале, приходила в группу способная Мила Ермакова, позже появилась Галя Еремеева, теперь, по мужу, Галина Корнилова. По-моему, сейчас она пишет прозу, печатается. И еще был целый ряд людей, в том числе и графоманы. Но даже к ним Евгений Леонидович относился без всякого раздражения, очень терпеливо. Это все – преддверие Лионовской группы. Это была художественно-поэтическая группа совсем еще молодых ребят и девочек. Много позднее там появились Игорь Холин и Сева Некрасов, еще позднее – Эдик Лимонов. А наряду с нами, поэтами, с середины, пятидесятых годов, здесь были и художники – Немухин, Вечтомов, Мастеркова и, конечно, с самого начала Рабин. И нам, таким разным, Евгений Леонидович умел дать необходимое. Он был учителем, учителем по призванию. Свешников о нем говорил: "Ну, Евгений Леонидович, это же последний из великих". И ему трудно возразить. Мне лично Евгений Леонидович дал очень многое. Когда мне было пятнадцать лет, я услышал от него четыре слова, которые определили все мое творчество, конечно, в духовном плане, а не формальном. Он сказал: "Жизнь – бред, мир – балаган". Никогда прежде я такого не слышал, и это меня потрясло, потому что за этим стояла огромная глубина. Его влияние на всех поэтов, да и художников, по-моему, и было в первую очередь влиянием духовным.

Когда говорят о твоём раннем творчестве, часто вспоминают барачные стихи. Где они?

Барачных стихов у меня не было, они были у Холина, причем, в написании этих стихов я участвовал как болельщик. Ведь мы были друзьями, мы проводили вместе дни и ночи, бродили по Москве, говорили о поэзии и искусстве. Уже тогда я знал, что надо писать не то, что нам преподносилось, а то, что было правдой. И я считаю, что этому научил меня Евгений Леонидович, как и тому, что когда пишешь нужно не со своей колокольни смотреть, а изображать все с некоторой долей объективности, как бы пряча свою личность и свои выводы за той картиной, которую изображаешь. Игорь Холин стал первым писать такие вещи, что меня очень обрадовало. А я тогда совсем другие вещи писал –

мистические, эротические, романтические. Вообще, большая доля романтики во мне была и есть. Но я уже знал — как нужно работать. И однажды, в 1959-ом году, со мной случилось чудо, я четыре раза повторил одну строчку: "Вот там убили человека, вот там убили человека, вот там убили человека, внизу убили человека". И это было как новое рождение, потому что я услышал тот мир, который слышал Евгений Леонидович, который услышал вслед за ним Холин. Каждый по-своему услышал этот мир. Повторяю, что тогда произошло мое второе рождение.

С тех пор прошло тридцать лет, за это время ты написал много книг, которые хотя и не издавались, но являлись именно книгами. Ты не можешь немного о них рассказать?

Первая книга — "Голоса". Вторая — "Молчание". Это естественно, потому что, когда слышишь много голосов, хочется их выключить, отключиться и подумать о более вечных вещах. В этой книге, написанной в 1963-ем году, есть и космос и первые христиане, и, вообще, все, что потом развилось, вплоть до моих самых-самых последних стихов. Я как бы видел и слышал это молчание. Я тогда открыл для себя силу пустоты, наполненность пустоты, стал делать интервалы. Ты слышал недавно стихи из книги "Дети в саду", они, как ни странно, тоже оттуда выскочили. Иными словами, я знаю, что человек от себя генетического уйти не в состоянии. Один поет всю жизнь одну песню, другой — много разных. Но если он по-настоящему их делает, во всех присутствует что-то единое, как будто в него заложен какой-то генетический код. После "Молчания", в 1966-67-ом годах, я написал две книги — "Псалмы" и "Люстихи"(любовные стихи), где опять есть тема паузы, тема пустоты. Эта тема оказалась для меня крайне важной, потому что, так мне кажется, я говорю о духовном и телесном, а там, где дух, там всего не высказать — и тогда пауза, пустота, пробел, которые играют роль дополнения некоторого, наполняющегося смыслом, может быть, ирреальным... После этого, у меня была написана книга "Элегии". Это уже другие вещи, полифонические... То есть, начиная с 1958-го года, я стал ставить перед собой формально-духовные задачи. И вот в 1967-70 годах я пришел к полифонии. В начале семидесятых были написаны "Московские мифы", а в середине семидесятых "Сонеты на рубашках", книга, которую ты издал в Париже, затем — "Катрены". Это мой неоклассический период. Закончился он поэмой. В ней — опять пустоты, опять заполнение пауз, опять игра, чем дальше, тем больше. Знаешь, я как-то понял, что поэзия — это божественная игра, что я прикасаюсь к чему-то, что за пределами человеческого. Если сказать по-другому, то социальная острота моих стихов, которая всегда была и остается, сочетается с чем-то запредельным. Иными словами, варясь в социальном котле человечества, все, но больше всего русские, мы, опять же русские, особенно остро чувствуем, что есть нечто извне, что почему-то нам не дано. И мы все время тянемся к исчезающему концу плащаницы, которую хочется ухватить в этом сине-голубом воздухе. И если даже

ухватить не удастся, все равно это движение вверх. Я думаю, что у каждого подлинного русского поэта это есть: сочетание социального со стремлением к запредельному. Тут, мне кажется, я встаю в строй со всеми...

В строй с кем?

С русскими поэтами, естественно.

А кто тебе из них наиболее близок?

Трудно сказать... Я знаю, кого я люблю сегодня, кого любил вчера, кого — позавчера. Серебряный век, при всем моем восхищении им, от меня наиболее далек, а Пушкин — Тютчев — Хлебников, глубинность их, мне гораздо ближе. Я бы даже не с Пушкина начал, а с Державина. Державин еще ближе. А в Серебряном веке были, конечно, прекрасные поэты, я понимаю их, и, повторяю, восхищаюсь ими, я же еще и читатель, но этот век от меня, как поэта, дальше. Ближе более, скажем так, варварские поэты — Хлебников, Крученых, Державин... Пушкин же — не всегда. Но Пушкин — играющий, Пушкин, которого понимал Набоков, этот Пушкин — всегда. Недаром Набоков — это тоже не Серебряный век. Набоков — живой. А поэты Серебряного века как бы офортные. Они — это что-то прекрасное, но холодное. Мне ближе иная традиция. Традиция скоморошья, живая традиция русского языка. Ведь были и скоморошья песни, они сохранились... Это, ощущение живого русского языка было и у обэриутов. Но тут не надо путать, это я уже о себе, обэриуты, как, предположим, и я, взяли у Хлебникова сдвиг, сдвигологию, которую он открыл. Однако они строили свою реальность, для меня существует совсем другая. И сдвиг у меня употреблен совсем в другом качестве и для другого. И вот тут, как это ни странно, я назову капитана Лебядкина. Он у Достоевского современнее обэриутов, так как обэриуты — литературны, а капитан Лебядкин — нет.

Над чем ты работаешь сейчас?

В прошлом году я написал книгу "Дети в саду". Дети — это нечто символическое, человеческий разум, а сад, то есть блики, тени, ветры, посвисты птиц, то, что выплывает, уходит, проплывает, пробегает перед глазами, это — вселенная, жизнь, бытие. Для меня это очень важная книга, ибо в ней мой метод, метод, по которому я давно работаю, проявился в чистом виде. При всем моем уважении к Хлебникову, должен сказать, что это метод антихлебниковский. Хлебников идет от слова, он развивает славянские корни и из этих корней вырастает дерево поэзии. Я иду по иному пути. Я знаю, что язык в мозгу человека как бы отпечатывается на определенных клише. И если в этой определенной системе одно слово будет целым, то другое может быть любой половинкой, а от третьего слова отпечатается просто писк, звук, а от четвертого ничего не останется, а пятое превратится в приставку или суффикс. И мозг воссоздает это, потому что язык хранит в себе миллионы комбинаций слов, которые вот так зафиксированы. Но отсюда получается новая гармония, получают пустоты, паузы. И вот я оперировал со словами, половинками слов... То есть я могу растерзать слово и собрать его, я могу прибавить к

слову и отнять от него, если это нужно мне — художнику. Я считаю, что на излете XX века, то есть второго тысячелетия, мы уже, слава Богу, каким-то образом, подошли к третьему тысячелетию, и это странно и страшно, художник, поэт, может пользоваться всем, что создала культура греко-иудейско-христианская. Как поэт я могу употреблять для самовыражения и русский ямб, и греческий гекзаметр, и абстрактное слово и птичий крик...

На недавнем вечере "Стрельца" ты прочитал два стихотворения из книги "Дети в саду"...

На нашем замечательном вечере...

И, знаешь для меня неожиданным, как наверно, и для тебя.

Я видел, что ты был взволнован, но вообще все делал очень правильно и хорошо, между прочим. И меня поразил, я его не знал до сих пор, Феликс Медведев. Он журналист, то есть он ближе нас к жизни, к политике, и он правильно сказал: "Вы не представляете, на каком вечере присутствуете, вы еще потом вспомните это". Я тоже скажу, что этот вечер совершенно удивительная вещь, но в России всегда случаются удивительные вещи, мы к ним привыкли. Но этот вечер все же ... Я себе никогда не мог представить, что такое произойдет. Если ты спросишь кого-нибудь еще, то услышишь то же самое. И ты, наверно, какое-то время назад не думал, что будешь сидеть с московскими и ленинградскими поэтами и писателями, что мы будем сидеть вместе, в самом центре Москвы, в Доме медработника, очень достойном доме, имеющем хорошую репутацию. Это было — событие. И у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что целый ряд кругов и кружочков и учреждений многое бы дали, чтобы этого вечера не произошло. Но, увы, видимо сила у них уже не та, потому, что у нас в России опять революция, сверху революция, и они только могут сопротивляться. Они могут укусить, они могут ужалить. Я думаю, что все могло бы случиться и на этом вечере, поскольку, как ты знаешь, приходили люди к директору и настаивали, чтобы он закрыл вечер. На Шоссе Энтузиастов, где в 1967-ом году, произошла первая твоей организованная выставка, директор ничего поделать не мог и выставку закрыли. А сейчас директор Дома медработников вел себя по-другому. "Почему вы устраиваете этот вечер?!" - грозно спросили его. А он спокойно ответил: " Из-за коммерческих соображений. Билет стоил два с половиной рубля, а зал полный". А то, что это нужно для всех нас, для нашей культуры, несомненно. Я, честно говоря, просто не думал, что доживу до этого. И что бы тебе там, в эмиграции, кто-то ни говорил, не сомневайся, ты правильно сделал, что приехал. Я же понимаю, что ты приехал, потому что тебя волнует то же, что и меня, нас всех, кто хочет видеть Россию демократической. Я рад за людей, которым снится Палестина. Но мне снится не Палестина. Мне снятся совсем другие горы и доли. Мне эта земля очень дорога. И я знаю, что я русский человек. А если я не русский, то не русский и Пушкин.

Москва, январь 1989 г.

«Я ПРЕДЛАГАЛА КОМПЛЕКС ИДЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛИБЕРАЛИЗМА»

Беседа с Аллой Латыниной

Когда в эмиграции речь заходит о литературном процессе, то большинство писателей утверждает, что никакого литературного процесса у нас не существует. И те же писатели считают, что литературный процесс, несмотря на все негативные моменты, имеет место в метрополии. Что вы, как литературный критик, думаете о литературном процессе в метрополии, скажем, за последние три года?

Выскажу мысль, которая может показаться еретической. Сейчас у нас много пишется о колоссальном взлете литературы, но, по-моему, никакого взлета нет. Я не могу считать литературным процессом публикации Набокова, Гроссмана и чего-то еще, что у нас напечатано в последнее время. Называть это литературным процессом, на мой взгляд, бессовестно по отношению к тем же, например, Булгакову и Платонову. Публикация всех этих произведений — факт не литературного процесса, а общественно-политической жизни. Собственно же литературный процесс оказался в парадоксальной ситуации. В семидесятих годах существовала некая официозная литература: бондаревы, марковы, сартаковы, которых никто не читал. Эта культура, существовавшая как бы сама по себе. И даже не культура. И все это пре-

красно понимали. И существовала все-таки проза, которая была имманентна себе: тут и сорокалетние, скажем, Маканин, появилась на излете времени Толстая со своей очень яркой прозой, где-то существовала деревенская струя, начиная с Абрамова, Шукшина и кончая Распутиным. За последние же три года в литературе произошло какое-то землетрясение, вроде армянского. Вся эта культура, замешанная на официозе, рухнула. Новых имен у нас за это время не появилось, а все, что имелось в семидесятых, обнаружило свою совершенно роковую исчерпанность. Даже у тех, кто проявился прежде, как подлинный писатель, на первый план выступил эстетический и нравственный конформизм. У этих людей ничего не оказалось в столах, им нечего предъявить. Литература последних трех лет не дала пока что ни одного произведения, о котором можно было бы сказать: вот это явление. Если же писатель достает из стола произведение десятилетней давности, то это не явление литературного процесса, а торжество справедливости. И я думаю, что отсутствие новых имен во многом объясняется тем, что у нас нет журналов. Это опять же парадоксальная мысль, но я со всей ответственностью могу сказать, что у нас нет журналов, которые могли бы представлять действительно текущую литературу, современную прозу. Такая ситуация объясняется тем, что люди, которые заведуют прозой, ориентированы на определенные эстетические образцы, их вкусы сформировались давным-давно, в лучшем случае, в шестидесятые годы, а, может, еще раньше. И, в конечном счете, они ориентированы, да простит меня Господь, на литературу социалистического реализма, ну, может быть, без слова социалистический... Вот, например, проза журнала Твардовского, была, по-моему, самой рутинной по своему эстетическому качеству, но зато она несла определенный нравственный и социальный заряд. То же самое мы видим и в нынешнем "Новом мире". Они хотят публиковать авторов, которые сформировались десятилетиями раньше, но чьи вещи по каким-то причинам не публиковались. Я очень сочувствую, допустим, Рыбакову, с глубоким почтением отношусь к Гроссману, однако хорошо бы, чтоб была и другая литература. Между тем, для нее места на страницах существующих журналов, как правило, нет. Для того, чтобы говорить о свободно развивающемся литературном процессе, должен быть создан еще десяток новых журналов, и каждый со своей эстетической программой. Только тогда все и выскочит наружу. Так что, как видите, я достаточно скептически отношусь к нашему литературному процессу. Журналы у нас находятся на подъеме? Да. Журналистика находится на подъеме? Безусловно. Публицистика находится на подъеме? Вне всякого сомнения. Даже критика – на подъеме. А литература – нет.

До сих пор вы говорили о прозе. Скажите, а в поэзии такая же ситуация?

В поэзии, по-моему, лучше. Дело в том, что она дает большую возможность для общения. Может быть создан клуб поэзии. Поэты могут собираться и читать друг другу стихи. И людям читать. Возникает феномен общения. А прозаике – сложнее. Так или иначе,

но новые поэтические имена появляются, к примеру, Еременко, Паршиков, Жданов... Правда, может быть, есть и поэты, которые не могут пробиться, однако поэтический авангард все-таки существует, хотя место ему в журналах предлагается тоже неадекватное, что-ли, значению новой поэзии.

Тут дело, наверно, и в эстетическом неприятии авангарда и в элементарной нехватке у журналов места.

Ну, места конечно... А в эмиграции, скажем, всем хватает места? Проблема человека, который должен пробиваться, наверно, существует всюду, вне зависимости от количества журналов.

Не могу говорить обо всех эмигрантских журналах, но в "Стрельце" на лицо автора не смотрят, все решает качество.

А у нас в первую очередь смотрят все-таки на лицо автора. Сейчас самое прогрессивное наше издательство "Московский рабочий" проводит интересный конкурс, поразительный для всей нашей литературно-оценочной системы. Со всех рукописей, поступивших в отдел прозы, снимаются имена, и в таком чистеньком виде они посылаются критикам. Результаты первого тура оказались удивительными. Выяснилось, что многие критики совершенно теряются перед незнакомой рукописью. Им обязательно надо знать имя, членство в Союзе, кто и что написал. Лишь после этого они могут оценить, стоит или не стоит печатать рукопись. Поэтому расхождение в оценках было фантастическим. К примеру, я читала рукопись, которая меня очаровала своей раскованностью, свободой. Я ее высоко оценила. Когда мне показали вторую рецензию, я увидела, что критик ничего не понял. Он привык оценивать сюжеты, а там была литературная игра, мастерство...

Что ж, самое время задать вопрос о состоянии критики. В эмиграции это самая большая проблема. У нас существует критика двух типов: комплиментарная и ругательная. Серьезной критики почти нет...

Эта — беда, которую вы принесли в эмиграцию из метрополии. Когда знакомишься с эмигрантскими журналами, то видишь, что в критике происходит примерно то же самое, хотя иногда с обратным знаком, то есть плюсы меняются на минусы или наоборот. Но бедность, так сказать, нашего мышления, в общем, сохраняется. Я считаю, что критика сейчас не в таком плохом состоянии, как, условно говоря, пять лет назад. Но она, конечно, и не в том состоянии, в котором хотелось бы ее видеть. Прежде всего отсутствует эстетический подход. Может быть, сейчас и не его время, потому что критика стала формой идеологической борьбы, сферой нынешней общественной жизни. И неизвестно какие плоды в конечном счете это даст. Хороших, по-моему, ожидать трудно. Год назад я написала статью "Колокольный звон и молитва", которая опубликована в восьмом номере журнала "Новый мир". Мне казалось, что обе стороны, участвующие в идеологической борьбе, могут из нее что-то почерпнуть, что независимое мнение имеет

право на существование. Я предлагала комплекс идей отечественного либерализма, который прекрасно сочетается и с идеями национальной русской культуры, с солженицынскими, скажем, идеями, и с идеями западного либерализма. Потому что либерализм сам по себе — парламент. Диапазон мнений. В ответ я получила, извините, по морде и с той, и с другой стороны, и поняла, что пока что никакого парламента у нас нет. Идея постепенности, широты выбора, терпимости у нас совершенно не работает. И все это имеет прямое отношение к оценке литературы, так как критика оказывается ареной борьбы, и никто уже не пытается, за редким исключением, оценить ту или иную вещь с точки зрения ее эстетической значимости. Так что состояние критики, хотя она и стала гораздо раскованней и свободней, стала самой собой, особых надежд мне все-таки не внушает.

Но, скажите, куда же критикам деться, когда в литературе идет война? Если левые, условно говоря, ее проиграют, то проиграет русская литература вообще, а об эстетике победители уж и вовсе никому говорить не дадут.

Мое глубокое убеждение, что проблема левого и правого существует лишь в демократическом обществе.

Дело не в левых и правых. Я употребил условную терминологию. Назовите это борьбой между реформаторами и консерваторами.

Нет, это — важная терминология, потому что у нас гораздо больше течений общественной мысли, чем левые и правые. На самом деле наиболее радикальные способы предлагает либерализм. Вот левые коммунисты, к примеру, Карякин, Рыбаков, Шатров, барахтаются в бухаринской альтернативе, говорят, что вышла маленькая неувязочка, и сейчас мы очистим идеологию от того да этого, от неверного. Самыми же левыми оказываются те, кто считает необходимым освобождение от идеологии вообще. И они ни с кем не хотят воевать, а хотят постепенности и предлагают, повторяю, комплекс идей отечественного либерализма. Этот путь рвет и с той и с другой традицией. А противостоящие ныне друг другу силы, по-моему, имеют тоталитарное мышление.

Но все же эти две силы качественно абсолютно разные. Может ли критика игнорировать их противостояние?

Это то, что она должна делать, — не принимать участия.

То есть, с вашей точки зрения, критик должен заниматься лишь эстетическими проблемами, не обращая внимания на то, скажем, что неосталинистские силы, а они агрессивно-антиэстетические, если так можно выразиться, могут взять верх?

Ничего подобного. Критик в полной мере имеет право и на свою политическую платформу, но в силу неразвитости наших политических представлений и отсутствия плюрализма мнений у нас складывается ощущение, что существует только две платформы. А их должно быть десять, как и партий. Например, уже сейчас со-

вершено ясно, что журнал "Новый мир" ориентируется на те формы русской культуры, которые никак не связаны с альтернативой сталинизма и антисталинизма. Тут и публикации из истории русской общественной мысли, и то, что ведет Аверинцев, и серия статей, в которых осмысляются истоки тоталитаризма... Это журнал либерально-демократический. А что касается нынешнего противостояния, то за борьбой сталинистов и антисталинистов, в сущности, скрывается противостояние по национальному признаку. Просталинисты, конечно, существуют, но в литературе я не могу обнаружить сейчас ни одного реального.

Я с вами не согласен. Конечно национальный момент в этой борьбе присутствует, но и просталинистские идеи во многих публикациях некоторых московских журналов прослеживаются очень четко, к примеру, в "Молодой гвардии" и "Нашем современнике".

Я всегда различала "Молодую гвардию" и "Наш современник". Для меня это были совершенно разные журналы. "Молодая гвардия" с Анатолием Ивановым – типичный орган национал-большевизма, и я об этом уже не раз говорила. Иванов – это сталинист, застывший в другой эпохе, где-то там в периоде борьбы с космополитизмом. Оттуда у него вся терминология – коммунистическая, большевистская, сталинистская. А "Наш современник" был органом крестьянской оппозиции. Почти все авторы "Нового мира" после его разгрома ушли в "Наш современник" – и Белов, и Распутин, и Шукшин... Но сейчас они стали смыкаться, это для меня – поразительно. Казалось бы, ну, что может быть общего у Белова, который описал трагедию коллективизации, с Анатолием Ивановым, для которого в этой истории все было правильно. Тем не менее, они смыкаются, то есть национал-большевизм смыкается с национализмом. И это страшно!

Согласен – страшно! И вот вы все-таки нашли в литературе сталиниста, да еще редактора толстого журнала и, скажите, как же критику на эту страшную смывку не реагировать?

Не реагировать, конечно, невозможно, однако есть вещи, в которых противно принимать участие, в национальной борьбе, в частности. Я считаю, что историческая вина есть и у русских, и у еврейства. Я ненавижу русофобию и антисемитизм. Но почему, когда я говорю, освободимся, друзья, от этого и от этого, давайте устроим парламент, очистимся и будем бороться с погубившей нас идеологией, прежде всего, с утопизмом, поднимается крик с двух сторон? Вель преодолев кошмар этих лет, надо идти дальше. Это же конструктивный подход. Кому-то, наверное, кажется, что войска МВД оградят от погромов надежнее, чем либеральные институты. Я думаю, что либеральные институты все-таки надежнее, потому что они создадут иммунитет. А рассчитывать на войска – неконструктивно и недалекновидно. Интеллигенция не должна звать в своих распрях на помощь власть предержавших.

В общем, звать волков на помощь против собак...

Это – та самая замечательная фраза Александра Исаевича,

которую он привел, оценивая давнюю статью Дементьева в "Новом мире". В той статье все присутствовало: и коммунистическая демагогия, и классовый подход, и вся эта фразеология, от которой, кстати, шестидесятники до сих пор не избавились. Меня, критика другого поколения, эта фразеология просто смущает. Я, в отличие от них, уже не могу употреблять словосочетания "культ личности", "нарушение социалистической законности" и тому подобное. А еще, помните, в "Теленке...", я очень люблю это место, Солженицын приходит в "Новый мир" и вспоминает про "Вехи". Твардовский же ему говорит, что книги этой не читал. Соратники Твардовского пишут, что он делил писателей на тех, кто читал и не читал "Капитанскую дочку". Мне кажется, что пора делить на тех, кто читал и не читал "Вехи". Не случайно и сам Александр Исаевич так разделил. "Вехи" для меня волшебная книга, в которую можно посмотреть и приобрести абсолютные знания. Это – символ задумавшейся русской интеллигенции, которая поняла к чему ведет общественный утопизм. Чтобы сообразить это, ей хватило 1905 года. А нам нужно было испытывать все семьдесят лет на себе. Ну, хорошо, ну, ладно закончился этот социальный эксперимент, нужно же вспомнить хотя бы, что были люди, которые от него предостерегали и говорили чем это кончится.

Это верно. Но, по-моему, сегодня не менее важно одержать верх над силами антидемократическими. Им-то не нужны ни "Вехи", ни "Капитанская дочка."

Москва, январь 1989 года

«Я ДОСТАТОЧНО СКЕПТИЧЕСКИ ОТНОШУСЬ К ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РОЛИ ЛИТЕРАТУРЫ»

Беседа с Виктором Ерофеевым

Виктор, так как интервью с Аллой и с вами пойдут в одном номере альманаха, то чтобы не повторять вопросы, хочу вас спросить: согласны ли вы с ее оценкой литературного процесса в метрополии?

У меня, конечно, есть личные соображения на этот счет, потому что я, при всей своей кажущейся благополучности, дитя андерграунда. И надо сказать, что меня сейчас стали как бы выдавливать в так называемую большую литературу, и возникли во мне какие-то флюиды, связанные с публикациями в журналах с многомиллионными тиражами. Нужно признаться, что особой радости по поводу этих публикаций я не испытываю. Ведь жизнь в андерграунде имела и свои определенные преимущества. Она требовала сосредоточенности, самостоятельности и позволяла абсолютно наплевать относиться к тому, что происходит в официальной литературе. Я ее вообще не любил и не читал. С моей точки зрения наша литературная жизнь весьма глуповата и поверхностна, а нынешние баталии ведутся на примитивном уровне. Не только до девятнадцатого века нам далеко, до наших первых мудрых славянофилов и остроумных западников, и даже до баталий двадцатых годов, хотя там-то мне люди гораздо менее

симпатичны, чем в девятнадцатом веке. То, что происходит сейчас, это не только эпигонство, это скорее какой-то фарс. Как будто надо в конце XX-го века ставить вопросы в культуре на таком примитивном уровне — как в узко-национальном, так и в мировом плане. С одной стороны, меня это раздражает, с другой — я чувствую всю дикость страны, в которой живу. И больше всего меня в этом вопросе пугает то, что все реформы, которые происходят теперь, могут захлебнуться в нашей дикости. Эта дикость ощущается на расстоянии вытянутой руки, уже в Туле, уже в Рызани... И вот, если вдруг выкарабкаться, вылезти наружу и занять официальное место в литературе, то хорошо себе представляю свои будущие ощущения, прежде всего, ощущение полного отчаяния. В авангарде и в андерграунде стоят и стояли проблемы эстетические, каждый думал о том, как трудно найти себя через слово, в поисках слова обреталась возможность существования. А в официозе ни слов, ни дел, ничего, какая-то пустыня, и это весьма печально. Поэтому, честно говоря, я не испытываю большого желания говорить о том, в каком положении пребывает наша литература: проза, поэзия, критика. И то, и другое, и третье — мне не интересно. Что официозная литература — липа, лажа, туфта, это не секрет. Зачем же обольщаться и тратить на неё энергию? Что в поэзии идет невероятная девальвация и размен слов на некоторые банальные понятия, тоже ясно. Критика наша не обладает вкусом, а, не обладая им, невозможно судить о явлениях эстетического порядка. Что касается здоровой жизни, которая здесь существует и в искусстве, и в литературе, то, конечно, надо сказать, что литература оказалась не на самом почетном месте, что ядро эстетического переосмысления шло, безусловно, от живописи. И не случайно альтернативная литература зарождалась буквально в чреве живописного авангарда 60-70 годов. Оттуда мы выходили. И мои первые вечера, почти кухонные, все случались в этой питательной среде. И оттуда шла моя аудитория. Здесь историческую роль сыграл Илья Кабаков, ибо его осмысление действительности было очень важно для нас. Второе — это музыка. Для меня, как для человека, который пишет, Альфред Шнитке, например, его музыка, его полистилистика, значит больше, чем вся сегодняшняя советская литература. Я очень ценю дружбу и общение с ним, потому что это, наверное, единственный в московской ситуации человек, который мне что-то дает, а не берет у меня. Каждый раз я получаю от него какой-то импульс. Каждая беседа с ним важна. Так что, видите, если говорить о том, что кормит, то это скорее не литература, а живопись и музыка. И там, действительно, есть большие, серьезные, мировые достижения. Что касается литературы, то, в сущности, всё, что существует, можно пересчитать на пальцах одной руки. Есть московский концептуализм, тоже вышедший из живописи, принявший, с одной стороны, прозаическое измерение в лице очень талантливого молодого писателя Володи Сорокина, а с другой — поэтическое, в лице Пригова и Рубинштейна. Это тоже очень интересные люди. Боюсь, что я не очень четко ответил на вопрос, но наша литературная жизнь вызывает у меня что-то вроде аллергии.

Вы сказали, что журнальные публикации вас не радуют. Недавно в "Огоньке" был напечатан ваш рассказ "Попугайчик". Я прочел его в Париже, кто-то — в Мюнхене, миллионы читателей — в России. Неужели вас это совсем не радует? Пусть даже десять человек поймут вас так, как вы этого хотели бы, разве это не приносит удовлетворения?

Это уже почти метафизические вопросы. Что значит не радует? Я получил такое количество писем! Но кто пишет? Обычно пишут идиоты. Многие пожелали "Огоньку" в 1989 году таких произведений не печатать. Писали, что это бред сумасшедшего, что я садист и маньяк, который под видом размышлений наслаждается стараниями юного героя. Одно письмо было очень симпатичное, из Горького. Но только одно.

Может быть, это объясняется тем, что не идиоты писем не пишут? Может быть, среди тех, кто не пишет, есть немало таких, кто вас понял?

Сказать, что это меня радует — миллионы — нельзя. Меня радуют мои читатели, у меня есть свой круг читателей в Москве. Среди них и симпатичные девушки и довольно приятные молодые люди. И когда я вхожу в зал и вижу, что девушки на своих местах и молодые ребята тоже, то знаю, что сегодня скандала не будет. Как только я вижу людей, которые чисто физиономически мне не симпатичны, то я знаю, что в этом зале произойдет скандал. И, действительно, вскакивает какая-нибудь баба и диким голосом кричит: "Прекратить! Это махровая пакость!". Или еще что-нибудь такое. Мне хватает своего читателя. А где этот огоньковский читатель и каков он?

Вот, напротив вас, задающий вам вопросы, огоньковский читатель. Может быть, он есть и где-то там — в Уфе, Томске, Тбилиси...

Конечно, но, понимаете, я не маршал Жуков, я не могу командовать этими огромными миллионными парадными или маневрами, передвижением этих читательских войск. Я знаю, что ничему их не научу, что все равно дело кончится залом на триста человек. И это будут мои читатели. За всех остальных я не могу нести никакой ответственности. И главное, что сам я ни к чему не призываю. Поэтому, конечно, есть какой-то бред в том, что я печатаюсь в этих многомиллионных изданиях, где не только читатели, но и редакции не всегда понимают, что они делают. И еще я скажу, что механизм славы достаточно примитивен и убог. Съездил я недавно в Югославию и выяснилось, что они меня знают. Разве я получил от этого какое-нибудь наслаждение?

Дело не в славе, а в том, чтобы где-то, ну, скажем, в провинции, в каждом хотя бы большом городе, нашлось пусть по одному читателю, который бы вас понял, вообще мог понимать подлинную литературу. Это же хорошо, это работает как раз против той дикости, о которой вы говорили.

Согласен и не согласен, потому что, конечно, я нуждаюсь в читателях, я не строю из себя целку, которая думает, что со-

вокупление с читателем отвратительно. Нет, наоборот, это приятно. Но, тем не менее, я абсолютно не принадлежу к той традиции русской литературы, которая считает, что литература может чему-то помочь: убавить количество дикости, способствовать производству мяса, привести к тому, что доярки лучше начнут работать... Иными словами, я достаточно скептически отношусь к просветительской роли литературы. Я думаю, что литература это тайна. Как понять, почему, действительно, начинает случаться нечто такое, что зарождаются какие-то энергетические силы, подключаются и создают то напряжение, через которое рождается слово? И почему вдруг такой дикий фашист, как Селин, оказывается прекрасным писателем? Почему маньяк, человек, лишенный всяких принципов, маркиз де Сад может противостоять своим словом целому направлению не только французского, а вообще европейского рационализма восемнадцатого века? Это совершенно непонятные и невероятные вещи. Андре Жид говорил, что литература, имеющая добрые намерения, всегда дурная литература. И в самом деле часто так случается. Поэтому я очень скептически отношусь к возможности литературы как-то на что-то влиять.

Понимаю вашу позицию, но не во всем ее принимаю. Конечно, на удои молока слово никак повлиять не может. Но в истории человечества литература на многое влияла, причем даже и в наше время. К примеру, Пражская весна началась со слова, солженицынского слова. И я думаю, что и эстетическое начало, заложенное в настоящей литературе, тоже влияет на людей, оно делает их лучше.

Саша, ну что в "Попугайчике" может поднять людей на ту или иную весну?! Там же все заранее обречено на полную безнадегу. И в то же время там, конечно есть , непонятно откуда он взялся, какой-то светлый момент. Я бы хотел, чтоб мое слово действовало не на политические вёсны, а чтобы оно за тем театром абсурда, которым является вся наша национальная и социально-политическая жизнь, помогало человеку вдруг почувствовать хотя бы легкий катарсис, ощутить свет, идущий непонятно откуда. Вот я чувствую это, как уже в конце января чувствуешь, когда едешь в автобусе или в автомобиле, и вдруг луч солнца падает тебе на лицо и дает немножко тепла. Я настолько устал от субъективизма нашей культуры, я имею ввиду не только русской, а вообще современной культуры, глобально, что мне хочется почувствовать какой-то свет, имеющий внечеловеческую природу. Но поскольку единственный аппарат, который мне дан – слово, то я могу почувствовать вот это, только в преломлении слов. Я вам даже скажу больше. Мой "Попугайчик" написан невозможным языком, человек говорит на четырех языках сразу: это и допетровский язык, и петровский, и галантный девятнадцатого века и советский блатной. И читатель легко покупается на то, что так вроде бы и должно быть. Потому что существует парадигма, парадигма, скажем, национальности, парадигма вообще каких-то отношений, которые существуют в мире. И вот в чем странность иллюзии:

читатель, с одной стороны, понимает, что это издевательство, дикое глумление над сказом (сказ требует точности слова, а там, что ни слово, то абсолютное несоответствие исторической и языковой реальности), а с другой стороны, почему-то верит, что так может быть – и в этом тоже есть какой-то свет. Значит, можно уйти за язык так далеко, что отдача придет с какого-то другого конца. Ситуация, когда слово, когда то, что я делаю, становится важнее моей субъективной значимости, нет, не значимости, а моей позиции, приобретает самостоятельный характер, это то, что мне действительно нужно. Мне важно, если я могу передать это читателю.

Замечательно! Значит, чем больше будет читателей, которым можно это передать, тем лучше. Это важно и для вас и для читателя, и для культуры. И плохо – для нашей дикости. Хотя, знаете, дикости хватает и там, на Западе.

Вы мне об этом не рассказывайте. Я жил там. Вообще у меня большой западный опыт.

Но вы согласны со мной, что там дикости тоже хватает? Своей, на особый лад, но дикости.

Там дикость напоминает биде, которое начищено до глянца. Дикость его заключается в том, что биде равно биде и ничего больше. И там очень часто цивилизация равна только этому и ничему другому. Я хочу сказать, что такого плоскостного восприятия мира, какое встречается на Западе, я больше нигде не видел. И это меня очень пугает. В России все-таки по-другому. Россия – глупая страна, в своих движениях, вращениях, переворачиваниях, в невероятной постели размером в одну шестую земного шара, она непредсказуема. Но в результате всех этих сложных, не всегда объяснимых движений, рождается атмосфера, в которой возникает возможность появления творческого импульса. Приезжать, например, во Францию, пресыщенную культурой, пресыщенную не потому, что нет возможности сказать новое слово, а потому, что там люди уже не планируют эту возможность, удовольствие для меня сомнительное. Париж – красота, дева красоты, согласен, но в плане культурного существования – не приемлю..

Теперь вот и Париж раздолбали, но это не моя, как говорится, боль. Давайте вернемся к проблемам российским. Дикости у нас, конечно, хватало и хватает, однако была же и есть русская интеллигенция, явление уникальное. В США, например, я столкнулся с тем, что средний американец, инженер, скажем, не интеллигентный интеллигент, по определению Померанца, а средний интеллигент, не знает того, что известно любому нашему среднему интеллигенту.

Это – для аплодисментов, потому что русский средний интеллигент не знает того, что знает средний американец.

Может быть, средний русский интеллигент не знает чего-то бытового, технического, но в области лите-

ратуры, культуры, он, по сравнению с американцем, гигант. О невежестве средней американской интеллигенции много пишет и американская пресса. Они не знают ни Фицджеральда, ни Стейнбека, ни Фолкнера, ну, о Хемингуэе кто-то еще слышал. О русской же литературе, я уже и не говорю. Средний американский интеллигент в лучшем случае слышал, может быть, о Достоевском, потому что в кино показывали.

Вы меня не убеждайте в этом, потому что я живу в России и живу здесь совершенно не случайно. Я знаю, почему здесь живу, зачем совершаю столь странный акт. Что касается русской интеллигенции, то, конечно, она есть и есть замечательные люди, какая-то даже особая порода. Но я прекрасно знаю и недостатки нашей интеллигенции, ее слабые стороны, ее грехи, которые, к сожалению, болезненно отразились на русской истории, ее невнятный идеализм, например...

Простите, но все-таки лучше невнятный идеализм, чем западный материализм.

Смотря для кого. Если речь у нас идет о существовании культуры — может быть, но если мы говорим о существовании маленького человека, который просто что-то хочет потреблять, хочет как-то прожить свою жизнь на уровне вещей и элементарных понятий, то ведь западный материализм все же смог обеспечить этому человеку, все что он хотел. А русский невнятный идеализм, максимализм, народопоклонничество — все эти наши вечные грехи, что они обеспечили? Честно говоря, мало чего хорошего. То, что мы имеем. А насчет культуры, да... Ну, так это и есть парадоксальность российского бытия. Наша беда заключается в том, что мы не любим делать больше пяти-восьми шагов. Мы топчемся на одном и том же пяточке. Любопытно, что единственный момент в русской истории, когда русская мысль двинулась вперед, связан с Владимиром Соловьевым. Конечно, чуть-чуть это идет и от Чаадаева, но по-настоящему — от Владимира Соловьева. Весь русский культурный ренессанс двадцатого века — от него. А затем снова — стоп, и интеллигенции предложили подумать. Надо сказать, что в принципе она поработала хорошо, как говорят на советском жаргоне, подумала хорошо, и великолепно все провалила. Потому что хоть она и подумала, но ничего противопоставить тоталитарному наступлению не сумела. Теперь же, на мой взгляд, мы очутились перед старой дилеммой: нам нужно совместить дневной и ночной образы мысли, дневное и ночное мышления, дневное — общественно-политическое и ночное — экзистенциальное и религиозное. Русская философия конца девятнадцатого — начала двадцатого века с этим не справилась. Но если не справимся с этим и мы, то опять ничего хорошего не произойдет. Но кто об этом думает? Если же это совмещение не произойдет, то в лучшем варианте, мы получим общество потребления индийского типа, а в худшем случае — запрокинемся в новый вариант тоталитаризма, который будет связан с мессианским национальным сознанием. Поэтому пока

что у меня нет никаких оснований для того, чтобы аплодировать и русской интеллигенции и всему прочему. Хотя, с другой стороны, я с вами абсолютно согласен: разговоров таких вот там не ведется и напряжения интеллектуального там не ощущается. Так что в принципе, если думать о том, где жить интереснее, если свою жизнь не рассматривать как приложение к дому, машине и т.д., то интереснее тут. И этот интерес не исчерпывается понятием только интеллектуальным. Интереснее жить, когда есть в жизни момент романтизма, момент противостояния, момент определенного жизненного активного самовыражения в поступке. Западному человеку поступок почти неведом, он совершает не поступки, а какие-то шаги. А между тем и этим разница очень большая и сложная. Но опять-таки, повторяю, во имя чего мы об этом говорим? Если ради культуры, ради романтики это, конечно, так. И, конечно, здесь и авангард будет вырабатываться и будут какие-то интересные движения. Я могу предсказать, что это возможно, если только совсем не оборвут.

Заканчивая нашу беседу, я собирался сказать, что вы — пессимист, а я все-таки оптимист. Но последние ваши слова, свидетельствуют о том, что и вы оптимист.

Нет, Саша, я то, о чем вам сказал. Я — человек, который чувствует слабый луч солнца у себя на щеке.

Москва, январь 1989 года

«СЕЙЧАС ПРОЦЕНТ НАДЕЖДЫ СТАЛ БОЛЬШЕ»

Беседа с Евгением Поповым

Женя, хотелось бы, чтоб вы немножко рассказали о себе, так как ваши произведения, в "Стрельце" до сих пор не печатались и наш читатель с вами не знаком.

О себе или о своих сочинениях?

О своем творчестве и о себе как о писателе.

Ну, о себе, писателе, что я могу сказать? Писать я начал уже не помню когда, наверное, лет с пятнадцати, первый мой рассказ был напечатан в Красноярске, в комсомольской газете, в 1962-ом году, что, кстати, сейчас, когда меня восстановили в Союзе писателей, стало смутным предметом моих размышлений. Дама, которая оформляла мои документы, объяснила, что отсчет писательского стажа в Советском Союзе ведется с момента первой публикации. Так что я из "молодых писателей" могу отправляться прямо на пенсию. Это все, разумеется, шутки, а если говорить серьезно, то те рассказы, которые мне и сейчас не стыдно предлагать редакциям, я начал писать где-то в 1965-68 годах, когда приехал из Сибири в Москву. Я ведь родился в Красноярске, закончил Московский геолого-разведочный институт, пять лет прожил тогда в Москве и вот там, собственно, и начал писать "на полную катушку". Еще и сейчас у меня многое не

напечатано из того времени. У меня в Москве к концу обучения в 1968-ом году уже была готова одна книга, но она так никогда и не вышла, равно как и несколько других моих книг на протяжении нескольких других наших лет.

Книга рассказов?

Да, книга рассказов. Я уже говорил в интервью "Литературной газете" весной прошлого года какой с этой книгой приключился тогда анекдот. Мне издательница сообщила в Красноярск, где я к тому времени, снова жил, что она нашла гениальный ход, дабы меня напечатать: книгу нужно переписать, чтобы все действие происходило в Америке, Стране Желтого Дьявола, лишь там уместна та пьянь и рвань, которую я тогда описывал. Здорово, а? Но она искренне хотела мне помочь.

Это не оригинально. Помню, как главный редактор издательства "Советский писатель", когда я перевел книжку Мухрана Мачавариани, там было из болгарских впечатлений, сказал, что надо сделать не из болгарских, а из зарубежных впечатлений, а то создается какой-то нехороший облик братской социалистической страны.

Да, а я ведь лет с девятнадцати был связан с "Новым миром", с той еще "твардовской" редакцией. Помню, когда я рассказал об этом, Анне Самойловне Берзер, она даже всплеснула руками: "Поражаюсь здоровому цинизму сей юной гвардии". Да, вот о "Новом мире" — я туда пришел, как говорится, прямо с улицы, без рекомендаций. Просто открыл дверь и зашел. И первый человек, кого я там встретил, была Инна Петровна Борисова, которая очень много сделала для публикации моих вещей. У меня в "Новом мире" было две публикации. Нужно сказать, что когда я возвратился после института в Красноярск, где прожил затем семь лет, я очень много писал. Но печатали меня тогда изредка лишь в разделах сатиры и юмора, причем даже сочувствующие мне люди обычно убирали из рассказа /для"проходимости"/ три — четыре координаты и получалось то, что именуется отвратительным словом "юмореска". Первая серьезная подборка была, пожалуй, в 1976-ом году с предисловием Шукшина, которого к тому времени уже не было в живых. Эту публикацию заметили и читатели, и критики. В 1977-ом году вышли рассказы в "Дружбе народов", тоже были замечены. И в 1978-ом году меня и Виктора Ерофеева приняли в Союз писателей, вот по таким публикациям. К слову, нас в один день с ним приняли, а потом в один день и выперли вместе за "Метрополь". А после истории с "Метрополем" меня и вовсе не печатали чуть-ли не десять лет, точнее до конца 1986-го года, когда в одиннадцатом номере "Юности" появился мой рассказ, правда в отделе сатиры и юмора, но полностью, не изуродованный купурами. И не след мне забывать о роли главного редактора "Юности" Андрея Дементьева, который не побоялся взять на себя ответственность за этот шаг. Я об этом всегда буду помнить. Ну, а в 1987-88 годах многое было напечатано. И в "Знамени", и в "Новом мире" семь рассказов, вышедших, когда там недолгое время работал замечательный критик и редактор

Игорь Виноградов, в саратовском журнале "Волга" – не только рассказы, но и пьеса, в "Сельской молодежи", "Огоньке". Сейчас вот, когда я нахожусь в Париже, в издательстве "Советский писатель" выходит сборник моих рассказов "Жду любви невероятной", первая книга на родине. В конце года в издательстве "Московский рабочий" выйдет роман "Прекрасность жизни", а еще один небольшой роман "Душа патриота" будет напечатан в упомянутой "Волге".

Если же говорить о том, что я писал, то сначала это были рассказы, достаточно короткие, самый большой из них был двенадцатистраничным. Обычно это была история какая-нибудь, которую я слышал или придумал. Но потом, в какой-то момент, рассказы надоело писать и пошла проза более объемная, в нее вводился литперсонаж, вводились какие-то реальные люди. И вот я написал роман в письмах, небольшой по объему "Душа патриота", о котором я уже упомянул. Писался он в 1982-83 годах. В романе этом два основных персонажа – одного зовут Евгений Анатольевич, а другого – Дмитрий Александрович Пригов. Они ходят по Москве в день похорон Брежнева и там такое гиперреалистическое описание Москвы в этот день: люди, дома, улицы, история этих домов и улиц. А второй, написанный мною роман, называется "Прекрасность жизни"... Такого слова вроде нет в русском языке и это уже придает какой-то странный оттенок всей вещи, я как бы отталкивался от таких заштампованных словосочетаний, как "светлость", "озаренность" и т.д. Этот роман, пожалуй, можно назвать сатирическим или трагикомическим. Он построен по принципу коллажа. В нем двадцать пять глав и нумерация каждой главы совпадает с нумерацией года – с 1961-го по 1985-ый. Там история, например, написанная в 1961-ом году, потом цитаты из газет этого времени и один из последних рассказов. И возникает мозаика фантасмогорической жизни за эти двадцать пять лет. Он еще имеет подзаголовок "Главы из романа с газетой", который никогда не будет начат и закончен" и там тоже есть предисловие со смещением, в котором объясняется смысл подзаголовка. Так что, как вы видите, хоть последнее десятилетие было для меня непечатным, но писалось много. Теперь же грех жаловаться. Печатают, переводят во многих странах, включая Францию и ФРГ.

С вашего личного, писательского, я хочу перескочить на общественное. Когда недавно, после четырнадцатилетнего отсутствия, я побывал в Москве, то застал там атмосферу, напомнившую мне время той, первой перестройки, то есть хрущевской оттепели. Опять литературная война, опять противостояние литературных сил, стремящихся к демократизации и литературных сил, противящихся ей. Только тогда в демократическом, скажем так, лагере находился один "Новый мир" Твардовского, на который наваливались чуть ли не все остальные журналы и газеты, а теперь ситуация изменилась. На стороне демократических сил и "Огонек", и "Новый мир" и "Юность", и "Знамя",

и "Октябрь" и многие другие московские и провинциальные издания. А им противостоят "Наш современник", "Молодая гвардия" и "Москва", этокое объединение еще недавних противников — неосталинистов и националистов-шовинистов. Соотношение сил, как вы видите, изменилось существенно. И это отрадно. Недавно в Литературной газете появилось интервью с писателем Василем Быковым. У него спрашивают — нельзя ли как-то утишить, что ли, литературные сражения, а он отвечает, что если бы даже споры были чисто эстетические, то вряд ли их можно было сделать менее ожесточенными, сейчас же противостояние носит политический характер: речь идет об отношении к Сталину и сталинизму и тут примирения быть не может. Мне бы хотелось узнать вашу точку зрения по этому вопросу.

Ну, тут прежде всего я хочу сказать, что я, конечно, на стороне тех, кто за демократизацию, а не тех, кто тянет назад, хоть вроде бы и присягает тоже перестройке. Знаете, в Гражданскую войну были и белые, и красные, и зеленые, и синие, по-моему и в нынешней литературной ситуации в борьбе участвуют более двух явных сил, например те, кого называют бывшей молодежью, их уже начинают понемногу печатать, но с трудом, впрочем, о них я скажу отдельно, а сейчас, так сказать, о двух основных противоборствующих силах. С ними, мне кажется, все ясно, это видно и читателям и писателям. Одни хотят, чтобы у нас в стране действительно что-то изменилось, потому что жить прежней жизнью просто невозможно, неизбежно придем к краху во всех областях, а другие демократических перемен не хотят и не столько по идеологическим причинам, идеологией только прикрываются, а по мотивам материалистического характера: не хочется терять привилегии, не хочется демократии, свободы. Хочется оставаться генералами от литературы.

А кое-кому не хочется оказаться и в роли голого ко роля

Естественно.

По этому поводу, то есть о шкурных интересах, которые двигают многими противниками перестройки и гласности пишет в своем открытом письме Юрию Бондареву, оно опубликовано в первом номере журнала "Огонек", бывший главный редактор еженедельника "Литературная Россия" Михаил Колосов.

То есть как это бывший? Когда я уезжал сюда, он еще был в своем кресле. и, кстати, в "Литроссии" последнего времени тоже были интересные публикации.

Вот так... Раскрыл он в своем письме всю поднаготную, все, что движет Бондаревым и его присными и — полетел...

Я и говорю, что дело не только в идеологии, даже скорее не в идеологии, а в личной корысти. Я о шестидесятих годах говорить не могу, вы время это лучше знаете, но и тогда, видимо, дело

обстояло так же. Кстати, "Новый мир" Твардовского был не в абсолютном одиночестве, была еще и "Юность", так сказать два крыла было у сторонников демократизации. В "Юности" публиковались молодые, авангард – Аксенов, Гладиллин, Кузнецов...а в "Новом мире" – Солженицын, Можаев...А сейчас, конечно, поляризация сил большая, и вы правильно заметили, что противники демократизации в меньшинстве. Мне даже трудно прибавить к тем трем журналам, которые вы назвали еще какой-либо, даже провинциальный. Кстати, я упомянул журнал "Волга", который выходит в Саратове. Это по расхожему мнению глушь, глубинка такая, недаром говорилось, "к тетке, в глушь, в Саратов", так вот "Волга" становится теперь одним из наиболее интересных журналов. У них позиция, если так можно выразиться, центристская. Вот посмотрите просто на подбор имен, которые появились на страницах журнала в прошлом году: Набоков /"Камера обскура"/, Шмелев /роман "Лето господне"/, впервые в СССР Бердяев /"Миросозерцание Достоевского"/ ... Публиковали они, конечно, и современных авторов, причем молодых. В этом году в первом номере у них должна быть очень интересная публикация: произведения прозаика из Владимира Анатолия Гаврилова, блестящего рассказчика, собираются печатать они Розанова. И в то же время, есть у них круг и других авторов, иными словами, у них свое лицо. Недаром, если раньше "Волга" пылилась в киосках, теперь ее просто не достать.

Еще до того, как мы включили магнитофон, вы упомянули "новую литературу", а уже по ходу интервью говорили о бывших молодых. Это что – одно и то же?

Мы в августе прошлого года беседовали об этом с критиком Сергеем Чуприниным на страницах "Литературной газеты". Там называлось около десятка имен авторов, причем не одного рассказа, а многих книг...

Не вышедших книг?

Конечно. Это люди, которые все эти смурные годы писали, писали в стол, они и представляют собой "новую литературу". Сейчас очень редко, но какие-то их вещи все-же публикуются, если же вся эта литература выйдет на поверхность, то просто будет литературный бум, я уверен.

Она имеет какие-то характерные признаки, эта литература, или в ней существуют разные направления, тенденции?

Направления разные, но есть что-то общее. Это литература, которая очень хорошо изучила ситуацию шестидесятых годов и сделала из нее выводы для себя, в частности и такой – как было в шестидесятых тоже не нужно, то есть то, что в шестидесятых было предметом обсуждений, идейных столкновений для "новой литературы" стало материалом, перегноем, почвой. По-моему, это более продуктивный путь для писателя. Ведь писатель – не критик, не публицист, как роза есть роза, есть роза, так писатель есть писатель, есть писатель. У "новой литературы" несколько странные для кого-то, может быть, отношения с действитель-

ностью. Она ее, конечно, отражает, но, понимаете, она как бы избегает оценок, действительность для нее лишь объект, где царствуют субъекты. В этой литературе, на мой взгляд, больше условностей и больше искусства. А "проклятые" вопросы, конечно же, остаются. Куда русскому писателю от них деться?

Вы бы могли назвать имена?

Я назову только уже сложившихся писателей, а молодых, талантливых там еще много и все разные. Одни более ироничны, другие пародийны, третьи традиционны, четвертые как бы имитируют традиционную форму, как Владимир Сорокин, например, есть еще такой блестящий прозаик Зуфар Гареев, у него фантазмагории в духе Кафки, Аксенова... Ну, я не буду повторяться, перечислять имена. Важно, что их практически не печатают, лишь отдельные разрозненные публикации видят свет, а это общей картины не создает, то есть в нынешней литературной ситуации все эти авторы практически не участвуют, им не дают участвовать в литературном процессе. Михаил Берг, Борис Дышленко, Петр Кожевников, король московского поэтического авангарда Дмитрий Александрович Пригов, Николай Климонтович. Ставлю многоточие

Когда я брал в Москве интервью для "Стрельца" у Натальи Ивановой, то мы говорили и об этих авторах. Она считает, что нужно больше журналов, что на пути "новой литературы" стоят препятствия чисто эстетического характера, иными словами в нынешних журналах редакторы эстетически не принимают эти произведения.

Наверное, это правильно. Сейчас приносит автор что-нибудь в журнал, а ему говорят: "Дал бы что-нибудь поострее". А ему не хочется поострее, ему хочется быть самим собой. И, знаете, поострее, помягче — это конъюнктурные требования, которые сгубили уже не одного писателя, о разрешенной литературе еще Мандельштам писал в "Четвертой прозе". Так что действительно речь идет об эстетике. У них ведь и язык новый, и описание персон, которые сами по себе вызывают отвращение, и в этой прозе не расставляются точки над *i*, потому что писатель — не адвокат и не обвинитель, в этой прозе часто нет авторского отношения к героям и действительности. К примеру, роман Виктора Ерофеева, "Русская красавица" написан от лица московской проститутки. Можно ли от нее требовать чего-нибудь в стиле старых эстетических канонов, в духе Сони Мармеладовой? Ерофеевская "красавица" говорит на своем языке, как вы понимаете не нормативном, и понятия у нее совершенно иные, чем у проституток прошлого столетия. Тоже самое и в прозе Зуфара Гареева и в смысле ситуации и в смысле лексики. Язык "новой литературы" включает в себя даже жаргон и нецензурные выражения, оставаясь в то же время, языком литературы, а не улицы. А есть еще такая талантливая писательница Лариса Ванеева, так героини ее прозы — москвички, ну скажем, такие трифоновские персонажи, но она включает в свои вещи еще и секс, чего у Трифонова нет, и раз-

личные мистические озарения в духе восточной философии. И получается такой компот, который не каждый может скушать.

В Москве мне говорили, что при разных издательствах организуются сейчас альманахи. Может быть, на страницах некоторых из них и найдет себе приют "новая литература".

Раньше была надежда на кооперативные издательства, но с ними пока что ничего не получается. Когда я уезжал из Москвы полтора месяца тому назад, шел разговор об издании книг за счет авторов. Это, конечно, не лучший выход, но все же какой-то. При издательстве "Московский рабочий" создана экспресс-серия "Аннос". Запланировано двенадцать книжек выпустить в этом году. Правда, все они будут небольшого объема, поэтические сборники — один лист, проза — два листа, что-то вроде визитных карточек, но все-таки это хоть что-то. А то ведь, по себе знаю, отчаяние берет, с ума сойти можно, сколько авторов из-за этого сгнуло — пишут, пишут, годами пишут и все в стол. Про альманахи же вы верно заметили. При том же "Московском рабочем" составлен один, называется "Зеркала" /его составил поэт и критик Александр Лаврин/. Надеюсь, что первый номер этого альманаха скоро выйдет. В нем как раз будет представлен целый пласт этой "новой литературы". Кроме "Зеркал", — "Весть", "Московские страницы". Насколько мне известно, создаются и другие, так что, может быть, с их помощью "новая литература" и вправду осуществится. И ведь я еще многих не упомянул, а только тех, кого хорошо знаю. Вот коллективный сборник женской прозы "Не помнящая зла", составленный Ларисой Ванеевой. Там еще десяток имен.

Между прочим, в большинстве изданий русского За-рубежья эстетические критерии тоже ставят барьер на пути многих прозаиков и поэтов. Есть в эмиграции и такие, которые печатаются, в основном, в моем издательстве "Третья волна" и журнале, теперь альманахе, "Стрелец". Скажем, все три книги Юрия Мамлеева вышли в "Третьей волне", здесь же вышли две книги Сергея Юрьенена, роман Дмитрия Савицкого... И в "Стрельце" все эти авторы широко печатаются. Вообще принцип "Стрельца" — плюрализм, все определяется лишь талантливостью произведения. Поэтому и столь разные у "Стрельца" авторы: Максимов и Мамлеев, Аксенов и Алешковский, Юрьенен и Фальков, Бартов и Гальперин.. Такое же противопоставление я могу произвести и в поэтическом ряду. В связи с публикацией ряда авторов мне часто приходится выслушивать нарекания как устные, так и письменные, но, как говорится..., а караван идет. И я с удовольствием, поделюсь с вами новостью: проза некоторых писателей, о которых вы говорили, появится в том же номере "Стрельца", что и наша с вами беседа.

Плюралистическим был и наш "Метрополь", в нем были представлены и архаисты, условно говоря, и новаторы, и

славянофилы и западники. Надеюсь, что такими изданиями станут и новые альманахи. У меня, вообще, с этим годом большие надежды связаны и очень не хотелось бы разочаровываться. И хотя у нас произошли серьезные изменения, все-таки не хочу, чтобы из моих слов сложилось впечатление, будто у нас все идеально, все замечательно... Нет, трудности остаются еще большие, каждую публикацию приходится пробивать, как и каждую новую идею. Всегда наряду со сторонниками есть и противники, причем довольно сильные. Но вот о чем хочется сказать: во многих редакциях журналов и издательствах сидят хорошие люди, а ведь от конкретного человека, особенно в нынешней ситуации, зависит очень многое. А есть уже немало людей, в которых созрела такая простая мысль, помните, как в школе учили, — "Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы"? Никому из нормальных людей, в конечном счете, не хочется быть свиньей, хочется сделать что-то. Вот эти люди и помогают пробивать многое.

Недавно начался обнадеживающий процесс: советские журналы стали публиковать произведения прозаиков и поэтов, оказавшихся в эмиграции или изгнании. Напечатали Бродского, Коржавина, Кублановского, Алешковского, Войновича, Владимова, на Украине даже Солженицына "Жить не по лжи". На страницах эмигрантских журналов, в том числе и в "Стрельце", не раз обсуждалась проблема: одна или две русские литературы существуют? И всегда мы приходили к тому, что все-таки одна, что эмигрантская литература и литература метрополии это как бы два рукава одной широкой реки — русской литературы. И даже в серо-застойные времена, точнее сказать, в гнусное безвременье, мы верили, что рано или поздно эти рукава сольются в один поток. И вот это вроде бы началось. Как вы и ваши друзья воспринимаете этот процесс?

Я абсолютно разделяю вашу точку зрения. Конечно, нет городской, деревенской, эмигрантской и т. д. литературы. Есть одна — русская и, естественно, нельзя не радоваться тому, что произведения русских авторов возвращаются русскому читателю. Все это — литературные события. Скажем, стихи Юрия Кублановского, участника "Метрополя", появившиеся в "Знамени" и "Огоньке". Я так рад за него, моего сверстника и друга! Ведь он, в отличие от других, приведенных вами блестящих имен, до своего вынужденного отъезда, на родине почти не печатался, хотя стихи его всюду ходили по рукам. И будем говорить не только о современниках. Вот, Набоков... Даже когда его у нас не печатали, творчество его оказывало огромное влияние. Набоковым зачитывались студенты литинститута. Вы же знаете, что в Москве, в принципе, любые книги всегда можно было достать, если хорошо постараться. Но то, что сейчас происходит это крайне важно. Подчас можно услышать голоса: ну, подумаешь, этого напечатали и этого напечатали, мы же все это давным-давно читали. Но

сейчас-то читают миллионы, а не считанные единицы и представьте себе мальчика где-то в провинции, который читает "Чевенгур", а не "Кавалера золотой звезды", он же вырастет совсем другим человеком. И все-же вот этот процесс возвращения русской литературы на родину — неоднозначный. Кого-то печатают, кого-то, почему-то, не печатают. Мне, например, непонятно почему не печатают Аксенова! Публикацию отрывка из его романа в "Крокодиле", с последующими ругательными письмами, я в расчет не беру. Кстати, среди писем было и одно от какого-то юноши, который писал, что считает аксеновский "Бумажный пейзаж" лучшей книгой о застойном времени. И я с ним согласен. Вообще, много у нас взаимоисключающих процессов. С одной стороны в Доме кино проводится вечер посвященный Солженицыну, с другой — его произведения не публикуются. Трудно это объяснить, да и не мне объяснять. Но вернемся к Аксенову. Я считаю, что его обязательно нужно печатать в СССР. Это индивидуальность, какой сейчас у нас нет, это писатель, какого у нас сейчас нет! Он может кого-то раздражать, кому-то казаться эпиграфическим, но это неважно. Он Писатель и, кстати сказать, он ближе из всех старших прозаиков к "новой литературе", собственно говоря, в определенном смысле, он ее предтеча.

Он и здесь один из немногих, кто поддерживает молодых писателей. Но вот вы говорили о погибших, о сгинувших писателях, то есть о писателях, которых погубило время, не могли бы вы немного об этих писателях рассказать.

Конечно, могу, но все-таки нужно сказать и о том, что они писали и многое успели написать, сама наша жизнь им диктовала... Еще вопрос — написали бы они свои замечательные вещи, если бы благоденствовали. Впрочем, может быть, говорить так кощунство, потому что погибли они, в конце концов, от недостатка воздуха, от безнадежности, от невозможности опубликовать то, что было написано 'чуть-ли не за двадцать лет. Погиб поэт Леонид Губанов, который не дожид до своих публикаций. Умер Владимир Кормер, умер Евгений Харитонов. Губанова я не знал, а Кормер и Харитонов — мои друзья, мы были вместе в те годы. Светлая им память! Харитонов умер в сорок лет. Он шел по Пушкинской улице, у него произошел разрыв сердца, он упал и еще долго там пролежал, прохожие думали, что это какой-то пьяница. Он был уникальный писатель, его еще почти не знают. Только недавно состоялась первая уже посмертная его публикация: журнал "Искусство кино" напечатал его пьесу "Дэнь" с предисловием Николая Климонтовича. Но у него огромное наследство осталось, которое с трудом, наверное, будет печататься и сейчас, потому что персонажи его произведений — московские гомосексуалисты. И опять же это не критика, не сатира, не социальные вещи, а тончайшая проза, настоящее искусство. Кормер — совсем другой, у него — философская, социальная сатира. Ни строчки, пока на родине не напечатано до сих пор, несмотря на многочисленные попытки. Я назвал только трех писателей, а ведь

есть целый мартиролог... И я снова, может быть, кошунственно скажу, что все эти три примера с хорошим исходом, то есть они умерли, но как писатели остались. А сколько ушло из жизни талантливых людей, от которых не осталось, практически, ничего, так – отдельные стихи, отдельные наброски. А некоторые приспособились, переродились, утратили дар, от них остались только одни шкуры

Все-таки не хотелось бы кончать нашу беседу на такой минорной ноте, тем более, что многое о чем вы говорили, альманахи, в частности, вселяют надежду на то, что и "новая литература" и поэты и прозаики, которые себя к ней не относят, но все равно не имеют реальной возможности публиковаться, в конце концов найдут дорогу к читателю.

Надежда всегда была, без надежды жить нельзя, просто сейчас процент надежды стал больше

. Париж, февраль 1989 года.

Все интервью для этого номера альманаха взял Александр Глезер

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТВОРЧЕСТВУ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

Двенадцатого марта в Париже, в Литературном русском центре "Стрелец", состоялась Международная конференция, посвященная творчеству Владимира Набокова. На Западе, в европейских и американских университетах, симпозиумы, связанные с творчеством великого русского писателя – не редкость. Но сейчас впервые конференцию по творчеству Набокова организовали его соотечественники. И тоже, пожалуй, впервые в конференции, проводимой эмигрантской организацией, принимали участие представители метрополии, причем, именно те, которых пригласил наш литературный центр. Это были – московские прозаики и литературоведы Виктор Ерофеев и Михаил Эпштейн.

В конференции приняли также участие американский профессор-славист Присцилла Майер, французский профессор-славист РенэГерра, переводчик прозы Набокова, прозаик Геннадий Барабтарло, русские писатели-эмигранты Юрий Мамлеев и Сергей Юрьенен, главный редактор альманаха "Стрелец" Александр Глезер, преподаватель Бернского университета Галина Бови-Кизилова, исполнившая свои романы на стихи Набокова. Режиссер Борис Тираспольский и поэт Юрий Кублановский, к сожалению, не сумели приехать в Париж, но они прислали тексты своих выступлений организаторам конференции.

Мы предлагаем вашему вниманию материалы парижской Международной конференции по творчеству Владимира Набокова.

Александр ГЛЕЗЕР

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В прошлом году, да и в этом тоже, мне несколько раз задавали вопрос, почему именно Литературный русский центр "Стрелец" собирается проводить набоковскую конференцию. Ну, во-первых, Владимир Набоков – великий русский писатель, и, по-моему, вполне естественно для русского литературного центра организовывать конференцию, посвященную его творчеству. Во-вторых, книги Набокова все чаще и чаще публикуются в Советском Союзе, интерес к еще совсем недавно запрещенному писателю растет, и материалы нашей конференции, а у меня нет сомнений, что они попадут в СССР, будут прочитаны тамошними специалистами и теми читателями, для которых творчество Владимира Набокова – вещь жизненно необходимая. А это, я думаю, важно и для всех нас.

И, наконец, есть и специальный, что ли, момент, о котором я сейчас расскажу. Полтора года назад под Лозанной, в литературном русском клубе "Балаган", созданном несколько лет тому назад преподавателем Бернского университета Галиной Бови-Кизиловой, состоялся вечер журнала "Стрелец". На следующий день писатель Сергей Юрьенен и я решили посетить могилу Набокова. И вот по дороге на кладбище я узнал, что вдова писателя, Вера Евсеевна Набокова, живет в находящемся не-

подалеку отеле. В общем, в этот день Вера Евсеевна приняла нас и после беседы с ней мы спросили — не назовет ли она нам какой-нибудь давно не публиковавшийся по-русски рассказ Набокова с тем, чтобы его можно было напечатать в разделе "Литературный архив" "Стрельца". Вера Евсеевна пообещала ответить нам после того, как ознакомится с номерами журнала, которые мы ей привезли. И через некоторое время мы получили ответ, превзошедший все наши ожидания. Вера Евсеевна сообщила нам, что "Стрелец" ей понравился, и предложила опубликовать в нем два-три рассказа Владимира Набокова, которые никогда по-русски не печатались. Вскоре в редакцию пришли и рассказы. Один из них был напечатан в восьмом номере журнала за прошлый год, со вторым вы можете ознакомиться в первом номере альманаха "Стрелец" за нынешний год, а третий рассказ, вы его услышите сегодня, будет напечатан во втором номере альманаха, который выйдет в апреле. Так что в каком-то смысле Владимир Набоков — автор "Стрельца" и с этой точки зрения проведение конференции, посвященной творчеству писателя именно Литературным русским центром "Стрелец", тоже естественно.

К сказанному я хотел бы только добавить, что материалы нашей конференции будут опубликованы тоже во втором номере альманаха.

Виктор ЕРОФЕЕВ

ПОТЕРЯННЫЙ И ОБРЕТЕННЫЙ РАЙ

Прежде всего я хочу поблагодарить Александра Глезера за то, что мы с Михаилом Эпштейном получили возможность приехать к вам и принять участие в этой конференции — инициативе очень важной и необходимой, поскольку пришла пора разобраться в сути того невероятного интереса, который Набоков сейчас вызывает и в Советском Союзе и во всем мире. Я хотел бы посвятить свое небольшое выступление как раз анализу вот этой темы, попытаться понять что же значит Набоков для современного русского читателя, живущего в метрополии. Я думаю, что, наверное, небезинтересно было бы начать с того, что же происходит сейчас реально в Советском Союзе с творчеством Набокова, то есть какие произведения уже становятся доступными читателю, какие еще и по каким причинам остаются недоступными, а потом попытаться проанализировать смысл возрождения или просто нового рождения творчества Набокова на его родине. Должен сказать, что волею каких-то судеб, не

особенно на это претендуя и не стремясь захватить первые места, я оказался очень тесно связан с изданием книг Набокова в Советском Союзе. Началось это еще полтора года назад, когда издательство "Книжная палата" предложила мне подготовить однотомник набоковской прозы, который выйдет в свет через несколько месяцев. Я его готовил самостоятельно, написал предисловие и включил в этот том произведения, которые несомненно должны вызвать большой интерес у советского читателя, но были до сих пор ему недоступны. Я имею ввиду прежде всего роман "Подвиг", который в Советском Союзе еще не был опубликован. Этот том выйдет тиражом в полмиллиона. В него включены также полностью, без каких-либо купюр, "Другие берега", изданные прежде дважды, но оба раза искажённые цензурой, и рассказы из трех его довоенных сборников. Работа над этой книгой была не сложной и достаточно спокойной, так как Набоков в какой-то мере уже раскрылся перед читателями, требовалось только дать какое-то развитие. Вторая моя работа по Набокову оказалась более живой, энергичной, динамичной и сенсационной. Дело в том, что я принял участие в подготовке к изданию в Советском Союзе "Лолиты", тоже написал к ней предисловие и как раз перед отъездом на парижскую конференцию прочел верстку этой книги. Конечно, издание "Лолиты" в СССР — сенсация. Нужно сказать, что мои друзья, писатели независимого направления, не верили в возможность появления у нас этого произведения. Я и сам к такой возможности относился скептически. В чем же сложность публикации "Лолиты"? Дело в том, и тут я уже буду говорить о смысле творчества Набокова и связи его с русской традицией, что даже среди огромного потока публикаций, которые сейчас обрушились на голову нашему ошарашенному и одновременно ошарашенному читателю, издание "Лолиты" — нечто невероятное. Ведь если попытаться сформулировать в двух словах что же приносит советскому читателю публикация ранее запрещенных книг, то это прежде всего политическое, социальное и отчасти религиозное откровение, то есть происходит ломка стереотипов в области общественного сознания. И вот читатель реагирует на все эти публикации в основном как на произведения, направленные на изменение того общества, которое создавалось на протяжении десятилетий, общества человеконенавистнического и прочее — о чем не мне вам здесь говорить. "Лолита" в плане восприятия имеет совершенно другую окраску. "Лолита" — прежде всего произведение, не имеющее не только политической, но и моральной однозначности. А русский читатель, проживающий у себя на родине, привык к тому, что книга должна иметь определенное и однозначное моральное назначение. "Лолита" же для русского читателя, как это я себе представляю, нечто вроде Ивана Сусанина для польского отряда, то есть читатель уводится в какой-то темный лес и никак не может понять к чему ведет автор, какие светлые моральные и экзистенциальные идеалы он, читатель, должен по мере прочтения книги обрести. И надо сказать, что так сложилась русская традиция, что читатель, конечно, имеет законное право

поставить этот вопрос. И, наверно, уникальность Набокова как раз и заключается в том прежде всего, если говорить о значимости его как писателя, связанного с определенной культурой, что в русской культуре он одним из первых, а, может быть, и первым, поставил вопрос о моральной неоднозначности тех событий, которые могут происходить в литературе. И, наверно, он этот вопрос поставил настолько остро и настолько сильно, что шок, получаемый от "Лолиты", это не эротический шок, поскольку, как известно, "Лолита" не такая уж эротическая, даже в скромных рамках русской литературы, книга. Это прежде всего шок моральный, шок от растерянности, который рождается в читателе, неподготовленном именно русской культурой к такому свободному восприятию мира. И хотя книга еще не вышла, уже идет огромный поток читательских писем, то есть читатели, какая-то их часть, только почувствовав, что должно произойти что-то вроде заклятия русской культуры, яростно протестуют против издания этой книги. Нужно было, скажу вам совершенно откровенно, обращаться в очень высокие и совсем не литературные сферы, в высокие партийные инстанции, чтобы обеспечить возможность издания "Лолиты" в Советском Союзе в кратчайшие сроки. И парадокс заключается в том, что высокое, почти высшее партийное начальство, взяло под свое покровительство эту тринадцатилетнюю американскую школьницу со всеми ее безобразиями, которые творятся на протяжении книги. Любопытно было и с тиражом. Ну, поскольку все понимали, что это сенсация, то решили в приложении к журналу "Иностранная литература" где в последнее время выходят различные произведения западной литературы, дать тираж вдвое превышающий обычный, то есть не пятьдесят, а сто тысяч. И так предполагалось, что половина, конечно, придет сюда, к вам, а остальная поступит в Магадан, как получилось с книгой Лосева о Соловьеве. Но тут вмешалось общество книголюбов – все-таки происходят радостные явления в нашей стране – и предложило отдать всю имеющуюся у него бумагу, чтобы издать "Лолиту" как можно большим тиражом. Так что, видите, бывает польза и от сбора макулатуры. Теперь "Лолита" выйдет тиражом не в сто тысяч, а в четыреста тысяч экземпляров, что даже по масштабам Советского Союза является достаточно внушительной цифрой, хотя, как вы понимаете, она все равно будет раритетом на следующий день после выхода. Интересно, что, с одной стороны, среди читателей имеющих полуинтеллигентную окраску, так скажем, ширится протест против издания "Лолиты", а с другой – новые либеральные партийные круги и ревностные энтузиасты русской культуры, объединяясь, такой вот странный симбиоз, пытаются издать "Лолиту" в нашей стране. Это, конечно, поразительно. Наверно, Набоков никогда не мог бы предположить, что он станет фигурой социально-значимой, станет в какой-то мере символом перемен, происходящих в нашей стране, по крайней мере в культурной зоне. Почему же он становится символом? Он становится символом перемен, потому что подавляющее большинство из того, что теперь публикуется очень быстро теряет свою значимость, так

как эволюция в культурной и социально-культурной сфере довольно стремительна. Если взять, к примеру, книги Айтматова или Рыбакова, то они утрачивают свою ценность буквально не по дням, а по часам. То же самое можно сказать и о пьесах Шатрова. То есть все эти произведения играют какую-то промежуточную роль в развитии культурной жизни и тут же, на следующий день, ее теряют. Набоков же выступает здесь в качестве очень важного ориентира, он как бы указывает в каком направлении русская культура может развиваться далее. Что значит далее? Если русская культура на протяжении нескольких последних десятилетий очень часто ставила перед собой прямые социальные и политические цели — или со знаком плюс (я говорю все это в кавычках) в соцреализме, или со знаком минус в диссидентской литературе, то Набоков, на мой взгляд, играет очень важную роль в преодолении этого полярного сознания, очевидно, необходимого в свое время, но все-таки недостаточного тогда, когда русская культура с яростью рвет и уничтожает сложившиеся стереотипы. И теперь, когда это семидесятилетнее общество потихоньку идет ко дну и деидеологизируется, необходимы какие-то экзистенциальные ориентиры. И вот здесь, как это не парадоксально, русское общественное мнение выбирает Набокова в качестве одной из путеводных звезд. Набоков становится писателем, который по крайней мере в двух отношениях необходим русскому читателю. Во-первых, что же делать в жизни, если не с кем бороться, что делать с нею и с ее экзистенциальным значением? Я не думаю, что Набоков мог бы дать все возможные ответы на этот вопрос, но любопытно, что именно к Набокову обращается наш читатель. Это что касается значения экзистенциального, о чем, повторяю, Набоков не мог бы и предположить. Второе значение — это, конечно, значение слова в русской литературе, потому что Набоков, безусловно, разрушитель советской литературы, в том смысле, что сейчас, когда выходят на первый план книги Набокова, то вся советская литература представляется в общем достаточно серой по мысли и беспомощной по стилю, превращаясь в абсолютно бессмысленный сурогат. Поэтому своим появлением Набоков производит огромный переворот, он выдвигает понятие литературы как самостоятельного и автономного мира, лишь опосредственно и косвенно связанного с миром реальным. Игра в культуре, игра в культуру, игра со словом и игра в слово, то есть все те понятия, которые у Набокова развиты и доведены до виртуозности, это — совершенная новинка для российской культуры. И через это русская культура должна непременно пройти, дабы обрести статус мировой культуры XX-го века. Таким образом, Набоков отчасти ликвидирует нашу культурную безграмотность, то есть совершает некий ликбез. Социальные функции Набокова и его реальное, конкретное значение, двоятся в парадоксальной перспективе, но, тем не менее, я считаю, что это совершенно необходимо, то есть и эта миражность, и это раздвоение, потому что большое, почти агонизирующее общество, конечно, не может породить какие-то здоровые феномены в плане рецепции. Но если

через это пройти, то мы обретем Набокова уже не просто как писателя великого и отстоящего на несколько шагов от нашей культуры, а мы обретем его как писателя, вошедшего в кровь и плоть нашей культуры, то есть произведем то, что нашей культуре необходимо.

И еще один парадоксальный момент, связанный с изданием Набокова, момент, который говорит о том, что Набоков из элитарного писателя скоро кажется станет массовым, настолько массовым, что разделит судьбы классиков девятнадцатого века. Я сейчас подготавливаю к изданию в приложении к "Огоньку" (а все эти издания имеют массовый тираж) четырехтомник Набокова. Меня просили включить в него те произведения, публикуя которые не нужно иметь дело с копирайтом (это понятно – валюты нет и, наверно, не будет), и я, решив не ломать жанровую монолитность этого издания, включил в четырехтомник всю прозу Набокова, написанную на русском языке, начиная с его ранних произведений и кончая "Другими берегами". Это издание выйдет тиражом в миллион семьсот тысяч экземпляров, что уже на уровне Пушкина, на уровне Шолохова... Но, уверяю вас, все равно оно уже на следующий день после выхода станет библиографической редкостью. Тем не менее, такой существенный тираж свидетельствует об определенных сдвигах в сознании.

Все-таки поразительно что творится не только в столичных, но и провинциальных головах. Как раз перед отъездом сюда я услышал, что в ростовском издательстве, которое узнало о том, что "Лолита" выходит в Москве, тут же возникла идея, которую они реализуют в конце года, издать "Лолиту" в Ростове. Конечно, тут есть момент сенсационности, безусловно, происходит бум, на который можно смотреть иронически, этак сверху вниз, с неким высокомерием... Но я хочу сказать, что сквозь суету, которая происходит вокруг Набокова, отчетливо проступает тот факт, что русская литература наконец решила искать новые дороги, то есть, переварив свой грандиозный опыт девятнадцатого века, переварив во многом двадцатые годы, отвергнув, как несуществующий, основную корпус советской литературы, она поняла, что дальше ее ждет тупик, если не искать тех мастеров, которые предлагают альтернативные варианты. И в этом альтернативном значении Набоков становится писателем номер один. Его значение для российской культуры может быть таким, к которому мы даже не готовы. Культурно-социальная ситуация, образующаяся нынче в России, действительно ставит Набокова на первое место. Поэтому значение конференции по Набокову переоценить невозможно. Мы в самом деле попали в точку, собравшись сейчас здесь и выявив ту фигуру, которой суждено будет сыграть огромную роль в развитии русской культуры в целом.

НЕМЕЦКИЙ МОТИВ В ТВОРЧЕСТВЕ НАБОВОКА В 20-е ГОДЫ

Поскольку собрались говорить о Набокове во Франции преимущественно русские и американцы, самым беспристрастным будет войти в набоковское творчество через Германию, как это сделал он сам.

Одно из основных занятий литературного критика – это определение той призмы, которую каждый писатель использует для преломления жизни в искусство. У Набокова взаимодействие языков и культур, которыми он владел, было одним из организующих принципов его творчества, и благодаря ему, производился отбор ассоциаций и намеков, столь характерных для этого писателя. Набоков подвел биографическую базу под это явление в двух разных интервью:

"Цветная спираль в стеклянном шарике – вот модель моей жизни. Дуга тезиса – это мой двадцатилетний русский период (1899-1919). Антитезисом служит пора эмиграции (1919-1940), проведенная в Западной Европе. Те четырнадцать лет (1940-1954), которые я провел уже на новой моей родине, намечают как будто начавшийся синтез"¹. И вторая цитата:

"Я рассматриваю себя как американского писателя, получившего воспитание в России и образование в Англии, пропитанного культурой Западной Европы. Я осознаю, что являюсь смесью, но даже самый прозрачный сливовый пудинг не позволяет распознать все его ингредиенты, особенно пока бледный огонь все еще мерцает вокруг него"². Как видно из метафоры сливого пудинга, Набоков обозначил свои американские произведения как синтез его культур. Подобное обоснование этого можно найти в моей монографии о "Белом огне", которая только что опубликована.³"Лолита" рассматривается в ней в виде синтеза русской и западно-европейской традиций в Америке. И в обоих романах французский язык играет роль переводчика. Набоковская Россия, как он описывает ее в "Других берегах", это – место идеального прошлого. Набоков ассоциирует его с цветным стеклом, радугой, бабочками и началом поэзии, которая увенчала совершенное детство, основанное на взаимной любви между ним и его родителями. Потеря всего этого представлена в творчестве Набокова как своего рода эхо или пародия отделения от идеального пространства, которое мы теряем, рождаясь на свет, и вновь обретаем, умирая, словно наша восхитительная земная обитель является лишь бледным отражением вечного существования. Поэтому Кинбот "умирает", когда покидает свою пародию идеального пространства, Земблю, ради Америки, путаясь в шоколадного цвета занавесе и выпадая из Земблянского театра бытия.

Набоков представляет французскую культуру в своем творчестве как связующее звено. Гумберт и Кинбот приезжают в Америку из Франции, в то время как Шекспир, Оссиан и Байрон достигают России во французском переводе. Ну а что же с немцами? В одном из своих извилистых и преувеличенных заявлений, которые он делал, чтобы избежать слишком легких решений проблем его творчества, Набоков утверждал, что он вовсе не знал немецкого. Но он утверждал также, что литературный топос двойника скучен, а в то же время терпеливо перерабатывал его во многих своих вещах.

Как мы можем в таком случае определить, какую роль играла немецкая культура в творчестве Набокова? Читая Набокова целенаправленно и используя мою интерпретацию "Бледного огня", я хотела бы высказать предположение, что истоки ранних произведений Набокова, а именно прозы и пьес, написанных в Берлине в 20-х—начале 30-х годов, заложено потрясение, которое он испытал в связи с убийством отца, и что сами эти произведения представляют собой попытки преодолеть отчаяние через искусство. Случайное убийство Джона Шейда в "Бледном огне" умышленно напоминает о "той ночи в 1922-ом году, когда в Берлинском зале мой отец заслонил Милукова от пули двух темных негодяев, и, пока боковым ударом сбивал с ног одного из них, другим был смертельно ранен выстрелом в спину"⁴ Набоков сказал как-то, что он "переплел... собственное существование, выдумывая Кинбота."⁵ И действительно, пытаюсь расшифровать сотни скрытых намеков в "Бледном огне", видишь, что все они связаны с центральной темой: мстью сына за убийство отца. Кинбот — это Чарльз 2-й Зембли, но отец короля Англии Чарльза 2-го был смещен со своего трона Английской революцией и обезглавлен. В "Бледном огне" многократно упоминаются, как литературные, так и исторические персонажи, убитые и изгнанные английские монархи, начиная с эпохи Альфреда Великого. Самой важной для многочисленных набоковских целей является история шекспировского Гамлета. Прощальные слова призрака короля, адресованные сыну, дают даже название для романа, а наказ короля Гамлету: "Помни меня!" — Набоков относит к себе. В "Бледном огне" Набоков удовлетворяет свою жажду мести, изображая земблянских революционеров-бандитов, которые путают свои коды в Дании, и отвратительного Градуса, который моет "одну руку" после посещения туалета.

Первые пьесы Набокова появились в "Руле" в 1923 году, через год после смерти Владимира Дмитриевича. "Смерть", "Дедушка" и "Полюс" по отдельности трактуют темы и мотивы, которые позднее переплетаются в "Бледном огне". Первая из этих вещей связана с двусмысленностью смерти любимого человека, и действие происходит в Англии. Действие "Дедушки" происходит во Франции: безумный палач в конце концов настигает свою жертву, которая избежала гильотины во время Французской революции. Это — перенос запоздалой смерти Владимира Дмитриевича от рук безумца, после того, как он избежал Русской революции. Эхо этой

ситуации слышится и в "Бледном огне", когда Кинбот думает, что Градус преследует его по приказу земблянских революционеров. "Полюс" посвящен смерти Скотта на Северном полюсе, в отдаленном северном крае, который *terra incognita* иного мира. Мотив географического путешествия ассоциируется в "Даре" со смертью отца Голунова-Чердынцева. Для Набокова, первооткрывательство является метафорой попытки различить отдаленное мерцание потустороннего, которое мотивировано, как теперь оказывается, желанием воссоединиться со своим отцом. Эндрю Филд процитировал в своей книге письмо Набокова матери на эту тему: "Мы вновь увидим его, в неожиданном и совершенно естественном раю... Он шагнет к нам в нашей общей ясной вечности... Все вернется"⁶.

Вещи, написанные в 20-х годах, могут быть прочитаны и как размышления Набокова о своем отце. Такая гипотеза подтверждается его более поздним романом "Дар", который рассказывает историю ученичества Федора, молодого русского писателя-эмигранта в Берлине, который пытается написать биографию отца и в конце концов вознаграждается вполне осязаемым визитом отца из вечности. Уже при первом чтении сборника рассказов "Возвращение Чорба" очевидно, что его центральные темы – это смерть и изгнание. Эти рассказы были написаны в период с 1924-го по 1929-й год в Берлине. Девять из них повествуют о смерти любимого человека, а в двух случаях – самого героя. В 1976 году Набоков опубликовал английские переводы восьми из этих рассказов, в "Подробностях одного заката", добавив еще пять рассказов, написанных в начале тридцатых годов. В числе последних находится рассказ "Лебеда", написанный через десять лет после смерти Владимира Дмитриевича. (Как выяснилось, Набоков продолжал помнить эту дату, потому он что написал поэму "Восстановление" в марте 1952 года, вероятно, в связи с тридцатой годовщиной смерти отца). "Лебеда" – это рассказ, впоследствии переботанный в "Других берегах", о детской тоске Набокова в связи с предстоящей отцу дуэлью. И так же, как в мемуарах, Набоков ищет предзнаменования грядущей смерти отца, но собственно этому событию посвящает лишь несколько процитированных выше строк, так и эти рассказы являются вариациями на тему потери любимого существа, лишь с косвенной ссылкой на ту первоначальную потерю, которая их породила.

В четырех сборниках рассказов Набокова на английском языке, опубликованных в 1958, 1973, 1974 и 1975 годах, каждый раз двенадцать либо тринадцать рассказов; казалось бы, что у Набокова была система отбора рассказов, тем более, что в "Набоковской дюжине" их 13, ибо это, на самом деле, – чертова дюжина. В своем комментарии к "Евгению Онегину" Набоков объясняет, что разница между Григорианским и Юлианским календарем выросла с 12-ти до 13-ти дней между девятнадцатым и двадцатым столетием, и Набоков использует эти числа в своем творчестве, чтобы обозначить мост между двумя столетиями и

двумя мирами. Чередование 12-ти и 13-ти обозначает ведущую тему сборников: потеря, через изгнание и смерть, своей страны и культуры, детства и отца. Эта идея тесно связана с двоemiрием Набокова: прозаизм повседневной жизни в сравнении с блеском иного мира с игривостью приложен к жизни эмигрантов в Берлине в сравнении с их утерянным русским прошлым. Именно этот подход разработан в "Занятом человеке" (1931). Эмигранту Графицкому приснилось в детстве, что он умрет в возрасте 33-х лет (Это не только возраст Христа, но и обратимое число). Его одержимое роковой датой сближает его с Пушкиным. Графицкий запирается в своем берлинском пансионе, чтобы дожить остаток своего 33-го года, и затем справляет свой 34-й день рождения. Повествователь комментирует: "Он не подался соблазну праздновать рождение на один день раньше, как лукаво предлагала ему сомнительная выкладка. (стр.171) "В английском переводе добавлено объяснение: "он родился в прошлом столетии, когда 12, а не 13 дней разделяли старый и новый стиль."

Заметьте, что счет тут ведется назад: зеркальное отражение двух столетий перевернуло разницу в календарях, которая уменьшилась, а не выросла. На свой день рождения Графицкий приглашает трех русских эмигрантов и свою немецкую хозяйку, которая "была скуластая, корявая, с веснушками на шее, в парике фарсовой тещи, в шумящем лиловом платье". (стр.172) Хозяйка одолжила ему рюмки по этому случаю, и рассказ завершается в тот момент, когда восходящее солнце утра 34-го года жизни Графицкого создает в них маленькие радуги.

"И было все как-то мягко и светло, и загадочно, — как будто он чего-то не понял, не додумал, а теперь уже поздно, и началась другая жизнь, — все прежнее отпало, и совсем, совсем умерло пустяшное воспоминание случайно вызванное из далекой скромной обители, где дотягивало оно свой незаметный век" (стр.174) Зная символику Набокова: фиолетовый как невидимый цвет в конце спектра, фарс повседневной жизни в перспективе вечности, радуга и цветное стекло, которые связаны с художественным видением и жизнью после смерти — мы воспринимаем немецкую хозяйку пансиона как повивальную бабку игрушечной вечности Графицкого: он уже умер в Берлине, так же, как Кинбот умер, эмигрировав в Америку, или как "Человек из СССР", Оживенский, продолжит жизнь у Энгельса, на Райской улице.

В "Событии" роль повивальной бабки смерти играет другая немецкая дама, которая приняла ребенка Трошейкиных. Ее зовут Элеанора Шнап. Ребенок затем умер, и Элеанора присутствовала при похоронах. Она без приглашения пришла на именины матери Любови Трошейкиной. И подобно хозяйке на дне рождения у Графицкого в "Занятом человеке", Элеанора также надела фиолетовое платье. Она — близкая приятельница убийцы Барбашина, который сам является персонификацией надвигающейся смерти, которой ожидают все действующие лица на протяжении пьесы.

Имя Элеанора важно для Набокова: когда он перевел на английский в 1971 году "Ультима Туле", он дал это имя сестре

Адама Фальтера, вновь ассоциируя его со смертью. Важность этого имени вытекает из баллады Густава Августа Бюргера "Ленора", основанной на английской балладе и переведенной Жуковским на русский язык. В этой балладе Ленора ожидает своего возлюбленного, который воюет в дальних краях. Его призрак возвращается ночью и уносит ее верхом на лошади на их брачное ложе: могилу, которую она разделяет со скелетом. Набоков пародирует этот сюжет в одном из своих ранних рассказов, написанном в 1924-ом году в Берлине. В нем муж хитростью заманивает жену лечь в постель со скелетом, и это приводит к ее смерти. Муж привез скелет в Лондон из Берлина, так же как Набоков вернул балладу "Призрак бедного Уиляма" в Англию из Германии. Сюжет "Леноры" лежит и в основе "Возвращения Чорба". Русский эмигрант Чорб женится на немецкой девушке. Ее родители приготовили их брачное ложе, и на подушке готическим шрифтом вышито: "Мы вместе до гроба". Молодая пара удирает после брачного ужина и проводит ночь в дешевом отеле, и все же вскоре смерть приходит за женой Чорба.

В ретроспективе мы можем видеть, что "Возвращение Чорба" связано с собственными переживаниями Набокова, ибо этот рассказ ассоциируется с несколькими мотивами, известными по "Другим берегам" и по стихотворениям Набокова. После смерти жены, Чорб пытается удержать ее в памяти, вновь проделывает путешествие, которое они совершили вместе. Он замечает цветные камушки на пляже в Ницце. Они уже известны нам по мемуарам Набокова, когда он описывает свое детство на Ривьере, а затем они вновь присутствуют при попытке Гумберта воссоздать память о Аннабелле, а также находятся в шкафу Кинбота в Земблянском дворце. Чорб вспоминает зеленый, бутылочный цвет глаз жены, а в одном из стихотворений Набоков ассоциирует зеленое бутылочное стекло с поместьями своей семьи:

Так, иногда, купальщикам
На песчаном берегу
Маленький мальчик принесет
Что-то в кулачке руки

Будь то камушек с фиолетовым разводом
Или крошечный зеленый осколок бутылки,
Он несет его торжественно.
Это – Батово.

Это – Рождественно.⁷

В набоковском новом переводе "Леноры", любимого уносит Германия или немецкая культура, а любимый этот для Набокова – его русское прошлое. На этой идее основаны рассказы "Подлец" и "Сказка". От героя первого из них, Антона Петровича, жена Таня уходит к некоему Бергу (который в этом рассказе ассоциируется с "Волшебной горой" Манна). А.П. вызывает Берга на дуэль. И с ужасом ожидая верной смерти от руки Берга, А.П. сравнивает свою ситуацию с дуэлью в "Евгении Онегине". Немец Берг крадет русскую Таню у А.П. Таня – это воплощение музыки Пушкина и,

соответственно, символ русского литературного наследства; из этого следует, что немецкое изгнание стирает все, что "Онегин" означает для русского человека.

В "Сказке" герой встречается с дьяволом, воплотившемся в немку средних лет. Она предлагает ему осуществить его фантазию: гарем из тех женщин, которые вызывают его восхищение на улице, при условии, что число их будет нечётным. И когда он пытается достичь нечетного числа, выбрав в последний момент 13-ю женщину, оказывается, что он выбрал одну и ту же женщину дважды: тринадцатая женщина – эта та же женщина, которую он выбрал первой. То, что казалось тринадцатую, оказывается двенадцатую. Немецкий черт соблазняет героя осуществлением его желания, а потом лишает его всего. Желание проваливается в заколдованное пространство между двумя столетиями и двумя культурами, как снова намекает чередование 12-ти и 13-ти. На другом уровне это чередование приводит к крушению пространства: как замечает Набоков в своем Комментарии к "Евгению Онегину", "12 января 1799 и 13 января 1800 в разных местах мира могут быть оба новогодним днем в России (том 1, стр. ХХIV)

Теперь мы можем понять, почему две немецкие баллады, "Ленора" Бюргера и "Лесной царь" Гете, обе были, кстати, переведены на русский Жуковским, играют такую странную центральную роль в американских романах Набокова. Развязка и "Лолиты", и "Бледного огня" смоделирована по балладам, в которых любимое дитя или рукопись выносятся на крупе лошади таинственным духом. В "Лолите" Гумберт задумывает Куильти как "гетеросексуального Лесного Царя", который утаскивает Лолиту, и поездка на запад, куда Куильти увозит Лолиту, начинается со ссылки на бюргеровскую "Ленору": увозя Лолиту домой из телефонной будки, Гумберт взывает к ней: "А теперь, оп, оп, оп, Ленора, а то вымокнешь". В "Бледном огне" Кинбот ведет Шейда с рукописью через лужайку к смерти, и их сопровождает треньканье подков, которые кто-то швыряет где-то поблизости.

В 50-х годах, Набоков уже мог говорить об Америке как о стране синтеза в диалектике его русской и английской культур. В 20-х годах, на его русское прошлое накладывалась лишь Германия. Как говорит Набоков в "Других берегах", задача художника – находить мотивы в жизни. Набоков находит ранние признаки трагедии изгнания и смерти, которая произошла с его семьей в Берлине, во время путешествия в этот город ребенком. Их немецкий воспитатель, которого Набоков описывает как убогую посредственность, повел Набокова и его брата к американскому зубному врачу на улице, называемую "Ин ден Цельтен". "Цельт" по-немецки означает "палатка", и это слово, по ассоциации с местом, где Набоков написал свое первое стихотворение, и со словом "бабочка" (франц. "павийон" и "папийон"), становится в "Других берегах" Набокова символом доступа к возвышенному. Помещая зубного врача на улице с таким названием, Набоков подчеркивает оппозицию между повседневностью и трансцен-

дентальным в своем творчестве. Это сделано откровенно в "Ультима Туле", когда Синеусов говорит своей мертвой жене: "Ангел мой, ангел мой, может быть, и все наше земное ныне кажется тебе каламбуром, вроде ветчины и вечности"⁸.

В берлинских рассказах зубной мотив вновь появляется в "Звонке". Сын (русского происхождения) разыскивает мать, которая живет в эмиграции в Берлине. Он случайно находит ее адрес через петербургского зубного врача д-ра Вайнера, который эмигрировал и обосновался в Берлине. И хотя это оказывается "не тот Вайнер" (как "не тот Шиллер" в гоголевском "Невском проспекте"), этот немецкий двойник тем не менее знает, где живет мать молодого человека. Но вместо возвышенной встречи с отцом, которую Набоков предвосхищает, у сына происходит гнусная встреча с чересчур накрашенной матерью, которая ожидает молодого любовника и просит сына уйти, хотя они не виделись семь лет.

В рассказе "Подлец" зубной врач ассоциируется с неизбежной смертью: партнер А.П. по дуэли, Берг, доказал свою меткость в стрельбе в тире, где он стреляет в мишень, картонного зубного врача: "Пулька, попав в цель, освобождала пружину, и картонный дантист выдергивал огромный зуб о четырех корнях" (стр.120).

Как показал Пушкин в "Пиковой даме" и Гоголь в "Невском проспекте", в немецкой культуре существует явственная двойственность между ее мирским аспектом и мистическим миром признаков немецкой литературы. В набоковской "Сказке", герой получит гарем от женщины-дьявола на улице Гофмана; в русском эмигрантском контексте имя Гофмана соотносится не только с немецким автором волшебных сказок, но и с гоголевским использованием его для обозначения немецких мастеровых в России, короче, речь идет "не о том Гофмане". Пародийные намеки на Бюргера, Гофмана и Гете у Набокова связаны с его идеей двоемирия немецкого романтизма и его метаморфозой в русской традиции.

И, как мы уже видели, Набоков связывает это со своим немецким изгнанием. Но если сравнить его берлинские рассказы и пьесы с более поздними американскими романами, становится особенно очевидным, что немецкие баллады несут для Набокова болезненно личную ассоциацию: набоковские пародии немецкого призрака, который уносит любимое дитя или женщину, как это происходит в "Лесном царе" и "Леноре", являются метафорами Берлина, который унес отца Набокова и вместе с ним детство писателя.

Сами же рассказы являются средством преодоления потери. Наряду с девятью рассказами о смерти в сборнике "Возвращение Чорба", там есть и рассказы о секретах преодоления смерти. В "Пассажира" герой обсуждает связь искусства с жизнью: "Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать неслыханным" (стр.146).

Это именно то, что Набоков сделал с немецкой литературой, связав ее со своей личной судьбой. И в рассказе "Благость" Набоков делает признание, которое мотивирует все его творчество:

"Я понял, что радость, которую я искал в тебе, не только в тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благодатное волнение, подарок, неоцененный нами"(стр.162-163)

- 1 Другие берега", изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр.235-6
- 2 Strong Opinions , N.Y., Mc Graw Hill, 1973, p.192
- 3 Priscilla Meyer, Find What the Sailor Has Hidden, Middletown, Wesleyan University Press, 1988
- 4 В.Набоков "Другие берега", стр.177
- 5 V.Nabokov, Strong Opinions, NY, Mc Graw Hill, 1973, p.77
- 6 Andrew Field. Nabokov:His Life in Part, NY, Viking Press, 1977, p.181
- 7 Vladimir Nabokov, Poems and Problems, NY, Mc Graw Hill, 1970, p.149
8. "Весна в Фиальте и другие рассказы", стр.278. В английском переводе каламбур "ветчины и вечности" заменен на "dental" и "transcedental", т.е. "зубной" и "трансцендентальный".

Юрий МАМЛЕЕВ

САРКАЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ НАБОКОВА

Набоков – несомненно один из величайших писателей-модернистов, писателей – нетрадиционалистов двадцатого века, его имя среди крупнейших имен этого течения, таких как Джойс, Музиль, Булгаков, Платонов, Кафка, Борхес, Беккет, Габриэль Маркес, Андрей Белый, Фолкнер...

Нетрудно увидеть, что в творчестве большинства этих писателей ирония, черный юмор играет весьма значительную роль – это явно один из признаков литературы двадцатого века, века страданий, абсурда, открытого и замаскированного издевательства над людьми. У Набокова ирония и черный юмор нередко переходят в откровенный страшный сарказм, объектом которого по существу становится не только современное общество, но и сам человек. Разумеется, реализован этот сарказм чисто художественными методами, а не декларативно.

Это особенно очевидно на примере одного из лучших его романов – "Приглашение на казнь". Об этом романе написано довольно много, и обычно считается, что объектом сатиры здесь является некое тоталитарное или коллективистское общество будущего, одна из функций которого – подавление и даже уничтожение

людей, выходящих за определенные социальные и духовные стандарты. Все это действительно так. Но, на мой взгляд, виденье Набокова идет гораздо дальше, и оно гораздо глубже, его предметом становится вечное зло — то зло, которое глубоко запрято в человеке, существует и существовало всегда и везде, и которое неизменно — в той или иной форме — проецируется на общество и человеческие отношения. Ирония и черный юмор здесь явно переходят у Набокова в художественный сарказм, язвительную и беспощадную насмешку, над самыми казалось бы неприкосновенными человеческими отношениями, даже на отношения между матерью и сыном.

Человеческие связи в этом романе — и к этому моменту мы еще вернемся — показаны в совершенно перевернутом виде, их характер полностью противоположен традиционным или гуманистическим отношениям между людьми. И писатель имел на это право — ибо в двадцатом веке оказалось поколебленным все, даже самое святое..

Само знаменитое начало романа уже придает всей книге саркастическую направленность: "Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шопотом. Все встали, обменяв улыбки. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал".

Мы видим, что герою романа Цинциннату — которого заключили в тюрьму и который вынужден там ждать, когда назначат время казни — приходится пройти через целую серию невыносимых утонченных издевательств, кошмаров. И большинство из них показаны как проявление затаенного психологического садизма, запрятанного в глубине самых обычных, самых обыкновенных человеческих существ, которых полно на улице в любом городе...

Жестокость антиутопического общества и вечное зло внутри человека — объединены в этом романе в одно целое.

Директор тюрьмы — после вынесения смертного приговора — приходит к Цинциннату в камеру и говорит:

"А вот почему смею спросить вы не притронулись к пище?"

Или еще убедительней, сцена с тем же директором тюрьмы: "Ну, а как нонче наш симпатичный смертник, — пошутил эlegantный, представительный директор ... — Все хорошо? Ничего не болит?"

Жизнь Цинцинната в тюрьме, сам процесс ожидания казни, превращается в фантазмагорию, благодаря подобным выходкам и подобному отношению. Да и циркуляры в тюрьме достаточно сюрреальны — запреты распространяются даже на сферу ночных сновидений.

Вершиной этого полубредового садизма является поведение мосея Пьера — появившегося в камере смертника. Этому человеку предназначено быть палачом, отрубить голову Цинциннату, но до совершения этого акта палач должен познакомиться со своей жертвой, пожить с ней одной духовной и даже бытовой жизнью, обедать с ним, чтобы жертва по привычке к палачу и тем самым ей был бы облегчен путь на эшафот.

"Какие мы печальные, какие нежные – обратился мосье Пьер к Цинциннату, вытягивая губы, как если бы хотел рассмешить надувшегося ребенка – Все молчим да молчим, а усики у нас трепещут, а жилка на шейке бьется, а глазки мутные..."

Здесь уже злорадство – один из самых страшных грехов, противоположность состраданию – проявляется во всю ширь своих необъятных, заложенных в человеке, возможностей.

С одной стороны мы видим в этих отношениях между Цинциннатом и Пьером – один из архетипов отношения между палачом и жертвой, правда довольно патологический. Но главное, обратим внимание на то, что все человеческие отношения в этом романе являются извращенными, противоположными традиционным религиозно-нравственным отношениям в такой же мере, пожалуй, в какой злорадство противоположно состраданию.

Ибо в традиционных случаях казнь преступника и приготовление к ней не сопровождается все-таки разгулом садистских психологических упражнений, а отношение жены к приговоренному (и тем более матери) – мало походят на то, что изображено Набоковым. Но в этом изображении – правда двадцатого века; даже в девятнадцатом веке такой роман вряд ли мог бы быть написан, а если и был бы написан, не исключено, что автору грозило бы тюремное заключение или остракизм за клевету на человечество (вспомним заключение в тюрьму маркиза де Сада, судебный процесс над Бодлером и Флобером). Но другое дело психология человека двадцатого века – если жизнь полна противоестественных кошмаров, то почему этому не быть в литературе?

И, наконец, апогей романа – приближение казни и ее совершение. Садистская фантазия Пьера прямо кипит при этом, например, когда он красочно описывает Цинциннату соблазнительные картины чувственного мира, из которого приговоренный скоро уйдет навсегда.

И наконец за два дня до казни мосье Пьер заключает:

"Представление назначено на после-завтра... на Интересной площади... Совершеннолетние допускаются... Талоны циркового абонемена действительны..."

Любопытны также увлечения палача: "Фотография и рыбная ловля – вот главные мои увлечения (говорит он). Как это вам не покажется странным, но для меня слава, почести – ничто по сравнению с сельской тишиной". (Кому как не мосье Пьеру, кстати, знать тщету человеческого тщеславия).

Сарказм Набокова реализуется таким образом чисто художественными средствами: блестящим показом зловещих, внешне-абсурдных сцен, в которых как бы обнажаются многие злокачественные духовные опухоли человеческих существ. Сам автор, разумеется, как истинный представитель чистого искусства, не вмешивается в ход повествования, но совершает свой собственный авторский суд над своими героями.

Конечно, в этом романе есть и другие важнейшие стороны: например изображение неустойчивости, призрачности всего земного мира, даже неправдоподобности его. Это видно из описаний

самого момента казни и переживаний, озарений даже, Цинцинната, когда его везут на площадь.

Но это уже совсем иной — мистический — аспект романа.

Мы же можем заключить, что объектом беспощадного набоковского сарказма в этой книге является сама жизнь в нашей современной цивилизации и человеческие отношения в ней. Его сарказм идет гораздо глубже простой социальной сатиры, антиутопии Орвелла, например, не говоря уже о том, что по силе художественного дарования этих писателей невозможно сравнить.

Думаю, что мир, который описал Набоков — это мир перед концом Света, ибо человеческие отношения, человеческая реальность в нем настолько перевернуты, что являют собой полную противоположность того, какими должны быть человеческие отношения и сам человек. Следовательно, это как бы обратный мир — антимир по отношению к нормальному, но именно такой мир и должен быть перед концом света.

Таким образом, философский смысл сарказма в этом романе состоит, на мой взгляд, в том, что он описывает современный мир — или его проекцию в близкое будущее — как последний...

Борис ТИРАСПОЛЬСКИЙ

ДВА ТЕАТРА

(Размышления театрального режиссера по поводу романа Владимира Набокова "Приглашение на казнь")

Даже при первом и самом поверхностном прочтении текста романа Владимира Набокова "Приглашение на казнь" в глаза со всей очевидностью бросается то, что я называю подчеркнутой "театральностью" этого замечательного литературного сочинения. Толпа в романе — "зрители"; протокол ритуала казни — "программка"; адвокат и прокурор для соответствия своим "ролям" — "гримируются"; сама казнь — "представление", на которое "талоны циркового абонементов действительны"; главный герой романа Цинциннат Ц. характеризует все происходящее как "вздорную пьесу"; и т. д. и т. п. В романе также широко используются диалоги, монологи и даже ремарки, заключенные в скобки, являющиеся неотъемлемой частью всякого драматического произведения.

Во избежание недоразумений я сразу же хочу определить рамки своего выступления. Я — театральный режиссер и все, что я могу здесь сказать — это мысли режиссера по поводу романа. Прочитал я его в ранней молодости и с тех пор он оказал и оказывает значительное влияние на мои поиски в театре.

Употребленный мною термин "театральность" в применении к "Приглашению на казнь" требует некоторого уточнения. Под "театральностью" набоковского романа я подразумеваю совокупность формальных приемов и всей системы образов, дающих довольно полное представление о некоем особом *театральном действе*, о котором пойдет речь ниже.

Если попробовать описать это театральное действо в наиболее общем виде, то выгладит оно примерно так: ОДИН и единственный ЗРИТЕЛЬ (Цинциннат Ц.) окружен ГРУППОЙ "АКТЕРОВ" (Родрион, Родриг Иванович, Пьер, Эммочка и др.) и этот единственный "зритель" одновременно главное действующее лицо всех происходящих событий.

Согласитесь, что театральное действо, в котором один и единственный зритель, к тому же вступающий во взаимодействия с актерами на правах главного действующего лица, мягко выражаясь, необычно.

Оно настолько необычно, что вызывает вполне резонное сомнение в праве на существование даже у театрального специалиста. Театр Одного Зрителя (по аналогии Театра Одного Актера) — плод ли это воображения Владимира Набокова и только, или здесь нечто большее — некий принципиально иной *тип театра*?

История театра знает традиционное, ставшее триумфом, разделение театра на мистериальный и светский. Однако, внутри последнего происходит разделение не менее драматическое, глубокое, чем упомянутое традиционное. Это два идейных противника, которые несмотря на общие корни противостоят друг другу, как свет и тень. Парадоксально то, что все это не мешает им пользоваться элементами друг друга, что в конечном счете затрудняет их классификацию и в большой степени создает прочно установившуюся иллюзию существования лишь одного, а как многие полагают единственного, типа театра со всем присущим ему разнообразием форм, жанров, проблем и так хорошо знакомого каждому.

Я называю этот знакомый тип театра условно — "Театр развлечения". Сразу подчеркиваю, что название это ни в малейшей степени не унижает достоинства театра в целом, а тем более его деятелей, отдавших и отдающих "Театру развлечения" свой талант. Название это лишь определяет природу и цели этого типа театра, основной и преобладающей задачей которого является *развлечение*. Именно — развлечение почтеннейшей публики (Интеллектуальное, эмоциональное.) С этим постулатом согласны все его деятели, включая самых значительных. Так, к примеру, выступая перед учениками и актерами Художественного театра 10 марта 1911 года К.С. Станиславский произносит (привожу цитату в обратном переводе с английского): "Мы никогда не скажем, что театр — это школа. Нет, театр — это развлечение."

Характерно, что в приведенном высказывании К.С. Станиславского противопоставление обоих типов театра, о которых говорю я, выражено более чем непрозрачно. "Театр развлечений" со всей решительностью и определенностью противопоставлен "школе". Поскольку основная и преобладающая задача "школы"

может быть определена как *познание*, второй тип театра я условно назову – "Театр познания".

Итак, перед нами действующие лица драмы, разворачивающейся на протяжении всей истории развития немистериального театра, и напоминающей отношения Сирано де Бержерака и Кристиана в пьесе Ростана. "Театр развлечения" и "Театр познания" – два соперника влюбленных в одну и ту же "Прекрасную даму" – театр.

"Театру развлечения" свойственны две основные тенденции. Одна – тенденция, ведущая, если так можно выразиться, к "развлечению для развлечения". В пределе этого зрелищные формы, которые даже театром в обычном смысле называться не могут. Это цирк, мюзик-холл, развлекательные шоу и т.д., и т.п... Вторая тенденция "Театра развлечения" – тяготение к содержательности. (Здесь-то и начинаются его заимствования из "Театра познания"!)

Негативным последствием тенденции к содержательности я бы, пожалуй, определил такую ситуацию, при которой "Театр развлечения" присваивает себе несвойственную ему функцию общественного института, самоуверенно убежденного в том, что он может и имеет право учить зрителя тому, как надо жить. Тем не менее, тенденция к содержательности, особенно полно проявившаяся в новейшее время, оказала, несомненно, позитивный эффект на развитие "Театра развлечения", открыла для него новые возможности и новые формы. Но эта же тенденция помогла "Театру развлечения" полностью узурпировать место по праву принадлежащее "Театру познания". Благодаря таким деятелям театра – оригинальным, талантливым, ищущим – как Антонин Арто, Жан-Луи Барро, Питер Брук, Михаил Чехов, Ежи Гротовский, Евгений Шиферс, Ефим Лифсон и др., доведших тенденцию "Театра развлечения" и содержательности до самоцели, возникла парадоксальная ситуация, в которой "Театр познания" отступил в тень, нашел себе прибежище и стал ждать своего часа, как природа зимой ждет своего воскресения с первым теплом.

Для того, чтобы разобраться в довольно сложных и весьма запутанных отношениях сложившихся в современном театре между нашими соперниками, я позволю себе дать более или менее точный критерий, по которому каждый из них может быть вычленен и ясно увиден. Таким критерием, если хотите лакмусовой бумажкой, выявляющей "кто есть кто", становится отношение "Театра развлечения" и "Театра познания" к... зрителю и месту зрителя в самом зрелище.

В "Театре развлечения" место зрителя определено раз и навсегда – зритель в большей или меньшей степени *отделен* от актера. Между ними *всегда* существует дистанция. Кроме того, зритель в "Театре развлечения" является объектом, на который любимыми способами (иногда не очень деликатными) пытаются *воздействовать*.

В "Театре познания" зритель – *действующее лицо* (в идеале – *главное действующее лицо*). Актеры *взаимодействуют* со зрителем-участником в самом непосредственном смысле этого

слова. В "Театре познания" нет разделения на зрителей и актеров, тогда как в "Театре развлечения" такое разделение неизбежно. (Все попытки удачные и неудачные вовлечь зрителя в действие в "Театре развлечения" – еще одно заимствование из "Театра познания".) "Театр развлечения" без зрителя не существует. "Театр познания" не существует со зрителем.

Когда я дохожу в своих размышлениях до этого места я всегда слышу голос воображаемого, и иногда реального оппонента: "Ну, брат, ты ври, да не завирайся! Где же это видано – театр без зрителя? А то, что написано у Набокова в "Приглашении на казнь" – это литература!

Увы, я вынужден огорчить моего оппонента – "Театр познания" не плод воображения Владимира Набокова и моих досужих домыслов, "Театр познания" – объективная реальность. Он существует, всегда существовал, и я смею утверждать у него большое, если не сказать великое будущее. Более того, я знаю лично довольно большое количество людей постоянных участников его представлений. И один из них, я – ваш покорный слуга...

Несмотря на все гонения и беды, которые претерпел и претерпевает "Театр познания", любые попытки дезавуировать его обречены на провал. Происходит это по простой причине – "Театр развлечения" фактические не может существовать без "Театра познания". Так косноязычный Кристиан нуждается в помощи Сирано. Особенно полно выявилась эта зависимость в театре новейшего времени с появлением фигуры, ставшей доминирующей в современном театре – фигуры театрального режиссера.

Режиссер, репетирующий с актером – это и есть "Театр познания", который живет своей полнокровной, хотя и весьма короткой жизнью до момента встречи спектакля со зрителем, до премьеры. Во время репетиции режиссеру и актеру сторонний наблюдатель – зритель – не нужен, а в некоторых случаях даже противопоказан. И режиссер, и актер участники действия, основная и преобладающая задача которого есть *познание*. С момента премьеры, появления зрителя, "Театр познания" отступает в тень, давая "Театру развлечения" беззастенчиво пользоваться плодами чужих трудов – успехом, славой, аплодисментами... Режиссер – главное действующее лицо "Театра познания", находит новую пьесу, начинает ее репетировать с актерами и все повторяется сначала...

Спросите любого профессионального режисера и актера – что самое интересное в театре и вы услышите в ответ одно и то же – репетиция. *Театральная репетиция* и есть современная форма "Театра познания". И ничего более увлекательного, захватывающего, мучительного и прекрасного в театре не существует! И добавлю – ничего более важного...

Но возможно ли вывести "Театр познания" из нынешней элитарной его формы в более, что ли, демократическую? Может ли в нем участвовать любой желающий? Ответ на этот вопрос однозначен – да!

"Театр познания" поразительно пластичен по своей природе. Он может не только принимать различные формы, но обладает

также способностью бесконечного расширения (в пределе, по-видимому, в нем может участвовать все человечество). В истории культуры примером такого расширенного действия может служить средневековый карнавал, равно и все более древние и более поздние формы зрелища без разделения на актеров и зрителей. Сверхпластичность "Театра познания" это так же его способность почти бесконечно сужаться (в пределе до двух человек). "Театр познания" находит для каждого времени свои формы, но главное – ему изначально присуща способность быть не только театром для избранных. Обладая многообразием исторических форм, "Театр познания", я убежден, найдет новые, еще неизвестные.

Для меня лично практически осуществимой формой "Театра познания" является действие очень похожее на то, что описано в романе Владимира Набокова "Приглашение на казнь" – один и единственный зритель, окруженный толпой актеров, и этот зритель одновременно главное действующее лицо всех перипетий и коллизий. Группа (два, три – минимум) специально подготовленных "актеров" создает запланированную психофизическую "реальность", в которую по собственной воле входит любой желающий. Он – один. Между "зрителем" и "актерами", становящимися равными партнерами возникает интенсивная взаимодействие, в ходе которого всем участникам приходится решать самые важные, я бы сказал, "последние вопросы бытия". Взаимодействие всех участников носит перманентно-импровизационный характер. "Зритель" волен изменить ситуацию в любом направлении, неся за это полную ответственность. "Зритель" так же может остановить действие вовсе. Куда это все может привести ни один из участников не знает и знать не может. Происходящее ограничено только во времени – час, два, три, возможно и больше, в зависимости от договоренности всех участников и в первую очередь от желания "зрителя".

Рассказывая о "Театре познания" таким, каким я его вижу, я всегда ощущаю себя в ситуации, напоминающей андерсеновского "Голого короля". Я утверждаю, что такой театр фактически существует, но если кто-нибудь попросит показать спектакль этого театра, я этого сделать не смогу, поскольку это уже не будет "Театр познания" – с появлением стороннего наблюдателя он превратится в "Театр развлечения". Пытаясь, однако, найти компромиссное решение этой проблемы, я предлагаю мое сегодняшнее выступление перед вами и вашу реакцию на него (какого бы рода реакция ни была) с некоторым, хотя и большим допущением, считать "Театром познания".

Но если говорить серьезно, то работа, практическая работа по созданию такого типа театра ведется мною в течение многих лет. И прежде всего это разработка новой системы воспитания актера, поскольку уже на первых шагах я столкнулся с тем, что ни одна из существующих систем, ни один метод не в состоянии полностью удовлетворить требования, предъявляемые "актеру" этого типа театра. По существу, его и актером-то в обычном, традиционном смысле назвать трудно. Он участник действия, в котором обязан быть тонким психологом, блестящим импровизатором и, самое

главное, обладать высочайшей нравственной ответственностью. Он должен понимать предел нравственной допустимости любой ситуации в которую попадает сам и "зритель". Тема воспитания актера Театра Одного Зрителя или, как я его еще называю, "Театра Познания Самого Себя" – особая. Но не об этом сегодняшние мои размышления.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

СЛОВО О НАБОКОВЕ

Следует признать изрядною дерзостью с моей стороны говорить о Набокове в присутствии Виктора Ерофеева, автора лучшего, на наш взгляд, на сей день русского эссе о Набокове ("Вопросы литературы" № 10, 1988).

Поэтому равновесия ради приведу сначала цитату из Солженицына, чья характеристика Набокова во всяком случае интересна.

Это малоизвестный факт: 12 апреля 1972 года Александр Солженицын направил в Шведскую королевскую академию письмо, выдвигая – по праву нобелевского лауреата – на Нобелевскую премию Владимира Владимировича Набокова.

В этом письме великий русский прозаик писал: Владимир Набоков – "это писатель ослепительного литературного дарования, именно такого, которое мы зовем гениальностью. Он достиг вершин в тончайших психологических наблюдениях, в изощренной игре языка (двух выдающихся языков мира), в блистательной композиции. Он совершенно своеобразен, узнается с одного абзаца – признак истинной яркости, неповторимости таланта. В развитой литературе XX века он занимает особое, высокое и несравнимое положение".

Их личная встреча не состоялась, хотя в течение года они жили сравнительно недалеко друг от друга: в Цюрихе и Монтрё. Их встреча не состоялась, как когда-то не состоялась встреча Достоевского и Толстого. Но не в будущем, а уже теперь оба они – видимые ослепительные вершины нашей новейшей литературы. Хотя их не только жизненная, но и творческая биография, а, вернее, биография существования их творческой продукции в России – более, чем причудлива. Кто б, например, мог подумать, где-нибудь менее чем четверть века тому назад, что выдвигаемый на ленинскую премию и издающийся массовыми тиражами Александр Солженицын в конце 80-х годов станет широкому читателю в СССР известен меньше, чем Владимир Набоков, о котором тогда глухо знали лишь единицы? Ибо хоть и не весь, но в эту оттепель Набоков издан весьма обильно и в журналах и книгой, следовательно, он доступен провинции, молодежи... Солженицын же – до сих пор под запретом.

И это тем более прискорбно, что книги Солженицына рассчитаны помимо всего прочего – на прояснение сознания современников. В этом он наследует Достоевскому, столь Набоковым нелюбимому.

Набоков – выражусь заостренно, но отнюдь ему не в ущерб – писатель той гипотетической России, которая не состоялась, России Февральской революции. Сын крупного кадета, законника, англomана, воспитывавшийся, так сказать, по высшему классу, но нарочито космополитически, вне православной церкви и интимной любви к "преданиям старины глубокой" – Набоков и стал первым воплощением того типа писателя, который, думается, мог возобладать, если б Россия пошла по пути западной цивилизации и демократии...

Русскому писателю с традиционной психологией, я имею в виду Бунина, например, Набоков не случайно казался "чужовищем", вызывал чувство восхищения и отвращения разом. Ибо то представление о *служении*, которое в генах традиционной русской культуры, вызывало у Набокова лишь усмешку. Набоков первым из русских прозаиков, если можно так выразиться, секуляризировал психологию творчества и его результаты. Вот почему в сознании столь многих, к этому непривычных, его творчество амбивалентно и вызывает одновременно симпатию и антипатию.

...Я думал об этом у могилы Набокова в Монтрё над Женевским озером: рябая серо-голубая плита и такой же вытянутый параллелепипед над ней весьма казенного толка, эстетический "протестантизм", доведенный, кажется, до предела. Кладбище на склоне, а под ним – цинково-серебристая крыша фешенебельного "реликтового" отеля, где прожил Набоков последние десятилетие жизни... После "Лолиты" он стал господин зажиточный – мог бы купить свой дом, свой кусок земли, ничего этого было ему не надо.

Солженицын через год бежал из Швейцарии в вермонтскую глухомань "к земле", Набоков из Америки вернулся в respectable гнездо Европы. А ведь оба они, в принципе-то, – *бесбытны*.

Набоковский отель анахронично сохраняет по мере возможности специфику еще довоенного времени, чуждую современной вульгарной унификации. Именно это и отвечало, как видно, менталитету выдающегося писателя. Респектабельность и неприкаянность причудливо сочетались в его натуре и, диссоциируя, объективно фокусировались в трагизм.

Набоков всеми силами стремился казаться неуязвимым и теплохладным. Но творчество и органичнее и многоаспектнее авторской психологии. И не только в "Даре", но и в недооценном и по сей день романе "Подвиг" есть "тайна", онтологически связанная с Россией. Сам писатель не раз объяснял, что герой романа этого – Мартын Эдельвейс решил из спортивного, так сказать, интереса совершить экспедицию в большевистскую Россию, где, очевидно, и исчез, пойманный сразу же на границе. Однако, шемящая тайна "Подвига" несомненно глубинней подобного плоского авторского объяснения. Тяга Мартына на родину продиктована не только

самоутверждением, желанием "доказать себе", любопытством, жаждой романтической мести.

Читатель "Подвига" явственно слышит звучащий за текстом зов, увлекающий Мартына в Россию, которую он любит так, что это невыразимо ни героем ни автором... И на этот-то зов, сулящий неотвратимую гибель, и идет замороженно Мартын.

Не знаю, чем объяснить, но мне чудится, что сколько б не снобировал, не самоутверждался в качестве "гражданина мира" поздний Набоков, этот зов покалывал и его сердце до самой смерти.

...Набоков преобразил поэтику русской речи и, подобно Тютчеву, вывел ее на новые рубежи. Я вспомнил Тютчева в связи с Набоковым не случайно: своеобычность и даже милые странности языка, придающие их несравненным текстам особый шарм, отчасти вызваны одной и той же причиной: Тютчев как поэт, Набоков как прозаик формировались на чужбине – оба вне синхронно звучащего русского языка. В отличие от Бунина или Зайцева, Набоков не вывез из России творческого запаса и практически начинал с нуля во Франции и Германии...

Набоков преобразил повествовательную ткань русской прозы, кондовая "натуральная школа" после Набокова уже навеки провинциальна.

Вот почему возвращение Набокова в начавшую освобождаться Россию так кстати: тамошним молодым теперь есть у кого учиться красоте, мастерству, изяществу, головокружительному артистизму композиции.

Но вот почему – помимо прочего – так необходимо и скорейшее возвращение Солженицына. Ибо – как точно отметил ещ Бердяев – "в целостном акте хочет русская душа сохранить целостное тождество субъекта и объекта. На почве дифференцированной культуры Россия может быть лишь второстепенной, малокультурной и малоспособной к культуре страной. Всякий творческий свой порыв привыкла русская душа соподчинять чему-то жизненно существенному – то религиозной, то моральной, то общественной правде".

...Будущее русской литературы – не на путях социального утилитаризма, которого прокурорски требовали от нее наши доморощенные позитивисты в прошлом столетии и который и по сей день продолжает портить много крупных талантов. Но и не на путях – эстетической "игры в бисер".

И Набоков и Солженицын – как раз те писатели, которые указывают новые горизонты.

Ренэ ГЕРРА

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ «СОБЫТИЯ» В. СИРИНА

Набоков-драматург... Такое определение может показаться на первый взгляд неожиданным. В самом деле, перелистав многочисленную литературу, посвященную творчеству

Набокова, убеждаешься в том, что литературоведы и критики либо упоминали вскользь о драматургии Набокова, либо вовсе обходили ее молчанием. В советской "Краткой литературной энциклопедии" (выпуск 1968 г.)¹ ни слова не было сказано о том, что Набоков писал для театра. Насколько нам известно, ни в одной из статей или исследований, появившихся после 1938 года, не уделено должного внимания этой стороне творчества Набокова. Чем объяснить такое единодушное игнорирование критиками драматургии Набокова? Означает ли оно, что этой стороной творчества писателя можно пренебречь, что его драматические произведения не заслуживают внимания?

А между тем, в пьесе, о которой пойдет речь в моем выступлении, присутствуют (и это мы попытаемся показать, а точнее — доказать, ниже) темы и любимые мотивы Набокова, звучащие в его творчестве, и мы полагаем, что обращение к этой пьесе поможет нам лучше понять сложный и загадочный мир Набокова.

Интерес к драматургии проявился у Набокова одновременно с дарованием романиста уже в начале 20-х годов в Берлине, когда автору было всего 24 года. За пятнадцатилетний период, с 1923 по 1938 год, Набоков написал семь пьес. В течение берлинского периода творчества писателя им было создано две пьесы в стихах: двухактная драма "Смерть" и одноактная драма "Дедушка", а в следующем году пятиактная драма в стихах "Трагедия господина Морна" и одноактная драма в стихах "Полус". Все эти пьесы были опубликованы в русской газете "Руль", издававшейся в Берлине. Подобно своему другу писателю И. Лукашу, Набоков писал свои одноактные пьесы и скетчи для театра "Синяя птица", руководителем которого был Я. Д. Южный. Интерес молодого Набокова к театру вряд ли был случайным и частично объясняется его близким знакомством с театральной средой русской эмиграции в Берлине. К тому же, работа для народного театра "Синяя птица" была для Набокова в 1924-1925 годах одним из источников средств к существованию. В 1926 году по предложению своего друга поэта Оффросимова Набоков сочиняет пятиактную пьесу "Человек из СССР", частично опубликованную в газете "Руль". Но лишь в 1938 году, когда Набоков переехал из Германии во Францию, он всерьез занялся драматургией, которая к тому времени не была уже для него неизведанной областью. На этот раз инициатива также происходила от одного из друзей писателя — Ильи Фондаминского, о котором Набоков так тепло пишет в своих воспоминаниях "Другие берега".²

Напомним, что И. Фондаминский приложил, как никто другой, много усилий для того, чтобы поддержать русскую литературу в эмиграции. Он не только субсидировал "толстый" общественно-политический и литературный журнал "Современные записки" (в котором, кстати, были опубликованы все крупные романы Набокова, подписанные русским псевдонимом), но также оказывал финансовую помощь эмигрантскому театру. Основанный Фондаминским в 1937 году "Русский театр" в Париже просуществовал почти четыре сезона, пока не началась война, которая

практически положила конец культурной деятельности эмигрантов. Именно для этого театра Набоков написал в 1938 году два своих последних драматических произведения – пьесы "Событие" и "Изобретение Вальса".

Таким образом, было бы ошибкой недооценивать то место, которое занимал театр в творчестве Сирина-Набокова в европейский период его жизни и творчества. Разумеется, работа для театра была для Набокова своего рода экспериментом, творческим поиском, который, несмотря на свой эпизодический характер, имел определенное значение для писателя.

Нам кажется, что без изучения этой стороны деятельности Набокова невозможно составить себе целостное представление о ярком и многогранном таланте писателя. Заметим, что дата написания названных пьес – 1938 год – отнюдь не случайна. Набокову скоро исполнится сорок, русский писатель-эмигрант в самом расцвете своей деятельности. Им уже опубликованы под псевдонимом "В.Сирин" лучшие романы и повести, написанные на русском языке: "Машенька", "Король, дама, валет", "Защита Лужина", "Возвращение Чорба", "Подвиг", "Камера обскура", "Отчаянье", "Приглашение на казнь", "Соглядатай". Критики единодушно признают высокое мастерство Набокова-романиста, а Вл. Ходасевич, В. Вейдле, А. Бем, П. Бицилли видят в нем выдающегося представителя русской поэзы. Став видным писателем XX века, сознавая значение своих романов, Набоков, тем не менее, понимал, что в области прозы он уже не достигнет большего. А если мы вспомним, что он уже с успехом попробовал свои силы в поэзии (к 1938 году им опубликовано четыре поэтических сборника), то станет понятно, с каким энтузиазмом Набоков обратился к созданию театральных пьес.

В переломном для писателя 1938 году, когда он только что завершил два своих последних романа на русском языке – "Приглашение на казнь" и "Дар", – Набоков решает покинуть Европу и поселиться в Америке, где менее чем через три года появляется его первый роман "Истинная жизнь Себастьяна Найта", написанный в Париже по-английски, а опубликованный в 1941 году.

В 1937-1938 годах Набоков жил чаще всего на Лазурном берегу. Здесь, в Ментоне, зимой 1938 года он написал пьесу "Событие". В том же году пьеса была опубликована в четвертом номере ежемесячного журнала "Русские записки".³ Еще до публикации она была поставлена на русском языке в Париже, а в 1941 году – в Нью-Йорке, причем, каждый раз пьеса вызывала восторженные аплодисменты публики и бурные споры критиков. Пьеса стала – прибегнем к бесхитростной игре слов, которые часто мелькали в статьях того времени – подлинным "событием в жизни узкого, замкнутого мира довоенной русской эмиграции. Многочисленные, подчас полярно противоположные высказывания эмигрантской прессы свидетельствуют, о том, что пьеса была не просто успехом очередного театрального сезона, но важным моментом в жизни зарубежной русской литературы. Она стала предметом ожесточенных споров между сторонниками Набокова и его

противниками, образовавшими два враждующих лагеря, во главе которых стояли крупные критики того времени: с одной стороны, поклонник таланта молодого писателя Вл. Ходасевич, который, впрочем, критически отзывался о постановке и композиционной структуре пьесы;⁴ с другой – Г. Адамович, резко критиковавший пьесу в литературной хронике газеты "Последние новости",⁵ но признававший высокое мастерство диалога и тонкое чувство языка. Впрочем, Адамович никогда не был беспристрастным критиком по отношению к Набокову, который отвечал ему тем же и не пощадил в своих мемуарах...

Репетиции в "Русском театре" начались в конце февраля 1938 года под руководством замечательного художника и театрального деятеля Г. Анненкова, который – по чистому совпадению – был создателем декораций и костюмов для пьесы Евреинова "Самое главное", поставленной в Петрограде в феврале 1921 года. Кстати, двадцать лет спустя, в апреле 1941 года, пьеса "Событие" была поставлена в Нью-Йорке. Декорации и костюмы для ньюйоркской постановки были выполнены другим выдающимся художником и театральным декоратором Мстиславом Добужинским. Премьера "События" состоялась в Париже 4 марта, но настоящий успех она имела лишь во время второго представления, которое стало подлинным триумфом. Напомним, что это была первая постановка молодого драматурга на сцене парижского "Русского театра". Лучшим доказательством успеха, который имела постановка, служат вызванные ею споры, а в особенности тот факт, что пьеса выдержала целых четыре представления. В своих воспоминаниях Нина Берберова, касаясь "Русского театра", замечает, что одно представление на сцене означало провал пьесы, в то время как два спектакля считались уже успехом. Про собственную пьесу "Мадам", написанную для того же театра, Берберова сообщает, что она выдержала четыре представления и это было настоящей сенсацией!⁶

Если прозу Набокова справедливо называли "романами с фокусами"⁷ то о его театральных произведениях можно сказать, что они раскрывают виртуозное мастерство и технику "фокусника" Сирина-Набокова. Уже подзаголовок пьесы – "драматическая комедия" – выдает склонность автора к мистификации, желание сбить с толку читателя. Зачем понадобилось Набокову дать пьесе такой подзаголовок? Почему с самого начала он прибегает к намеренной двусмысленности?

Набоков понимал комедию как "театральную игру", а вовсе не как некую противоположность трагедии или драмы. Выбранное им определение жанра "События" должно уточнить творческий замысел автора, и это определение заставляет вспомнить подзаголовок, данный Евреиновым своей наиболее известной пьесе "Самое главное": "для кого – комедия, а для кого – драма". Вполне вероятно, что этот хитроумный подзаголовок еврейновской пьесы понравился Набокову и подсказал ему подзаголовок "События", пьесы, в которой чувствуется влияние драматургии

Евреинова⁸. Ведь именно странное "событие" помогло двум главным героям пьесы открыть для себя "самое главное" (как называлась пьеса Евреинова). В конце набоковской пьесы зритель (или читатель) искусно подведен автором к вопросу: что же для каждого из нас, попавших в плен бытовщины, является "самым важным"?

В свое время пьесу называли "метафизическим водевилем", "мелодрамой": сам главный герой говорит о "где-то виденной мелодраме", а несколько позже – о "второстепенной комедии"⁹ и, задавая вопрос, "не мелодрама ли это?" тут же отвечает: "Не знаю..."¹⁰ Называли пьесу и "трагическим фарсом", а героиня ее употребляет выражение "фантастический фарс".¹¹

Напомним вкратце интригу пьесы. Она такая же несложная, как в "Ревизоре" или других произведениях Гоголя, и в этом отношении Набоков продолжает гоголевскую традицию. Судя по всем признакам, действие происходит в провинциальном русском городке, в непонятно какие годы, в доме художника-портретиста Трошейкина. Вместе с ним здесь живут его жена Любовь и теща Опояшина, писательница, которой как раз "сегодня" исполнилось пятьдесят лет. Завязкой сюжета служит возвращение Барбашина, которого Любовь (имя ее выбрано не случайно!) когда-то любила, но потом отвергла.

Набоков соблюдает давнишнее правило трехчастного построения пьесы: события трех действий происходят в течение одного дня в доме Трошейкина. Но при этом писатель с самого начала порывает с традицией классической пьесы, не давая списка действующих лиц, хотя в "Событии" участвуют много второстепенных персонажей. Кто же они, герои пьесы? Трошейкин, судя по многочисленным репликам его жены Любви,¹² – человек безвольный, эгоистичный и трусливый. Он готов закрыть глаза на связь жены с другом дома Ревшиным при условии, что ему будет обеспечен покой, выгода и другие "преимущества". Трошейкин и Любовь поженились шесть лет назад, но начало их семейной жизни было омрачено кровопролитным и трагическим случаем. Чтобы выйти замуж за художника, Любовь бросила Барбашина, которого она безумно любила, но не могла больше выносить его бесконечные прихоти и причуды. Уязвленный в своих чувствах Барбашин, является в дом молодоженов и выстрелом из пистолета наносит обоим легкие ранения. Трошейкин не находит ничего более достойного, как ударить по лицу обезоруженного, связанного по рукам Барбашина. Разгневанный этой подлой пощечиной Барбашин угрожает свести счеты после выхода из тюрьмы. Вся коллизия пьесы построена на том, что внешне безмятежный ход семейной жизни Трошейкина и Любви нарушен ужасным событием – досрочным выходом из тюрьмы и появлением в городе Барбашина.

Вл. Ходасевич считал, что пьесу следовало бы назвать не "Событие", а "Страх"¹³, поскольку в действительности никакого события в ней не происходит, да и не может произойти: Барбашин вовсе не намерен привести в исполнение свою шестилетней

давности угрозу о мести. Страх, вызванный известием о возвращении соперника, охватывает Трошейкина, который проявляет при этом всю свою бесхарактерность: он согласен на то, чтобы Любовь уехала в деревню вместе с ее нынешним любовником Ревшиным, при условии, что тот даст Трошейкину денег на отъезд из города. Трошейкин даже согласен, чтобы Любовь – для спасения положения – сказала Барбашину, что все еще любит его, лишь бы избежать мести, но Барбашин не приходит и покидает город, даже и не помышляя о мести.

Такова "житейская история", разворачивающаяся перед зрителем и читателем. И тем не менее, пьесу нельзя было отнести ни к разряду пошлых бульварных комедий, ни просто "комедии страха", переходящей в заурядный фарс. Было над чем задуматься критикам в попытках определить подлинный жанр "События"!

И действительно, в пьесе присутствуют темы и даже предметы, которые мы находим и в других произведениях Набокова, написанных до или после "События". Каков же самом деле сюжет этой драматической комедии? Весьма показательно, что первый персонаж пьесы – не человек, а предмет. Вначале сцена пуста, говорится в авторской ремарке к первому действию, затем на ней появляется неожиданный и забавный герой: через сцену "медленно катится, войдя справа, синекрасный мяч". Роль, отведенная этому мячу, отнюдь не второстепенная. Предметы-символы – мячи, носящие чисто метафизический смысл, – "перекатываются" по сложным извилистым траекториям через все творчество Набокова. Прослеживая замысловатые движения этих мячей, можно найти разгадку их таинственного значения. Чтобы правильно понять его, небесполезно, на наш взгляд, обратиться к существенно важному отрывку из воспоминаний Набокова "Другие берега". В конце первой главы воспоминаний писатель рассказывает об одном из дней своего детства, когда генерал Куропаткин, друг семьи Набоковых, решил продемонстрировать мальчику фокус со спичками:

"... Тут он смеял спички и собрался было показать другой – может быть, лучший – фокус, но нам помешали. Слуга ввел его адъютанта, который что-то ему доложил. Суежливо крикнув, Куропаткин, вполтора, как говорится, приема, встал с оттоманки, причем разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В тот день он был назначен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной Армии.

Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца (энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот). Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись; пропала и его армия; провалилось все; провалилось, как

*проваливались сквозь слюду ледка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи висбаденского отеля, зимой 1904-1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста".*¹⁴

К этим признаниям автора следует только добавить, что художник Набоков на протяжении всего своего творчества с нескрываемым удовольствием распутывал нити этих "тематических узоров".

Мяч — один из самых любимых набоковских предметов-символов, он появляется в разных произведениях автора. "Живой, очаровательный мяч" маленького Годунова-Чердынцева в написанном непосредственно перед "Событием" романе "Дар", не остался навсегда под комодом тетушки героя: все тот же красно-синий мяч закатывается под кровать приговоренного к смерти Цинцинната в романе "Приглашение на казнь". Траекторию мяча можно проследить и в других романах Набокова, где снова появляется этот символический предмет, — например, в романе "Король, дама, валет".

В пьесе, о которой идет речь, появляется пять мячей. Трошейкин, пишущий портрет мальчика в голубом с пятью мячами, выходит на сцену и жалуется своей жене Любви, что осталось всего два мяча, а остальные куда-то пропали. Позже он настойчиво просит ее отыскать все мячи, потому что не хочет, чтобы они болтались по всему дому. Любовь удивлена такой настойчивостью, она не понимает почему все пять мячей должны фигурировать в декоре, и в раздражении спрашивает, отчего Трошейкин не напишет сначала мячи, а потом уж закончит портрет, на что ее муж высказывает мысль, которая, вероятно, была близка самому Набокову:

*"Видишь ли, они должны гореть, бросать на него отблеск, но сперва я хочу закрепить отблеск, а потом приняться за его источники. Надо помнить, что искусство движется всегда против солнца".*¹⁵

Третий мяч позже принесет Опояшина, два других — служанка Марфа, а вскоре после сеанса позирования мальчик разобьет зеркало одним из мячей. Зловещий знак! Во время первого диалога, настоящей сцены выяснения отношений, упоминается, что три года назад умер их сын, в двухлетнем возрасте, и что через два дня ему исполнилось бы пять лет. Цифры 2, 5 и 3 повторяются как лейтмотив, символика пяти мячей, а затем двух мячей постепенно начинает играть самостоятельную роль в пьесе, и эти детские мячи не дают покоя Любви, которая, например, говорит своей сестре Вере:

*"Знаешь, я сегодня вспомнила моего маленького, — как бы он играл этими мячами"*¹⁶

Во втором действии вдова Вагабундова, также позирующая для портрета, выходит на сцену "как прыгающий мяч"¹⁷. Наконец, в начале третьего (и последнего) действия, происходящего, как и первое, в мастерской Трошейкина, зритель видит на сцене картину

с дописанными мячами. Трошейкин сетует, что разбитое зеркало – плохая примета: это – к смерти в доме, но народное поверье не подтвердилось. Ничего не случается. Что это – фальстарт? Неужели все "событие" сводится к разбитому зеркалу?

Здесь Набоков снова демонстрирует свое высокое мастерство аллюзии и пародирования. Реплики его героев усыпаны непереводаемыми каламбурами: фонетически обыгрывается фамилия персонажа ("Барбашин не так уж страшен"¹⁸ и созвучие прилагательных "богатый" и "рогатый");¹⁹ хризантема объявляется любимым цветком писателей, поскольку у "хризантемы всегда есть темы";²⁰ Барбашин признается, что у него не "характер, а харикири";²¹ наконец, изобретается остроумная версия гамлетовского вопроса "зад из зык вещан".²² Подобные словесные "рикошеты" щедро рассыпаны по тексту пьесы. Сочетая таинственную глубину и легкомысленную любовь, писатель в совершенстве владеет искусством заморозить и заинтриговать зрителя. Комическое переплетается со страшным; автор манипулирует словами, как фокусник – картами. Но от читателя Набокова требуется большая начитанность, знание русской литературы, иначе он не сразу поймет прямые или завуалированные намеки. Как и в набоковском романе "Дар", обилие замысловатостей может скорее обескуражить, нежели позабавить.

Приведем некоторые из этих ехидных литературных "подмигиваний", переходящих порой в издевательское подражание. Сначала – и это вполне естественно для Набокова – автор выбирает в качестве "мишени" творчество Пушкина (три ссылки на "Евгения Онегина"²³ и одну из "Маленьких трагедий" – "Пир во время чумы"²⁴) и стихотворение в прозе Тургенева,²⁵ причем обе использованные цитаты, ставшие пословицами, производят у Набокова сатирический, почти комический эффект, поскольку они откровенно пародийны. Но излюбленной мишенью драматурга Набокова в "Событии" (именно потому, что это – пьеса) становится драматургия Чехова. Чеховские темы и реминисценции изобилуют в набоковской пьесе, этой настоящей психологической драме, написанной "под Чехова". В ней есть прямые намеки на трех сестер Чехова, скучающих в провинциальной глуши²⁶ (кстати, эта неожиданная параллель принадлежит Трошейкину). С еще большей очевидностью эта параллель с чеховской пьесой звучит во втором действии, когда Опяшина, представляя гостям двух своих дочерей Веру и Любовь, иронически сетует, что не хватает только Надежды (три женских имени, "день ангела" которых отмечается, по православному обычаю, одновременно)²⁷ Мать Любви, графоманка Опяшина, носит женский вариант имени и отчества Чехова – Антонина Павловна, и это, конечно, не случайно. Заметим мимоходом, что – как бы для равновесия – Набоков не пощадил и Горького. Имя и отчество у Трошейкина – такое же, как у "великого пролетарского писателя"; больше того – набоковский персонаж помышляет о бегстве на Капри (чистое

совпадение, конечно!). Опояшина напоминает мамашу-писательницу из чеховского рассказа "Ионыч", с той только разницей, что набоковская графоманка печатает свои опусы на машинке; а один из ее гостей, "именитый писатель", как будто бы переселился в набоковскую пьесу прямо из чеховской "Чайки". Только речь здесь о другой птице — о лебедь.

В третьем действии мы находим еще один, едва закамуфлированный намек на знаменитый рассказ Чехова, когда сыщик Барбошин говорит, чтобы оттянуть развязку, о блондинке с собачкой (в набоковской версии — с болонкой!)²⁸. В первом действии Вера выражает тоску по прошлому чисто чеховской репликой: "Когда папа умер и был продан наш дом и сад..."²⁹, и читатель сразу вспоминает "Вишневый сад". Но Вера — не единственный "чеховский" персонаж в пьесе Набокова. В первом действии Ревшин говорит Любви: "Тебя задумал Чехов"³⁰. Что же касается старой служанки Марфы, то в ней легко узнается преобразенный двойник старого лакея Фирса из "Вишневого сада". А вот еще одно проявление литературного лукавства Набокова: в третьем действии пьесы³¹ Любовь упрекает Марфу, что та недостаточно "сочно" сыграла свою роль, и показывает ей, как надо было говорить, намеренно деформируя слова, чтобы придать персонажу больше "простонародности". И наконец, последний улар, нанесенный чеховской драматургии, — когда Набоков вкладывает в уста Любви мысль, прямо противоположную чеховской:

*"Если в первом действии висит на стене ружье, то в последнем оно должно дать осечку"*³² (Это неожиданное утверждение, настоящий камень в огород чеховской драматургии, автор настоящего выступления чуть было не выбрал в качестве эпиграфа к нему.)

Много лет спустя, в своей знаменитой книге, посвященной Гоголю, Набоков объяснит нам этот выпад против Чехова:

*"Один прославленный драматург (вероятно, раздраженный каким-нибудь занудой, жаждавшим проникнуть в тайны ремесла) сказал, что если в первом действии ружье висит на стене, то в последнем оно должно выстрелить. Но ружья Гоголя висят между небом и землей и не стреляют: на деле, обаяние его намеков именно в том, что за ними никогда ничего не скрывается"*³³

В самом деле, Набоков хочет показать нам, что он усвоил уроки Гоголя, который был ему, без сомнения, гораздо ближе, чем Чехов. Недаром, в той же книге он писал:

*"Ревизор" является лучшей из русских пьес (оставшейся непревзойденной)"*³⁴

Вот что служило Набокову постоянной моделью, когда он создавал свою пьесу. И в этом нет ничего удивительного, ибо Набоков, подобно многим другим русским писателям, был очарован Гоголем. Своей пьесой "Событие" Набоков доказывает свою безоговорочную приверженность гоголевской традиции.

Мы уже говорили о том, что интрига набоковской пьесы во многом напоминает интригу "Ревизора" (бесхитрость

сюжета, кажущееся отсутствие действия, проблема подлинной реальности ожидания действия). Что касается действующих лиц, то самые исчерпывающий комментарий мы найдем все в той же книге Набокова о Гоголе, где он пишет по поводу "Ревизора":

*"Его герои – персонажи кошмарных снов, когда вы думаете, что вы проснулись, а на самом деле вы проникли в глубину наиболее ужасающего сна, ужасающего своей ложной реальностью"*³⁵ А чтобы у читателя не осталось никаких сомнений, Набоков объявляет в конце второго действия словами Любви:

"Одним словом: господа, к нам в город приехал ревизор".³⁶ Нельзя забывать, что для Гоголя настоящим ревизором является смерть, а точнее – Страшный суд, и в "Событии" это особенно очевидно. В самом деле, внезапно возникшая угроза смерти перевернула все бессмысленное существование эгоиста Трошейкина, фамилия которого – по ассоциации глагольных образований – напоминает фамилию Хлестакова: один трещит, другой – хлещет. Кроме того, гости, которые сообщают новость о возвращении Барбашина, напоминают выход на сцену Бобчинского и Добчинского, обнаруживших, что в местной гостинице поселился инкогнито ревизор. В набоковской пьесе, как и в "Ревизоре", поражает изобилие второстепенных персонажей. По мнению Набокова, в "Ревизоре" это никоим образом не мешает тому, что режиссеры называют "действием", а наоборот – только усиливает сценичный характер пьесы.

Действующие лица "События" разделяются на две неравные группы: с одной стороны – Трошейкин и Любовь, с другой – остальные персонажи, изображенные в сатирической, почти карикатурной манере. Не случайно они определены как статисты во втором действии,³⁷ сразу после поразительной сцены, которая заставляя нас вспомнить немую сцену в финале "Ревизора". В середине второго действия Опояшина начинает читать гостям свою только что законченную сказку, и именно в этот момент – по воле автора, снабдившего текст длинной сценической ремаркой, – звук исчезает, а персонажи застывают в позах спящих. Словом, вся группа как бы окаменела, и автор добавляет:

*"Собственно, следовало бы, чтобы спустилась прозрачная ткань или средний занавес, на котором вся группировка была бы нарисована с точным повторением поз."*³⁸ Эта онтологическая пустота подменяет собой "реальность", материализует ее. Мы присутствуем при диалоге двух душ – Любви и Трошейкина, но затем косвенно узнаем, что это – всего лишь безмолвный диалог, и в этот миг подъема они на время отрываются от всего земного, а затем быстро опускаются на землю, чтобы снова раствориться в жизни. Все снова становится смутным, неясным, как только прекращается контакт между двумя существами. Для Трошейкина, который пытается описать словами только что пережитое:

*"Это так – мираж, фигуранты, ничто. Наконец, я сам это намалявал. Скверная картина – но безвредная"*³⁹

Как мы уже подчеркнули выше, Набоков нарушает отнюдь не все театральные традиции, со знанием дела дозируя элементы

традиции и новаторства. Согласно давней театральной традиции, заставляющей сразу же вспомнить грибоедовскую пьесу "Горе от ума", почти все имена персонажей символичны: Любовь, Вера, не хватает только Надежды. Мешаев I (фамилия образована от глагола "мешать"), а в особенности Мешаев II помешают событиям свершиться и совершенно случайно Мешаев II сообщит об отъезде Барбашина, то есть – о развязке. Имена, данные Набоковым действующим лицам, как и имена персонажей Гоголя, на самом деле являются комическими кличками. Совершенно очевидно, что Набоков забавляется: изъясняющаяся в стихах Вагабундова награждена смехотворным именем; еще хуже досталось сыщику Барбошину, которого наняли, чтобы защитить чету от опасности, связанной с неожиданным возвращением его почти однофамильца (с разницей в одну букву) – Барбашина. Получается, что персонажи как бы взаимозаменяемы; причем эта буква "о", поставленная вместо "а", заставляет сразу вспомнить собачью кличку – "барбос", "барбошка". Относительно этих имен, которые звучат особенно образно и выразительно для русского читателя, напомним, чтобы яснее понять авторские намерения, что писал Набоков по поводу "Ревизора":

"Хлестаков – фамилия гениальная, потому что у русского человека связывается с мыслью о чем-то хлещущем: о плохо подвязанном, болтливом языке, о бренчащей тросточке, о хрустящих игральных картах".

Но, безусловно, все это теряется в переводе, и, таким образом, подтекст пьесы, ее языковые достоинства остаются частично недоступными нерусскому читателю и зрителю.

Вернемся к тому моменту, когда происходит завязка действия: здесь мы находим обязательный момент традиционной комедии, а именно – пророческий сон, который непременно сбывается в конце пьесы. Но в набоковском тексте содержание сна подозрительно абсурдно, и возникает вопрос – не содержится ли и здесь элемент пародийности? Вера, сестра Любви, накануне видела во сне, что "кто-то запер его (Барбашина – Р.Г.) в платяной шкаф, когда стали отпирать и трясти, то он же прибежал с отмычкой, страшно озабоченный, и помогал, а когда, наконец, отперли, там просто висел фрак"⁴⁰. Напомним, что первое действие заканчивается криком Трошейкина, которому показался в окне его будущий убийца, и что в самом начале второго действия выясняется, что это был всего лишь плод его воспаленного воображения. Второе действие, в свою очередь, заканчивается появлением владельца оружейной лавки, который сообщает, что один друг Барбашина купил браунинг, но и это – тоже ложная тревога, которая предвещает развязку. Сюжетная канва пьесы удивительно напоминает рассказ "Занятой человек" из набоковского сборника "Соглядатай": событие, вокруг которого разворачивается действие обоих произведений, не происходит.

Наконец, в пьесе неоднократно звучит тема "театра в театре": в самом начале Трошейкин говорит о своем намерении написать картину, "где стены как бы нет, а темный провал... и как бы, значит, публика в туманном театре, ряды, ряды... сидят и

смотрят на меня. Причем все это лица людей, которых я знаю или прежде знал и которые теперь смотрят на мою жизнь".⁴¹ Но почти сразу он отказывается от своего замысла. Эта тема неумолимо возвращается во время "немого откровения", так же как на последних страницах романа "Приглашение на казнь". Трошейкин замечает, что в этот момент энтузиазма, восторга, охватившего обоих, они совершенно одиноки — два всеми покинутых существа, "одни на этой узкой освещенной сцене. Сзади — театральная ветошь всей нашей жизни, замерзшие маски второстепенной комедии, а спереди темная глубина и глаза, глаза, глядящие на нас, ждущие нашей гибели"⁴².

Прежде чем подвести итоги, важно выявить самый противоречивый и волнующий аспект этой пьесы, который является общим почти для всех произведений Набокова, — вывернутый наизнанку образ мироздания, к которому логично приводят автора его изобретательные заигрывания с космосом. Об их умершем сыне Трошейкин говорит:

он "умер двух лет, то есть сложил крылышки и камнем вниз, в глубину наших душ, — а так бы рос, рос и вырос балбесом"⁴³

Здесь особенно примечательна не столько перевернутая логика или обыгрывание слова "бес", сколько — направление движения; оказывается, что, по Набокову, ангельская душа крылатого мальчика-херувима отправляется после смерти не вверх, а вниз.

И наконец, Любовь, единственный персонаж, который, как кажется, был создан с расчетом на симпатию и сочувствие зрителя, говорит в минуту искренности о творчестве несвойственными для автора словами:

"Надо писать картины для людей, а не для услаждения какого-то чудовища, которое сидит в тебе и сосет";

на что Трошейкин замечает:

"Люба, не может быть, чтобы ты говорила серьезно. Как же иначе, — конечно, нужно писать для моего чудовища, для моего солитера, только для него"⁴⁴

В этих словах легко угадывается своеобразная философия самого Набокова, который неоднократно высказывался по этому поводу. В интервью, данном Пьеру Доммеру, на вопрос:

"Не могли бы вы сказать, для чего вы пишете?"⁴⁵

Набоков не случайно ответил:

"Я думаю, для того, чтобы забавляться. Пушкин любил говорить: "Мы пишем для себя, а публикуем написанное — чтобы заработать на жизнь." Это как раз мой случай".⁴⁶

Как мы уже убедились, Набоков в своей пьесе немало позабавился, искусно подражая Чехову. Он создал своего рода "попурри" русской литературы, однако пародийный характер пьесы не должен скрывать от нас главную мысль и любимые темы писателя, которые, несмотря ни на что, присутствуют в ней и вынесены автором под огни рампы. Что такое искусство? В чем заключаются роль и назначение художника? Каковы механизмы художественного творчества? Что такое реальность? О какой ре-

альности идет речь? Мы видим у Набокова постоянные переходы от реального к нереальному, от метаморфозы к повседневности, стремление создать художественную реальность, чтобы объявить мат реальной повседневности. Набоковская пьеса очень далека от простой бытовой или сатирической комедии, ибо автора совершенно не интересует социальное содержание искусства. Здесь мы снова сталкиваемся с набоковским пессимизмом. Этот трагический фарс заставляет нас ставить немало вопросов, которые беспокоят, – вопросов о человеческом одиночестве, о нашей сущности, о будущем. Несмотря на все внешние атрибуты комедии и мнимо счастливую развязку (окончательный отъезд того, кто должен был отомстить), все пережитое – настоящая драма для двух главных персонажей, которые остались наедине с собой и друг с другом. На истинный смысл происходящего указывают нам слова Любови, которая в третьем действии заявляет оную:

*"Слава Богу, что оно случилось, это событие. Оно здорово встряхнуло нас и многое осветило"*⁴⁷ Набоков-драматург не забывает, что он прежде всего – поэт. В "Событии" нас восхищает изощренная и тонкая игра с языком, чарующий стиль. По этому поводу стоит напомнить другое место из интервью писателя Пьеру Доммеру:

*"Я даю волю словам. Я разрешаю им резвиться. Некоторые мои персонажи любят слова, застигнутые врасплох, поскольку каламбур можно определить как два слова, которые "пойманы с поличным". Инверсия слогов завораживает меня и увлекает мои персонажи куда больше, чем меня самого"*⁴⁸. Таким образом, Набоков посредством языка воссоздает здесь художественную реальность. Ведь написал же он о Гоголе:

"Произведения Гоголя, как и все великие произведения литературы – это прежде всего чудо художественной выразительности, а не выражение идеи".

А в заключение я хотел бы поделиться с присутствующими своей радостью, во-первых, по поводу того, что Ленинградский театр-студия "Народный дом" недавно поставил эту драматическую комедию, а во-вторых, в связи с тем, что в ближайшее время в московском издательстве "Искусство" впервые выходит сборник пьес Владимира Набокова.

¹ Краткая литературная энциклопедия. Т.5. Статья Михайлова и Л. Черткова. Москва, 1968, с.60-61

² "Другие берега" изд. Чехова, Нью-Йорк, 1954

³ "Событие". Драматическая комедия в трех действиях. "Русские записки", апрель 1938, с.43-104. Все дальнейшие ссылки относятся к этому первому и единственному изданию пьесы.

⁴ Вл. Ходасевич. "Возрождение", 22 июля 1938, №4141.

⁵ Г. Адамович. "Последние новости", 21 апреля 1938, № 6235. Упомянем также крайне критическую статью преданной

- поклонницы Адамовича поэтессы Л. Червинской: "По поводу "События" В. Сирина, альманах "Круг", №3, Париж, 1938, с.168-170.
- ⁶Н. Берберова. Курсив мой. 2-ое издание. Изд. Руссика, Нью-Йорк, 1983, с. 409.
- ⁷"Les romans-escamotages de Vladimir Sirine" Le mois, №4, апрель-май 1931, с.145-152. Статья без подписи (В. Вейдле).
- ⁸Небезинтересно отметить, что во время "литературного процесса", организованного в Берлине для оценки теории счастья Н. Евреинова, Набоков играл роль автора, идеи которого он защищал. См. брошюру Е. Каннак "Evreinoff en France" Bibliotheque Theatrale, Париж, с.24
- ⁹"Событие", указанное издание, с.53, 83.
- ¹⁰там же, с. 89
- ¹¹там же, с.82
- ¹²там же, с. 45, 88, 91
- ¹³Вл. Ходасевич. "Событие" В. Сирина в "русском театре" – "Современные записки", № 66, Париж, 1938, с. 431-427
- ¹⁴"Другие берега", указанное издание, с.18-19.
- ¹⁵"Событие", указанное издание, с. 44
- ¹⁶там же, с. 58
- ¹⁷там же, с. 73.
- ¹⁸там же, с. 70-81
- ¹⁹там же, с. 77.
- ²⁰там же, с. 65
- ²¹там же, с. 59
- ²²там же, с. 80
- ²³там же, с. 83, 85
- ²⁴там же, с. 103
- ²⁵там же, с. 81
- ²⁶там же, с. 47
- ²⁷там же, с. 72
- ²⁸там же, с. 95
- ²⁹там же, с. 59
- ³⁰там же, с. 56
- ³¹там же, с. 84
- ³²там же, с. 65
- ³³V.Nabokov, "Nicolai Gogol" перевод с английского Марсель Сибон, La Table Ronde, Paris, 1953, с.71
- ³⁴там же, с. 59
- ³⁵там же, с.69
- ³⁶"Событие", указанное издание, с. 65
- ³⁷там же, с. 83
- ³⁸там же, с. 83

- 39 там же, с. 83
40 там же, с. 58
41 там же, с. 45
42 там же, с. 82
43 там же, с. 45
44 там же, с. 89
45 Pierre Dommergues. "Entretien avec Vladimir Nabokov", "Les Langues modernes", № 1, 1968, с.102
46 там же
47 "Событие", указанное издание, с.88
48 см. примечание 45

Сергей ЮРЬЕНЕН

НАБОКОВ И ФРЕЙД: ЛИТЕРАТУРА В ПОИСКАХ ОТКРЫТОСТИ

На днях я посмотрел новый советский фильм, где действие происходит в столице российской империи – в 1908 и 1914 годах. Страдание соизмерять, как ленинградцы 1988 года пытаются сыграть петербуржцев Серебряного века. Потому что видишь не только ооченение наружной ткани, но и сознание этого, и отчаяный порыв изнутри к естественному жесту. Аналогичные муки разрывают и нашу литературу, причем по обе стороны границы, обостряя в ней "гражданскую войну". Даже авторитет Горбачева, который лично и последовательно выступает в роли третьей стороны не может утихомирить страсти. Потому что, предлагая литературе "одностороннее разоружение", Горбачев мыслит политически там, где, на мой взгляд, единственно возможно лишь психоаналитическое решение. Чтобы избежать воплощения метафоры о "гражданской войне", "новому мышлению" необходимо самому открыться навстречу Фрейду. Но этот неведомый "Желтый дьявол" (Тростников) вызывает у "властителей дум" (по крайней мере, из оппозиционной среды консервативно мыслящей интеллигенции) те же эмоции, что и уже познанный на опыте "Красный" – Маркс. Появление в этом контексте Набокова, отношение которого к психоанализу общеизвестно, способно укрепить антифрейдистские умонастроения. Заемные реплики по адресу "венского шарлатана" стали раздаваться из союзписательской среды задолго до того, как официально напечатали Набокова, и в частности, "Другие берега", где, прозванный "тоталитарным государством полового мифа" и прямо уподобленный реальности гитлеровской "неандертальской долине", психоанализ рекомендуется правящим идеологам с язвительностью

почти бондаревской по тону: "Какую ошибку совершают дикторы, игнорируя психоанализ, которым целые поколения можно развернуть..."

Диктаторы тем не менее, и даже просвещенные, почему-то и по сей день упорствуют в этой ошибке, которую сам Набоков (о чем речь дальше) сумел не допустить. Сегодня очевиден знак беды именно в том обществе и в той литературе, которой отказали в психоанализе, заковав на весь XX век средневековым поясом целомудрия, а не там, где Фрейд мог беспрепятственно развращать поколения и где его урок углубил и естественно вошел в состав человеческого знания о себе.

В этом смысле открытому миру русская литература противостоит единым фронтом. Сейчас с обеих сторон мы говорим о единстве этой ищущей друг друга литературы, но оно, по сути, уже достигнуто, а вернее, еще и не нарушалось, поскольку в целомудрии мы никогда и не расставались. Мы закрытая система, и в качестве таковой нам все едино — здесь мы или там. Все менее "священная граница", безобразно зиявший шов которой сейчас так стремительно срывается, к нашей истинной проблеме отношения не имеет. Это все наши внутренние дела. Среди эмигрантов есть писатели, которые за все это время так и не найдя выхода на Запад, сейчас вновь собирают массовые аудитории в стране отъезда. Но этот частный способ устройства дел не решит общей задачи нашей литературы, которая все ищет потерянный рай 20-х годов, а в идеале прошлого, почти уже позапрошлого века (как неустанно нам напоминает культуролог Михаил Эпштейн). Здоровая же цель иная — вперед и в мир. В открытый, современный, страшный, и я имею в виду не только Запад: вперед, за своей страной. Первый же рывок страны к принципу реальности почти начисто оставил ее без литературы, а заодно и без иллюзий, что таковая была. Нечто подобное случилось и с Испанией, вдруг проснувшейся с демократией, но без изящной словесности.

В отличие от Испании у нас, конечно, есть Набоков. Это лучшее, что у нас есть, и оно нарастает, причем, с примерным ускорением. Не далее, как поздней осенью 1988 года на советско-несоветском писательском выступлении под сводами Европейского парламента я осмелился высказать уверенность, что — вслед за прочим — в Советском Союзе опубликуют и "Лолиту". В кулуарах представители авангарда перестройки высказали мне на этот счет свой убежденный пессимизм: да, мол, Набоков, но он будет — в меру. Можно было понять. Сам автор говорил, что ему трудно вообразить появление "Лолиты" на "чопорной его отчизне", причем, подчеркивая, что это независимо от режима отчизны — тоталитарный он или либеральный. Констатируем здесь факт торжества реальности над самым гениальным воображением: еще и эта весна в свои права не вступила, как Радио Москва известило о предстоящей публикации "Лолиты".

Помимо Набокова, таким образом уже тотального, в стране прорезалась и новая, или другая литература, представителей которой сейчас пытаются оптом зачислить ему в эпигоны — в "набоковцы". Смогут ли эти новые писатели осуществить то, что

сумел сделать Набоков в одиночку: пробить изнутри закрытую систему русской литературы и вывести ее в мир? С одной стороны, Татьяна Толстая, Валерия Нарбикова, Виктор Ерофеев, Михаил Попов, Евгений Попов, другие "другие"; с этой – Саша Соколов, которого и напугивал сам Набоков, Дмитрий Савицкий, которого здесь, во Франции, о чем писал член Французской Академии писатель Франсуа Нурирье, считают первым "набоковцем", в Англии Игорь Померанцов и Зиновий Зинник, в Израиле Юрий Милославский, в Швейцарии, допустим, ранний Юрий Гальперин...

В "Литературной газете" недавно, в диалоге, который был так и озаглавлен "Набоков и "набоковцы" один из собеседников – доктор философских наук Юрий Давыдов – коснулся существа проблемы: "Мне кажется, – сказал он, – что отечественные "набоковцы" подражают у Набокова как раз тому, что... было его бедой. Эмигрантская судьба сделала Набокова, художника в высшей степени одаренного, человеком, выбитым из жизни, причем выбитым в "никуда". Из этого "никуда" он разглядывал людей, подобно тому как энтомолог разглядывает насекомых – с любопытством, но и не без некоторой брезгливости. Но вот тут-то и возникает вопрос – откуда та же "авторская позиция" у наших отечественных "набоковцев"? Не оказывается ли она модной позой, которой их реальное бытие противоречит точно так же, как их притязания на брезгливый "аристократизм" – реальности их достаточно укорененного существования в качестве... "блудных детей" "нашей высшей бюрократии?" Другой участник диалога отмахнулся: "По-моему, вы слишком обобщаете".

Так или иначе – вопрос был задан, и я пытаюсь предложить свой вариант ответа – по праву одного из первых "набоковцев". "Набоковца" во мне разглядел Юрий Казаков в 1966 году. Мне было восемнадцать, и не принадлежа никоим образом к "нашей высшей бюрократии", я вел существование не только не укорененное, но даже оторванное и от русского языка (я жил в Белоруссии). О Набокове, понятно, я до письма Казакова ничего не знал, что не помешало мне в первых попытках развить тот стилистический комплекс, который так нравился Казакову и который он определил как "набоковский". Я назвал бы это комплексом аристократизма. Давыдов прав, это беда, но только не заемная, как он считает, и в моем случае к Набокову никакого отношения не имевшая. Это беда всецело вызревающая на нашей почве – внутри закрытой литературной системы. В моем случае изощренные змеи фраз, кусающих себя за хвост в атмосфере вакуумной надмирности, были формой сопротивления или, точнее, бегства. Этот стилистический эскапизм с первых же проб пера был обусловлен тем, что путь самопознания был мне заказан. О Фрейде я узнал еще позже, чем о Набокове, иначе бы в своем парящем отчаянии я бы задумался не столько о стиле, сколько о том, что именно в нем нашло себя самовыражение. Я думал – ужас перед внешним миром, куда заброшен волей рока. Во двор, где я жил, неизменно, день за днем, из года в год, являлся домой со смены трезвым один-единственный ра-

бочий в неизменно аккуратном комбинезоне: то был китаец Ли. Он был китаец беглый, политэмигрант. Глубоко за пазухой чужбины он чувствовал себя, как дома. Сталкиваясь с ним, во всяком случае, я так и не сумел отыскать в этом непроницаемом лице отсветов ностальгии. Ничего родственного тому, что тогда и там терзало меня. Я думал – в основе стиля ностальгия по Граду моему небесному, по Питеру, которого я не нашел потом ни в Ленинграде, и даже в Париже обрел не сразу, потому что, превратив внутреннюю ссылку в наружное изгнание, от комплекса аристократизма не сбежал. Отдавшись свободе творчества, я сразу обнаружил, что контрабандой вывез родовое проклятие. Целый год я бился над изложением простой, как мычание, истории и в результате вымычал свой первый на Западе роман под названием "Вечный кайф". Эту непроницаемую вещь – в себе, достигнутый предел индивидуального авангардизма, я решил не доводить до сведения читателей, а оставить при себе в качестве могильной плиты своей персональной закрытой системы. Таким образом, первый рывок к открытости потерпел фиаско.

Мы знаем, как возник психоанализ. У себя в венском кабинете Фрейд укладывал визитера на диван, садился за изголовьем и предлагал больному в полной свободе отдаться воспоминаниям об обстоятельствах, сопровождавших появление симптомов. Столкнувшись с косноязычием больных, которым не помогало даже возложение гуманистической руки на лоб, Фрейд открыл феномен "механизма внутренней защиты". Механизмов самозащиты множество, психоанализом они изучены и классифицированы. В своей книге 1933 года "Анализ характера" Рейх описал целую систему под названием "панцирный характер". Одна из разновидностей его – "аристократический". Пациент с жалобами на гамлетовскую нерешительность в делах и супружестве был с виду совершенный джентльмен – осанка, изысканность, холодная и не без некоторого вызова дистанционность. По мере развития аналитической психодрамы Рейх высказал гипотезу насчет оборонительного свойства этого джентльменства. Действительно, признал пациент (после приступа истерики), еще в детстве он отказался признать себя в качестве сына своего отца (небогатого еврея-коммерсанта), постановив считать себя происхождением из англичан. Не вполне на то без оснований: его бабушка как будто бы имела связь с английским лордом, его мать как будто бы была полубританка. Англизировав маму всецело, мальчик в мечтах о светлом будущем стал видеть себя в Лондоне послом и даже лордом. Углубленный анализ позы "лорда" выявил ее связь со свойственной пациенту тенденцией типа "смеясь, он дерзко презирал". Несмотря на то, что презрительно-брезгливое отношение к своему, к сокровенному миру выражалось у него вполне аристократически, Рейху стало ясно, что тем самым его пациент удовлетворял глубоко затаенные садистические импульсы, которые с детства встроились в эту смесь мечтаний, самовоспитания и дерзких фантазмов (в реальности дальше обрывания крылышек мухам мальчик не шел). В отрочестве ему повезло с одним из преподавателей, который

наглядно воплощал искомый аристократизм. Ученик с учителем, понятно, самоотождествился, и к четырнадцати годам формирование характера закончилось: мечты воплотились в реальный аристократизм, который, что немаловажно, сыграл свою первую оборонительную роль перед наступательной потребностью авторитетизма: "Это недостойно джентльмена!" В качестве одного пациента вознесся над прочим миром, получив уже законное право "дерзко презирать смеясь". Анализ показал, что эта позиция компенсировала комплекс неполноценности – поскольку о своем истинном происхождении он не забывал ни на минуту. Поскольку же объектами насмешек становились для него именно те сверстники, которые всего более ему и нравились, Рейх сделал еще более углубленный вывод о природе этой спесивой насмешливости как о самозащите против гомосексуальных побуждений. Таким образом, этот "аристократический" панцирь, согласно Рейху, был выкован из амальгамы противоречивых тенденций и свойств: садизм и гомоэротизм, с одной стороны, самоконтроль и утонченность – с другой.

Несколько по-иному описывает эту полярность Адлер, который ввел в оборот термин "надкомпенсация", имея в виду разрешение комплекса способом отрицания обратной системой поведения. Так, приобретенные в результате "кастрирующего воспитания" комплексы неполноценности и неадекватности преодолеваются в демонстрации силы, переходящей в насилие. В социальной сфере такой социопат будет садически упиваться властью карать, наказывать, унижать нижестоящих; лишенный же статуса он реализует свой произвол на существах слабых и беззащитных – осуществляясь, например, в мучительстве детей.

Разрабатывая образ героя "Лолиты", Набоков придал ему еще один необходимый компонент: страх перед женщиной насквозь пронизывает "Исповедь Светлокожего Вдовца". Лучшая книга Набокова она же самая и открытая. Это шаг навстречу миру, и не случайно, что со всей уверенностью совершил его Набоков только в Америке, где психоанализ к тому времени стал уже частью массовой культуры. Все, что выше излагалось, Набоков, конечно же, прекрасно знал. Иначе американские специалисты лечебницы для психопатов не пришли бы в "Лолите" к выводам об "импотенции" и "латентной гомосексуальности" пациента-педофила и убийцы, который, раздобыв свое досье, не скрыл от нас насмешки над плоскими эпитетами, но сумел предъяснить взамен эстетически совершенный автопортрет эмигранта из Старого мира – образ "целой выгребной ямы, полной гниющих чудовищ, под прикрытием медленной мальчишеской улыбки".

"Я всегда испытывал отвращение к венскому шарлатану", – повторил Набоков в своем последнем интервью, но добавил, что в темных аллеях сознания ему случалось идти по пятам за Фрейдом вплоть до той двери, которую преследуемый пытался открыть наконецником зонтика. Оставляя из пиетета перед нашим гением в стороне природу его отвращения, скажем одно – это было отвращение знания. "Как описание клинического случая "Лолите" несо-

менно суждено стать одним из классических произведений психиатрической литературы”, — это сказано в романе не только с улыбкой, но и с затаенной гордостью.

Поэтому пусть нас не введет в заблуждение антифрейдистская фобия Набокова, и не стоит ею укрепляться в опережающем личном знакомстве противостоянии “Желтому Дьяволу”. Сейчас эпоха революции сознания. В свое время Набоковым в Советском Союзе безоговорочно восторгались одиночки, вроде Казакова, а доминирующее союзписательское мнение выражалось в словах, однажды услышанных мной от одного небезызвестного члена СП: “За “Лолиту” я бы Набокова лично расстрелял”. Сейчас, когда советская судьба “Лолиты” благополучно разрешилась, волноваться приходится не о Набокове, кроме бабочек, и мухи не обидевшего, а о панцирном одеянии нашей утрюмой литературы в компании других, открытых, по-летнему непринужденных, где среди прочих персонажей, как свой, стоит и наш изгнанник с теннисной ракеткой или сачком для ловли бабочек (последнее сейчас в Европе из моды, впрочем, вышло по экологическим причинам).

Название этого выступления прошу считать предложением с места в просвещенный президиум “революции сверху”: Набоков и Фрейд. Не разделительный союз — соединительный. Будем надеяться увидеть этот союз и в Советском Союзе, где необходимость в психоаналитически грамотном экскурсе сегодня не менее назрела, чем потребность в эстетических наслаждениях ценностями, которая в прочем мире принадлежит уже отпылавшему и отстрадавшему позавчера, сохраняя при этом, конечно, (“как-то, где-то, чем-то”) вневременную связь “с другими формами бытия, где искусство (то есть любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма”.

Михаил ЭПШТЕЙН

ПРОЩАНИЕ С ПРЕДМЕТАМИ, ИЛИ НАБОКОВСКОЕ В НАБОКОВЕ

Моя жизнь — сплошное прощание с предметами...

В. Набоков. Памяти Л. И. Шигалева

*... Живая плоть исполнена теней
или видений ...*

... сладостней всего —

уйти из них, не помня ничего...

О. Седакова. Памяти В. Набокова

Среди множества понятий, которыми пользуется литературоведение: “поэзия” и “проза”, “сюжет” и “метафора” — отсутствуют главные, без которых нельзя понять поэзию и прозу, оценить сюжет и метафору. Эти важнейшие теоретические понятия:

пушкинское, гоголевское, толстовское... Не о Набокове хотелось бы мне говорить сегодня — это лучше сделают специалисты. Но о *набоковском*, как целом пласте в истории русской культуры и в ее художественной метафизике. Набоков — явление. "Набоковское" — понятие, которым охватывается множество явлений. И наряду с пушкинским и гоголевским, толстовским и Достоевским оно обладает огромной всепроясняющей емкостью. Разве не кажется нам порой, что "даль свободного романа" и "магический кристалл" — это набоковское в Пушкине? Набоковское есть у Пушкина, у Тургенева, у Бунина, у Мандельштама, у Андрея Белого и Андрея Битова... Есть оно, конечно, и у самого Набокова, чуть больше, чем у других, отчего этот писатель и представляет особый интерес для любителей всего набоковского в жизни и в литературе.

Действительно, редко у кого найдешь так много набоковских перлов, как у самого Набокова, в самой что ни на есть заурядной фразе, не притязающей ни на какую образность. Например, начало "Весны в Фиальте" (рассказа и сборника): "Весна в Фиальте облачна и скучна". Ну что здесь набоковского кроме того, что вышло оно из-под пера Набокова? Однако — чувствуете ли вы особый жемчужный оттенок набоковской весны и ее прелестную осеннюю вялость? Фиалковый цвет в сочетании с облачностью — какая тонкая гамма серо-жемчужных тонов, бледно-рассеянный свет имени, отраженного в эпитете ("Фиальт" — "облачный"). А что за чудное сочетание: "весна... скучна" — как снимается этим эпитетом, точно успокаивающим жестом, напряженная и почти болезненная энергетика весны, заряженная к тому же экзотическим этнонимом! И, конечно, два эпитета не встали бы рядом, если бы не звонко приглушенная переключка суффиксальных "чн". "Весна в Фиальте облачна и скучна" — в каком влажном, прозрачном, сквозящем, *по-набоковски* весеннем мире вы вдруг оказываетесь благодаря тому, что одна определенность, находя на другую, стирает в ней свой след (Фиальт тает в облаке, весна — в скуке). И вот уже этот мир полнится прозрачным присутствием чего-то другого, чему нет следа и именованя.

Если бы Набоков был певцом этого *иного*, мы бы, пожалуй, имели дело с метафизиком, символистом, нажимающим отчаянно на некий смысл *нам с вами* понятных слов. Но стиль Набокова лишен этого силового поля *сверхзначимости*, которое объединяет мистика и идеолога, символиста и соцреалиста. Стиль Набокова все время держит вещь на грани присутствия — куда-то она клонится, кренится, почти исчезая и посылая напоследок какой-то размытый отблеск. Кажется, что сама фамилия Набокова содержит формулу его стиля, передает магию этого клонящегося, скошенного движения всех вещей: не впрямую, а *набок*, как лучи при закате. Так в сумме всех набоковских произведений вырастает "набоководище" — оправдание этого волшебного фамильного имени, которое есть как бы первое и главное слово, изрекаемое о писателе, ему предназначенное, задающее тембр и путь его собственному слову.

Я приведу несколько фраз из Набокова, с тем, чтобы в них само вдруг могло обнаружиться нечто неотвратимо набоковское.

"Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ошупью ищущих опоры..." ("Весна в Фиальте").

"Иногда, где-нибудь, среди общего разговора упоминалось ее имя и она сбегала по ступеням чьей-то фразы, не оборачиваясь" (там же).

"... Косо лоснились полотна широких картин, полные грозových облаков, среди которых плавали в синих и розовых ризах нежные идолы религиозной живописи, и все это разрешалось внезапным волнением туманных завес..." ("Посещение музея").

"И как сквозь медузу проходит свет воды и каждое ее колебание, так все проникало через него, и ощущение этой текучести преображалось в подобие ясновидения: лежа плашмя на кушетке, отсымающейся вбок течением теней, он вместе с тем сопутствовал далеким прохожим..." ("Тяжелый дым").

Казалось бы, все это о разном – но читатель, любящий Набокова, шестым чувством постигает особый, всегда наклонный, набоковский ракурс этого мира: сбегает ли женщина по ступенькам чужой фразы, или косо лоснятся картины, или дома с трудом поднимаются с колен, или сквозит в стеклах прислон стула, или человека относит вбок течение чьих-то теней... Далеко не всегда этот наклон именно пространственный, он может быть световым, слуховым, психологическим, ситуативным, да и вообще представлять частный случай такого смещения, когда вещь выводится в боковую плоскость – в чем-то отражается, куда-то падает или отбрасывает свой отблеск – и незаметно ускользает, оставляя ощущение живого, мимо проскользнувшего призрака. Набоков виртуозен и последователен именно в таком пересечении разных проекций предмета, которые постепенно перетасовывают и сводят на нет объем его существования.

Вчитаемся хотя бы в одну фразу из рассказа "Тяжелый дым"... Кстати, сама поэтика набоковских названий заслуживает отдельного изучения. "Тяжелый дым" или "Бледный огонь" – в этих названиях значение одного слова стирается значением другого. "Дым" – "тяжелый", и вот он уже оседает к земле, пока поднимается к небу, и два струящихся потока: вверх и вниз – держат его в колеблющейся середине, точнее, в движении куда-то вбок, словно его относит в сторону. У этого тяжелого дыма – ковыляющая походка. Подобные набоковские названия (прибавим к ним и "Смех в темноте" и "Камера обскура") – это не оксимороны (типа "Горячий снег"), в которых тупо, в лоб сталкиваются противоположности; в них не ошибка, а смещение, боковой наклон; исходный признак ("огонь") снимается не противопоставлением, а переходом в собственное ничто ("бледный").... И этот же переход – во всех синтаксических сцеплениях, лексических звеньях.

"Из глубины соседней гостиной, отделенной от его комнаты раздвижными дверьми (сквозь слепое, зыбкое стекло которых горел рассыпанный по зыби желтый блеск тамошней лампы, а пониже сквозил, как в глубокой воде, расплывчато-темный прислон сту-

ла, ставимого так ввиду поползновения дверей медленно, с содроганиями, разъезжаться), слышался по временам невнятный, малословный разговор" ("Тяжелый дым").

В одной этой фразе — едва ли не десяток приемов самостирания, и скобки, после которых фраза с трудом восстанавливается, есть графический эквивалент разъезжающихся дверей, которым она посвящена (попробуй-ка, поймай растопыренными руками обе половины сразу — фразы и двери). Такие скобки есть лишь один из приемов опрозрачить фразу и свести ее предметность к минимуму, к совокупности как бы напоследок, на грани пропажи или гибели.

Гостиная (о которой речь) отделена от комнаты (где автор присутствует с героем) стеклянными дверями.

Двери убегают сами от себя — "раздвижные" (что-то чему-то все время встает поперек, искривляет линию движения или взгляда.)

Стекло в дверях — "слепое", "зыбкое", не пропускает, но отбрасывает свет.

Свет лампы также рассыпается, отсвечивает зыбью.

Пониже (вбок) от этого размытого пятна сквозит отражение стула.

И не стула, а особого прислона его, особого поворота, набок, к чему-то другому.

И сам этот прислон — расплывчато-темный.

И отражен он как будто в текущей воде.

И стоит этот стул поперек дверей.

И сами эти двери имеют свойство куда-то в разные стороны разбегаться — ускользать от самих себя.

Да и разговор, который доносится из гостиной, слышится лишь по временам, так же "разъезжаясь", как двери.

И сам по себе разговор этот невнятный, с пропуском смысла и слов.

Я насчитал в одной этой фразе двенадцать сбивов, наплывов, размывов — как неких единиц набоковского стиливого мышления; может быть, внимательный читатель обнаружит больше. Чего достигает подобная фраза в отношении к реальности? Ирреализует ее. Каждая вещь словесным наплывом куда-то отодвигается в сторону, сглаживается в другой вещи, и мир, оставаясь подробно описанным, магически исчезает по мере своего описания.

Приведу еще начало поэмы Джона Шейда из "Бледного огня":

"Я был тенью свиристеля, убитого ложной лазурью оконного стекла.

Я был мазком пепельного пуха, и я продолжал жить и лететь в отраженном небе..."

У набоковского героя-поэта, в какой-то мере сгущаются стилевые особенности самого Набокова. "Я", самое достоверное, что у меня есть, определяется как тень отброшенная уже не существующей птицей, которая была убита опять-таки мнимостью, ложной лазурью стекла. Реальность обнаруживает в себе двойную, тройную, способную к бесконечному умножению ил-

люзию. Что может быть, более невесомого и призрачного чем пух, к тому же похожий на пепел, — но и здесь берется лишь мазок этого пуха, тень тени, небытие небытия. Можно было бы кристально ясными семиотическими единицами исчислять меру набоковской призрачности. Подробности не прибавляются к этому миру, а как будто вычитаются из него.

Что остается — отвечает сам Набоков: "мнимая перспектива, графический мираж, обольстительный своей призрачностью и пустыньностью". Не страшный, как у Гоголя, своей мертвенностью, а обольстительный своей призрачностью. Если гоголевская деталь *подчеркнута* и обведена в своей абсурдной, "торчащей" вещностью (например, колесо в зачине "Мертвых душ"), то набоковская, напротив, *перечеркнута* — косым стремительным жестом, вслед за которым отлетает в сторону, превращаясь в часть миража. Набоковский стиль — мягкий ластик, стирающий очертание предметов, чтобы определеннее выступила фактура отсутствующей реальности или чистой бумаги, на которой работает автор. Я бы сказал, что это стиль *отслеживания*, череда тающих следов-отражений, и чем дальше движется фраза в своей само-стирающей логике, тем полнее объем исчезающей вещи, покинутое и отслеженное ею пространство.

Последний пример (из "Посещения музея"): полотно в музее "косо лоснятся" (через это повторное "ос" смещается ось взгляда) и вместе с тем они полны грозových облаков, то есть размыты одновременно изнутри и снаружи, переходя в свет изображаемой облачности и лоск отраженного от них света. Реальность самого полотна теряется в этих двух встречных, отсвечиваниях, а дальше за ней обнаруживается еще нечто более расплывчатое даже по сравнению с облаками — нежные идолы, плавающие в облачении нежного же цвета риз. Причем "все это разрешалось *внезапным волнением туманных завес*". Может быть, это не лучшая набоковская фраза, но одна из самых набоковских — все четыре слова означают примерно одно и то же: "внезапный" — наплыв во времени, "волнение" — в пространстве, "туманный" — в освещении, "завесы" — сама вещьность наплыва, и все это разные способы обозначить стирание вещьности.

Толстой говорил, что в искусстве самое главное — это "чуть-чуть". Не потому ли Набоков воспринимается как образец и наставник чистого художества, что "чуть-чуть" и есть главный объект и пафос его творчества? Его редкостное, единственное в русской литературе чутье распространяется до крайних пределов этого "чуть-чуть", которое призывает нас — волею самого языка — *вчувствоваться* в то, чему предшествует, с чем сочетается: чуть-чуть запаха, чуть-чуть веяния, чуть-чуть присутствия в этом мире. Отсюда и подчеркнутая неприязнь Набокова не просто к идеологическим задачам, но вообще к крупноблочным конструкциям в искусстве: социальным, психоаналитическим, миссионерским...

Литература, по Набокову, не должна брать на себя слишком много, ибо ее вечная любовь — малое и слабое, слабость мира, теряющего одну черту за другой по мере образного их воплощения и

перечеркивания летящим, наклонным набоковским почерком. Всякая идея стоит прямо, с высоты всеобщности озирает мир – вот почему идеям не место в этом изнемогающем, клонящемся мире.

Набоков – поэт исчезновения, гений исчезновений, не просто гроссмейстер, как назвал его Дж. Апдайк (в известной статье "Гроссмейстер Набоков"), но великий мастер *эндшпиля*. И в этом удивительная и незаменимая его сопричастность русской культуре, которая есть по преимуществу культура конца, эсхатологического прозрения в последнюю тайну и окончание всех вещей (из этой глубины всплывают темы: Набоков и Владимир Соловьев, Набоков и Бердяев, Набоков и Апокалипсис, Набоков и революция). Россия не часто удивляла мир открытиями, не часто полагала основание какой-то положительной новизне, на что сетовал в свое время Чаадаев. Однако этот недостаток "оригинальности" (в буквальном смысле *origin* – начало, происхождение) не есть ли предпосылка иного искусства – привести к концу? Не умея начинать, Россия словно бы находила свое призвание в завершении тех начал, которые так или иначе полагались ей извне, от "варяг" и "греков". Все иноземное, попадая в Россию, постепенно сводится на нет и клонится к небытию, становится призрачным и пустынным. Сама природа умиляет здесь своей увядающей, *прощальной* красотой (пушкинской в набоковском смысле). Любая вещь в России – это прощание с вещью: цивилизация – прощание с цивилизацией, революция – прощание с революцией, жизнь – прощание с жизнью. Не скажем: варварство или смерть, потому что противоположное (не-цивилизация, не-жизнь) имеет свою определенность; но остановимся на этом прощании, которое долго смотрит вещам вслед, не отворачиваясь даже тогда, когда они исчезают в набоковской вечеряющей дымке. Ответ тем, кто считает Набокова слишком западным, недостаточно русским: где еще вещи так рассеиваются необратимо и призрачно как в России, как она сама?

Набоковское – это искусство прощания. Поэтому теперь, на грани восьмидесятых, когда мы, так и не начиная ничего нового, вновь в который уже раз бесконечно долго прощаемся со своим прошлым, Набоков подсказывает нам необходимые слова, переводящие развоплощение реальности в поэтическое измерение. "Все было как полагается: серый цвет, сон вещества, обезпредметившаяся предметность". Так написано в рассказе "Посещение музея". А бесконечным этим музеем, собранием все более блекнувших и засыпающих вещей, для набоковского героя, как известно, оказалась Россия.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «СТРЕЛЬЦА»:

**Проза: Михаил Лемхин, Борис Фальков,
Сергей Юрьенен**

**Поэзия: Михаил Сапего, Марина
Темкина, Леонид Эпштейн**

**Очерк Вадима Крейда «Загадка
смерти Гумилева»**

Воспоминания Беллы Дижур

**Эссе Михаила Эпштейна «Ленин —
Сталин»**

**Отрывки из книги Дмитрия Красно-
певцева «Записки художника»**

Рецензии на новые книги

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	3
ПРОЗА И ПОЭЗИЯ	
<i>Виктор Ерофеев</i>	
Тело Анны, или конец русского авангарда. Рассказ	4
<i>Владимир Алейников</i>	
Стихи разных лет	9
<i>Евгений Попов</i>	
Эсхатологические настроения определенной части бывшей молодежи. Рассказ	15
<i>Виктор Кривулин</i>	
Новые стихи	22
<i>Славомир Волкович</i>	
Глаз вопиющего в пустыне. Повесть	28
<i>Игорь Иртеньев</i>	
«Повсюду смута и умов брожение». Стихи	122
<i>Анатолий Гаврилов</i>	
В преддверии новой жизни. Повесть	126
<i>Алексей Парщиков</i>	
Московские стихи	142
<i>Зуфар Гареев</i>	
Чужие птицы. Рассказ	149
<i>Михаил Сухотин</i>	
Жолтая птичка. Стихи	162
ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ	
<i>Владимир НАБОКОВ</i>	
Максим Горький	173
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Евгений Поляков</i>	
Антиутопия наших дней	183
<i>Наталья Иванова</i>	
Потерянный рай. Глава из книги о Фазиле Искандере	184
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
<i>Владимир Набоков</i>	
Забывтый поэт. Рассказ	204
«СТРЕЛЕЦ» В МОСКВЕ	
<i>Аркадий Бартов</i>	
Из цикла «В гостях у литераторов»	217
<i>Дмитрий Волчек</i>	
«Что ж — и поленницу культуры...». Стихи	220
<i>Александр Сопровский</i>	
«Кто на пресненских? Тихо в природе...». Стихи	220

<i>Владимир Друк</i>	
Вечерняя поверка. Стихи	222
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ	
Беседа с Виктором Кривулиным. «Наступило время понять, что мы все-таки сделали»	225
Беседа с Натальей Ивановой. «Без литературной борьбы литература не развивается»	231
Беседа Генрихом Сапгиром. «Мне эта земля очень дорога»	237
Беседа с Аллой Латыниной. «Я предлагала комплекс идей отечественного либерализма...»	245
Беседа с Виктором Ерофеевым. «Я достаточно скептически отношусь к просветительской роли литературы»	251
Беседа с Евгением Поповым. «Сейчас процент надежды стал больше»	258
НАША КОНФЕРЕНЦИЯ	
Международная конференция, посвященная творчеству Владимира Набокова	268
<i>Александр Глезер</i>	
Вступительное слово	269
<i>Виктор Ерофеев</i>	
Потерянный и обретенный рай	270
<i>Присцилла Майер</i>	
Немецкий мотив в творчестве Набокова в 20-е годы	275
<i>Юрий Мамлеев</i>	
Сарказм в творчестве Набокова	282
Борис ТИРАСПОЛЬСКИЙ	
Два театра	285
Юрий КУБЛАНОВСКИЙ	
Слово о Набокове	290
<i>Ренэ ГЕРРА</i>	
Заметки на полях «События» В. Сирина	292
<i>Сергей ЮРЬЕНЕН</i>	
Набоков и Фрейд: литература в поисках открытости	306
<i>Михаил ЭПШТЕЙН</i>	
Прощание с предметами, или набоковское в Набокове	311



К персональной выставке Евгения Рухина, проходившей с 23 апреля по 6 мая в Музее современного русского искусства в изгнании в Джерси-Сити.